Вилли Биркемайер

ОАЗИС ЧЕЛОВЕЧНОСТИ № 7280/1

ВОСПОМИНАНИЯ НЕМЕЦКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО

текст

ozon.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вилли Биркемайер стал в шестнадцать лет солдатом дивизии СС «Гитлерюгенд». Долго воевать ему не пришлось: он попал в советский плен и был отправлен в СССР. Здесь, на принудительных работах, ему открылась картина бессмысленного «перевыполнения планов», неразберихи и пьянства. И вместе с этим — широта души и добросердечие простых людей, их сострадание и готовность помочь вчерашним врагам. Работая в Мариуполе, на металлургическом заводе, он познакомился с девушкой Ниной. Они полюбили друг друга. Но, когда военнопленных отправили домой в Германию, расстались — как думали тогда, навсегда. Спустя 52 года московская телепрограмма «Жди меня» сумела разыскать Нину и их дочь Татьяну, которую Вилли Биркемайер увидел впервые.

- Вилли Биркемайер
  - Предисловие
  - 1. На войне, последние дни
  - 2. Шагом марш — в плен!
  - 3. Ченстохова
  - 4. Дембица
  - 5. Перемышль
    -
    - Война кончилась
  - 6. Киев
    -
    - Рисую плакаты
    - В госпитале
    - Прекрасная незнакомка
    - Фонари на Крещатике
    - Первое письмо
    - Страшный допрос
    - Хрущев
    - Воруем мыло
    - Своя сволочь…
    - Алеша
    - Добровольцем на шахту
  - 7. Макеевка
    -
    - Первая смена
    - В транспортной бригаде
    - Наша жизнь «по плану»

- Саша
- «Фрейлейн» Витька
- Привилегированная бригада
- Как родной отец
- Неужели — домой?

○ 8. Мариуполь

-
- Владимир Степанович и его лагерь
- Мартеновский цех
- Венгры едут домой
- Нина
- У Наташи, невесты Дмитрия
- Самоуправление пленных
- Вареники
- Рукавицы и швейные машины
- Рождество 1948 года и новый 1949 год
- Заболел…
- Наш лагерь — оазис человечности
- Подготовка к освобождению
- 11 марта 1949 года: я — совершеннолетний!
- Как я общался с педерастом
- Авария на заводе
- НКВД
- Кухонный бухгалтер…
- Маша
- Снова на прежнем месте
- У всех одно на уме: домой!
- Крымское «Шампанское»
- За досками…
- День рождения Владимира Степановича
- Последние приготовления
- Опять обещают…
- Расставания навсегда
- Слава тебе, господи!

○ Послесловие

○ Через 52 года

Вилли Биркемайер
Оазис человечности №7280/1
Воспоминания немецкого военнопленного

Предисловие

Посвящаю мою книгу четверым. В тяжелое время военного плена в Советском Союзе, особенно в последние два года, в Макеевке и Мариуполе, они оказали на меня самое большое влияние.

Первым был мой друг Вальтер Цвинер, с которым мы были вместе с первых дней, еще при зенитных орудиях в Германии. Во время долгого и тяжкого пешего марша пленных до Киева он ни разу не оставил меня. И когда я уже не верил, что выдержу, он умел придать мне какую-то толику бодрости духа, хотя сам был ранен. Это он показал мне, что значит настоящее товарищество. Теперь он живет со своей семьей в Людвигсбурге.

Второй, Макс Шик из Дюссельдорфа, был мне в плену как отец. Каким-то ему одному ведомым образом он самоотверженно воспитывал меня и любил как сына. Я благодарен ему за все. К сожалению, его уже нет в живых.

Третий — это баварец Макс Зоукоп, немецкий «комендант», староста лагеря военнопленных № 7471/5 на шахте в Макеевке, а затем лагеря № 7280/1 при металлургическом заводе в Мариуполе. Его старания и упорство, его умение ладить с советскими начальниками делали нашу жизнь все же терпимой. Он всегда был готов каждого выслушать и старался помочь.

И еще — Владимир Степанович, отец родной нашего лагеря. Он заботился о своих *Plennyh*. Вместе с Максом он сумел сделать наш лагерь оазисом человечности. И наш подарок ко дню его шестидесятилетия, о котором я потом расскажу, — это было уже незадолго до нашего отъезда на родину — был лишь скромной благодарностью за все, что он для нас сделал. Кто был с ним, никогда его не забудет.

Почему я пишу эту книгу?

После освобождения из плена я сразу написал страниц двадцать — чтобы не забыть о каких-то «главных» моментах. А через много лет нашел в бумагах моей уже покойной матери двадцать два моих письма и тридцать три открытки, посланные домой из плена.

В годы «холодной войны», когда я старался действовать в духе взаимопонимания между немцами и людьми тогдашнего Советского Союза, мне подбросили книжку бывшего немецкого военнопленного. Автор рассказывал о пережитом им в лагерях так, что хуже не придумаешь. В каждом существе женского пола он видел потаскуху, начальство и лагерная охрана ненавидели

немцев и жаждали крови, питание было таким, что не стали бы есть и собаки… Речь шла о том же времени и тех же краях.

Я должен был ответить.

Я не сомневаюсь, что в каких-то лагерях из их великого множества условия были хуже, чем у нас; где-то, возможно, они были нечеловеческими. Но ведь были и оазисы человечности, как наш лагерь, по крайней мере, в последние два года моего плена. Поэтому моя книга посвящена и начальнику лагеря Владимиру Степановичу. И в его лице всем, кто, несмотря на трудности, с гражданским мужеством искал и находил возможности для человеческих отношений с нами.

Моей книгой я хочу помочь пониманию друг друга. Между нами могут быть добрые отношения. Несмотря на то что долгие годы мы были врагами.

1. На войне, последние дни

5 января 1945 г.

Дорогая мама!

А все же мы будем прикрывать отступление войск на запад. Уже несколько дней, как нас зачислили в дивизию СС «Гитлерюгенд». Не могу описать, как я горжусь, что надену настоящий серый мундир…

Так начиналось мое последнее письмо маме перед долгой дорогой в русский плен. Перед тем, на Рождество, я был в отпуске, и родители пытались уговорить меня не возвращаться в часть: ведь война проиграна и вот-вот окончится. И место, где меня можно было спрятать, они тоже приготовили. От моего брата, который служил в дивизии СС «Викинг» на Восточном фронте, вестей не было уже несколько месяцев.

На новый, 1945-й, год я писал родителям:

За нами остался год страшных поражений, год нашего мужества и успехов. Наша зенитная батарея много сделала при обороне Бреслау от воздушных налетов и нанесла большой урон вражеским самолетам. На счету только нашей батареи 23 сбитых вражеских бомбардировщика. Я молился за каждый снаряд, которым заряжал 8,8-сантиметровое орудие, чтобы он поразил вражеский самолет. Я тверд как скала и уверен, что 1945 год принесет нам победу. Я отдам все силы немецкому народу и буду сражаться за лучшее будущее нашего поколения.

Новогодний праздник у нас на позиции завершился речью горячо любимого фюрера, которую передавали все радиостанции. Его непоколебимость и слова уверенности в победе укрепили нас внутренне и придают нам силу, чтобы в предстоящие тяжелые месяцы нанести врагу сокрушительное поражение. Вы, конечно, тоже не пропустили эту речь. Я уверен, что и вы обрели в ней новые силы и не сойдете с пути, указанного фюрером. Под конец этого замечательного вечера я еще долго сидел с товарищами, мы говорили о нашей родине и наших родных и поклялись защитить нашу родину и народ от всех врагов. Никогда еще мне не было так хорошо с друзьями. Я опять душой и телом солдат, готовый пожертвовать

всем за народ и родину.

Наша зенитная батарея стоит в маленьком городке юго-восточнее Бреслау, теперешнего Вроцлава. Мы прикрываем металлургический завод, выпускающий в основном гусеницы для танков. Полно снега, лютый холод, глаза слезятся от сильного ветра. Если прикоснуться к орудию без перчаток, пальцы прилипают.

Накануне нескольким товарищам и мне командир батареи прикрепил к мундирам военные кресты «За заслуги» — мы отразили налет на металлургический завод и даже сбили девять русских бомбардировщиков. Два дня и две ночи русские и американцы без конца пытались нас и все кругом разбомбить. Несколько бомб упали чертовски близко, но нам повезло. Ведь из-за нашего заградительного огня они сбрасывали бомбы, еще не долетев до города. После того как мы прогнали еще два самолета-разведчика американцев, наступила тишина, призрачная тишь, а мы все были совершенно без сил. Я ткнулся куда-то в угол и расплакался. Я не знаю, сколько снарядов я послал, бранясь, в небо, но дольше выдержать все это мои товарищи и я не смогли бы чисто физически. Не говоря уже об убийственной нервной нагрузке. Ведь, кроме двух офицеров да еще фельдфебеля из «Трудовой повинности», ни одному из нас нет и семнадцати. Что сказал фюрер в своем новогоднем обращении? Разбить и и уничтожить превосходящие силы врага, где бы он ни появился? Нет, меня не берут сомнения, разве мы не обратили в бегство бомбардировщики с их смертоносным грузом?

Следующие дни — всё тихо, никаких налетов, только где-то вдали слышен вроде бы гул артиллерии, больше ничего. И мы только чистим орудия и тренируемся на радиоприборах для обнаружения самолетов противника.

И вдруг — рев самолетов. Это русские или американцы, а нам не объявили тревогу? Нет, все в порядке, это наши летчики, звено или больше пикировщиков «Юнкерс-87». Со страшным ревом они атакуют где-то неподалеку от нас вражеские позиции или танки. Пикирующие бомбардировщики налетают несколькими волнами, а мы бурно радуемся — во, они задали русским!

Нам совсем не приходит в голову, что русские уже близко. Однако же быстро приходим в себя. Тревога, все на построение, русские танки все равно прорвались у соседнего городка и движутся к Одеру! В страшной спешке грузим на лафеты наши 8,8-сантиметровые орудия. И со всем остальным хозяйством маршируем к реке, а там по льду — он толстый и выдерживает

наши пушки — на западный берег. То там, то тут что-то случается, но на следующий день к обеду наши орудия снова в боевой готовности. Все так быстро потому, что оборона на том берегу уже подготовлена фольксштурмовцами, это же Восточный вал! Вместе с моим другом Ганди мы приводим повозки и лошадей, разгружаем наше хозяйство и устраиваемся на новой позиции в блиндаже. Там мокро и очень холодно.

Но вот разжигают походную печку, от нее идет тепло, и горести прошедшего дня забываются. Мы с товарищами приходим в хорошее настроение, как только появляется полевая кухня и нам дают горячий перловый суп. Хлеба тоже хватает.

«Слышь, Вилли, — говорит Ганди, — я теперь, пожалуй, вздремну». И тут же засыпает.

А я так возбужден, что мне кажется — не засну совсем. Но это ненадолго, усталость валит и меня. Кроме часовых на позиции, спят все.

Еще светло или уже светло? Уже — это утро! И в его тишину врывается шум танковых гусениц. Он слышен с другого берега, там уже первые русские танки… Ганди уже нет в блиндаже, он раздобыл что-то поесть. Вскоре меня вместе с командирами орудий зовут к фельдфебелю Кристману. Он разъясняет нам диспозицию и объявляет приказ — держаться под напором русских до последней возможности.

Тем временем солдат у нас прибавилось — это, наверное, потерявшие свои части пехотинцы. От них узнаем, что за неразбериха творится на фронте. Солдаты стараются поскорее сбежать из этого хаоса — в западном направлении; русские, кажется, их уже обгоняют. Я не могу в это поверить, ведь фюрер в своем новогоднем воззвании внушил нам всем мужество и уверенность. О новом чудо-оружии он говорил и об укреплениях Восточного вала, которые остановят русских.

Моя вера в фюрера непоколебима. Я спорю с беглыми солдатами, обвиняю их в дезертирстве. Надо мной смеются. Посмеиваются над юношеским заблуждением, внушенным мне в гитлерюгенде…

Под вечер вызывают добровольцев — кто пойдет к тому берегу, чтобы разведать, какими силами прорвались туда русские? Мы с Ганди, ясное дело, тут же вызываемся. Мы только что проглотили сводку с сообщениями военных корреспондентов о подвигах разведчиков. И в гитлерюгенде была такая военная игра на местности… А теперь это будет на самом деле и мы сможем доказать свою храбрость! «Вот теперь — да! — это я кричу, обращаясь к Ганди; он уже принес белые маскхалаты и

шлемы. — Помнишь, мы читали про разведчиков там, в Карелии? Вот теперь и мы! — Я горжусь уже заранее. — Если все получится, нам ведь дадут Железный крест 1-й степени… Ух, и зададим мы Ивану!»

Унтер-офицер с таким Железным крестом и нашивкой за рукопашный бой — он теперь тоже при батарее — сдерживает нас. Делать только то, что приказано, — «так, как я говорю!» Наскоро объясняет, как обращаться с пистолетом-пулеметом, автоматом. Мы же их раньше только видели, никогда из них не стреляли.

Надели мы маскхалаты, затянули ремни. Автомат на грудь, шлем поверх пилотки и — вперед, пошли! А ночь темная, только снег и виден. «Ну, и что получится… — это Ганди ни с того ни с сего. — Унтер с нами! Уж он-то знает дело!» Тот откликается: «Ничего, ребята, целы будем, вернемся домой».

Моего друга все зовут «Ганди». На самом деле он Вальтер, просто он худющий, терпеливый и страшно упорный, вот и похож на того индуса, борца за свободу. Ганди мой лучший друг, я люблю его как брата. Чем ближе к тому берегу, тем тише становится. С каждым метром, который мы преодолеваем уже ползком, напряжение нарастает, и мой страх тоже. От каждого шороха громко колотится сердце, сжимается горло; жуткий холод, а я весь в поту. А ведь с каким рвением, как беззаботно мы вызвались в эту разведку добровольцами…

Но вот мы у берега, пробуем лезть через кусты. Автомат на груди мешает, шлем сползает на лицо, маскхалат зацепился за ветку. Мы молчим, только подаем друг другу знаки.

Вот, слышны чужие голоса, первые слова по-русски. А что я на самом деле знаю о русских? Очень мало, только вот, что они люди низшего класса. Проклятые большевики, ублюдки, никакой культуры… А небо густо затянуто тучами, почти черное. Глаза мои привыкли к темноте, снег белый, и этого хватает, чтобы ориентироваться. Наш унтер-офицер ползком подбирается к каким-то строениям. Манит нас за собой, мы карабкаемся следом.

В темноте, прямо перед нами, — русский танк, его пушка смотрит на нас! Меня охватывает панический страх, сердце колотится так, что вот-вот выскочит из груди, струйки ледяного пота стекают по спине. А из крестьянского дома вдруг с шумом высыпают русские солдаты, их шатает, они совершенно пьяны! Слава Богу, может, нас не заметят, они же вышли только затем, чтобы отлить.

А мне страшно — ведь слышно, как предательски колотится мое сердце, я боюсь дохнуть; мы лежим не шелохнувшись,

беспомощно вжавшись в снег. А русские всё толкутся, то в дом, то обратно. Сколько времени мы так лежим? Десять минут, или двадцать, или еще дольше? Я не знаю. А страх, отражающийся в глазах нашего унтера, лишает меня всякой надежды. Разве он нам не рассказывал о делах на фронте, о том, за что получил Железный крест 1-й степени и нашивку за рукопашную?

Когда толкотня и шум у русских становятся еще громче, я набираюсь смелости посмотреть на часы, на них — скоро полночь. Наш унтер приметил лучшее укрытие, он подает нам знак, и мы, пригнувшись, пробираемся туда. Получилось, нас не заметили, но сердце у меня прыгает по-прежнему. Рот пересох, я набираю немного снега, чтобы смочить губы. Отсюда лучше видно, и мы не верим своим глазам: кругом танки, орудия, грузовики, и русские, русские, русские. Откуда их столько?

До следующего дома метров двадцать, может быть, тридцать. Нам надо туда. Это удается, русские нас не увидели. Не тут-то было! Целая орава пьяных солдат во главе с балалаечником устраивает танцы вокруг. Часовых нигде не видно. Плясать да водку хлестать — и это наши враги?

Мы немного пообвыкли. Русским ведь нас не видно, мы хорошо спрятались, а нам отсюда все видно. Мы уже тихо переговариваемся и вскоре пускаемся в обратный путь, к берегу Одера. Наш унтер осторожно высматривает, где лучше пробраться, и вот мы уже у прибрежных кустов, и… Как гром из ясного неба — пулеметная очередь поверх наших голов. Огонь усиливается, потом стихает. Автоматные очереди, но где-то вдали. Мы буквально прилипаем ко льду реки. Я весь в поту, кажется, до самого маскхалата. Я ничего не соображаю, только бы выбраться, только отсюда, я жить хочу!

Унтер-офицер Марек видит, как нам с Ганди страшно, и успокаивает нас. Его фронтовой опыт внушает нам уверенность, он ведь точно знает, что, когда и как надо делать, мы ему верим без оглядки. Перебегаем по одному, унтер командует, кому за кем. Какой же ширины здесь Одер? Проходит вечность, прежде чем мы добираемся до своего берега и бросаемся ничком в снег, он здесь глубиной по колено. Меня сотрясает рыдание, то же и с Ганди. А Марек? «Ну, теперь можете и пореветь, честно заработали».

Добираемся до позиции, рапортуем командиру батареи. Унтер-офицер Марек докладывает, сколько там танков и орудий, что делают русские. Ганди и меня командир отпускает, мы плетемся в свой блиндаж. Товарищи нас приветствуют, стрельба в деревне на том берегу их разбудила, они боялись, что нас

застукали. От меня ждут рассказов, но я хочу только одного — на свою охапку хвороста, только спать, не хочу ни есть, ни пить, не хочу и Железного креста 1-й степени, хочу забыть эту ночь и этот страх. Смертельный страх, который меня одолел… Глаза слипаются, я засыпаю и опять просыпаюсь, весь в слезах. Вспоминаю родителей, вспоминаю брата, который уже давно сражается на Восточном фронте, он солдат дивизии СС «Викинг». Или санитар не воюет? Может быть, я его встречу? Я уже не так горжусь своим «настоящим» мундиром. Понемногу опять засыпаю, будит меня налет русских. Ну вот, ведь Ганди и меня хотели не будить после ночи в разведке…

У нас на батарее тем временем солдат явно прибавилось. Я все еще не понимаю, как так — эти солдаты не остались на своих позициях, чтобы сдержать русских, вдарить по ним, разбить их? В ответ на мои вопросы они только посмеиваются. Вроде бы сочувствуют моей непоколебимой вере в фюрера.

Отбиваем эту атаку и еще несколько. Стараемся стрелять пореже, чтобы не расходовать снаряды; только-только чтобы русские с их танками не перешли через реку на наш берег. Ночью тоже стоим наготове у орудий, но все равно положение наше делается угрожающим. Я ведь заряжающий, мое дело — чтобы снаряды были на месте и в порядке. И что их осталось мало, мне ох как хорошо видно; так мало никогда не было. А подвоза нет, и нам понемногу становится ясно, что нас окружают — Иван уже перешел через Одер, в другом месте.

Но мы обороняемся. А русские нас обстреливают; слава Богу, нам еще повезло — бьют неточно, то недолет, то перелет. А толстый лед на реке снаряды уже разбили, и однажды ночью Иваны начинают наводить понтонный мост через Одер. Наш командир дает им дойти почти до середины реки, потом один-два залпа, и готово! Еще через ночь они повторяют попытку. Подпускаем их чуть не до прибрежных кустов, а потом — огонь! Р-раз-два, и всё… Иваны не знают, что у нас не осталось снарядов, совсем не осталось. Мы израсходовали уже и те, которыми стрелять нельзя было, они бракованные; это называлось «боеприпас от саботажа».

А оба наши офицера нас уже оставили, их перевели на другой участок фронта; все начальство теперь — фельдфебель, старшина.

Почти нечего есть. Хлеб, сыр в тубах, да искусственный мед, да еще сколько хочешь спиртного; откуда его столько? Это ведь Иваны только и знают, что пьют, а мы нет… Или мы тоже?

Приставших к батарее солдат из других частей давно уже больше, чем нас, и как тут не понять, что и мы, юные «воины»,

тянемся за старыми вояками и — пробуем шнапс. Я еще никогда не пил спиртного, а тут сразу — все не так уж плохо, ничего страшного! А на следующее утро — ужасное похмелье, лучше б я умер, так мне худо. Старый солдат меня утешает: вот, глотни — и враз пройдет! Не верю я ему… Оказывается, он прав.

«А мы отсюда когда-нибудь выберемся?» — спрашиваю так, ни к кому не обращаясь.

«Конечно! — считает Ганди. — Ты что, не слышал вчера вечером, как шли пикировщики? Уж они задали жару Ивану!»

Сегодня мне стоять в карауле. Ночи все еще темные, черным-черно. Для караульных у нас выкопаны ячейки, метрах в двадцати одна от другой. На каждую — пулемет, Бог знает, откуда они взялись. Ганди опять рассказывает какую-то веселую историю, как он был на заводе учеником токаря, а я смеюсь во все горло.

«Тише ты, там что-то движется! Может, это Иван!»

И тут же — пулеметная очередь, чуть не рядом с нами. Кто-то кричит, а я хватаюсь за пулемет, целюсь вслед чужой машине, с которой стреляли, она еще видна. Наверное, не попал, очень уж быстро все произошло… Ганди — у другого пулемета, а на земле корчится наш товарищ, в него попали, он кричит, кричит, кричит, зовет маму… Куда он ранен, не видно. А его напарник убежал, видно со страху, в блиндаж. Раненый уже не кричит. Когда мы вытаскиваем его из ямы на снег, подходят еще солдаты. «Ему уже ничего не больно», — говорит один из них. Мне плохо. Это же смерть! Теперь или прошлой ночью в нас с Ганди тоже могло попасть, но вот судьба миловала.

Прежде чем мы можем позаботиться об убитом, пальба продолжается. Мы с Ганди бросаемся на землю, к пулеметам; я высматриваю цель, хоть одного проклятого Ивана, на чьей совести наш товарищ. Палю во все, что движется, пулеметная лента кончается; наверное, я в них попал; стреляю еще, даже не чувствуя отдачи, — я в ярости, они же убили моего товарища! Может быть, следующий я? Нет, не хочу умирать!

Я со злобой пинаю замолчавший пулемет — он меня подвел, я его ненавижу! Пулемет не стреляет, патроны кончились.

Какое-то чудо — вдруг опять все тихо, то тут, то там одиночные выстрелы, глухие удары, рычание удаляющейся машины. Приходит разводящий с приказом: нашему караулу сниматься и отступать. Отступать — куда?

«Ясное дело, — комментирует Ганди. — Домой, куда же еще!»

А что еще нам остается — без боеприпасов и почти без еды? Мы уходим в блиндаж, каждый получает карабин, восемнадцать

патронов и «панцерфауст». Ага, значит, все-таки не домой. На фронт, защищать родину! А Ганди словно читает мои мысли.

«Давай-ка, Вильгельм! — так он зовет меня только в самых особенных случаях. — Собирай манатки. На плечо, и шагом марш, вперед!»

Пока мы с Ганди дежурили на постах, наши товарищи уже поснимали замки с орудий, разбили или закопали важные части, разбили дальномер. Все суетятся, мне с трудом удается собрать пожитки.

Уходим ночью, навстречу неизвестности; снег местами по колено, и я замечаю, что отряд наш редеет. Я был старшим команды из сорока двух ребят, когда нас отправляли из учебного лагеря в зенитную артиллерию; из них осталось двенадцать, а где же остальные? Они что, все бросили, ушли самовольно? Многие из них родом из Нижней и Верхней Силезии, так что им отсюда недалеко и домой… Мы подходим к лесу, находим тропинку, шагаем дальше, и Ганди заводит речь:

«Слышь, Вилли, почему бы и нам не смыться? У меня дед с бабкой в Бескидах, живут высоко в горах, никакая свинья нас там не найдет, а дойти туда — за три-четыре дня запросто». — «Еще чего, — ворчу я. — Смотаться? Ты что, спятил?» Но меня тоже уже берут сомнения. Это же сумасшествие, думаю я, вспоминая, сколько танков мы видели в разведке на Одере. Что против них остатки нашей батареи?

Мы с Ганди уже совсем одни. Остальных поглотил густой лес. Чего мучиться с тяжеленным карабином и что там еще подвешено к ремням, да еще «панцерфауст» на горбу! Мы садимся на упавшее дерево. Мы что, последние из нашей батареи, или мы заблудились? Где-то неподалеку слышен треск сломанной ветки, значит, мы не совсем одни, но в темноте не видно ни души. Я вспоминаю слова, сказанные моей мамой, когда я уезжал в последний раз после отпуска.

«Береги себя, мой мальчик, пусть ничего не случится! Я каждый вечер молю Бога, чтобы Он защитил тебя, чтобы ты вернулся домой…»

А что обещал нам в новогоднем обращении фюрер? Чудо-оружие, немецкий народ поднимается как один человек, Бог с нами, и мы защитим Европу от нашествия большевистских орд, этих ублюдков!

«Послушай, Вильгельм, — это опять Ганди, — ты представь себе, как Иваны обозлятся, когда увидят утром, что мы их надули — ни единого Фрица кругом… А уж как доберутся до спиртного, что там осталось… Недели две им не до нас будет!»

Вот такой он, Ганди. Никогда не вешает голову, всегда в хорошем настроении, почти всегда, не теряет ни мужества, ни юмора. И сейчас тоже.

Подошли еще несколько наших. Они было заблудились в лесу, услышали нас и пошли на голос. Вместе идем через лес еще часа два, уже не так темно, ориентироваться легче. Выходим на опушку, за ней — дорога. А кругом заснеженные поля, только кое-где вдали виднеется амбар или дом. Становится светло, теперь мы с дороги не собьемся. Нас теперь уже человек 15 или 16. Доходим до первой деревни, на околице — немецкие солдаты, наверное, у них приказ собирать отставших и направлять в часть. А карабины и «панцерфаусты» — только у нас с Ганди.

Подходим ближе, и я не верю своим глазам. Это же наш обер-лейтенант, который отбыл с батареи несколько дней назад, говорили — на другой участок фронта. Так, может, это здесь и фронт недалеко? Он меня сразу узнал. «Ну, вы уже сюда добрались. Скорей, дальше на запад, пока эта дорога еще не перерезана!» А я смотрю на него недоверчиво.

«Ладно, не пялься так, тут бегут все кто попало, не разберешься, все хотят домой, все прут на запад, а Иван уже нам на пятки наступает. Никто вас больше не держит! Глянь на карту, фронт там, а мы вот тут. — Он показывает. — Вот и гоните по этой дороге, никуда не сворачивайте; хорошо бы за сегодня уйти километров за тридцать, а лучше за сорок. Может, вам повезет — какая-нибудь машина подхватит, тогда уж Ивану вас не догнать». Неподалеку стоит вестовой с мотоциклом. Заводит его, р-раз! — и нет их, мотоциклиста и обер-лейтенанта.

А мы стоим и не знаем, что нам делать, голодные, пить хочется, фляжки наши давно пусты. Вообще-то я и слышать не хочу, что можно сбежать или бросить в беде товарища. Да только канонада слышна уже близко, да и грохот танковых гусениц я уже, кажется, слышу. А из леса все идут солдаты, тянутся в деревню. Ганди еще со мной, но вот и он швыряет «панцерфауст» в кювет, мой летит туда следом. Снимаем с плеча карабины и бросаем их прямо в снег. Оглядываемся, не наблюдает ли кто за нами, ведь за это можно попасть под военно-полевой суд, так, по крайней мере, меня учили.

Подходим к первому дому, там стоит человек в гражданском. «Если голодны, заходите в кухню, там еще осталось». Мы туда. Везде лежат и спят солдаты, среди них — такие же мальчишки, как мы. А на кухне старик возится с кастрюлей на печке. Это суп. Замечательно пахнет, вкусный, даже очень. Сколько времени мы

не ели горячего? Да все равно, главное — суп вкусный, я наемся. Теперь вот только найти свободный угол и заснуть. Я так устал, у меня нет больше сил, какие там 30–40 километров…

Мы даже находим угол с охапкой соломы. Шлем с головы, пучок соломы туда — вместо подушки, и я валюсь, засыпая. А что там говорили на околице деревни, и еще наш обер-лейтенант, чтоб уходить поскорее дальше, — то это все пустой звук; хочу только спать, спать, спать.

Меня тормошит Гюнтер, один из наших ребят, а я не хочу просыпаться. «Вилли, там противотанковые бьют, уже совсем близко, надо бежать, а то нас достанет Иван!»

Не успел я по-настоящему проснуться, как началось. Иваны уже в деревне, прочесывают ее. Может, нам выбираться через коровник? — это я еще в полусне. Мы выбрались из дома, бежим к сараю. Нам вслед — пулеметная очередь. Как сто раз учили в гитлерюгенде, бросаемся ничком на землю, в снег. Слышны выстрелы, но где-то не здесь. Зову Ганди, чтобы вместе пробраться в сарай. Какой-то фольксштурмовец возится рядом с ручной гранатой, может, он себя собрался подорвать? «Перестань, — кричу ему, — ты нас всех угробишь!» — и хочу отнять у него гранату. А русские опять стреляют, я бросаюсь в снег. Граната все же взрывается. Мне бы только до сарая добраться…

А в Ганди попали. Подползаю к нему. «Слегка задело, — говорит он. — Рука сильно болит». Теперь вокруг тихо, словно Иваны про нас забыли. Пробую взять Ганди на спину, чтобы ползти с ним к сараю. Он тяжелый, как свинцом налитый, мне теперь кажется, что до сарая километр и нам туда не добраться. Внушаю себе, что там — спасение, надо туда.

Хотим жить, не хотим, чтобы нас схватили, а то и расстреляли Иваны. Как там их называли — «большевистские недочеловеки»? А тут из памяти опять — лицо мамы: «Мальчик, возвращайся живой» — так она говорила в испуге. Опять несколько выстрелов, кажется, в воздух. И вдруг громкий голос из репродуктора:

«Камрады, мы никс стрелять! Война капут, Гитлер капут! Давай, камрад, вставай, мы никс стрелять, никс стрелять!»

Вокруг нас кто-то уже встает, они поднимают руки вверх, а мои мысли еще дома. А Ганди? «Свиньи проклятые, достали-таки нас…» На правом плече у Ганди шинель разорвана, кровь. Мы встаем, и я вдруг чувствую, что ноги сильно болят. Смотрю вниз и вижу — мои брюки тоже в крови. Рассмотреть и потрогать нет

времени — Иваны с раскосыми глазами уже стоят вокруг нас с автоматами на взводе, кричат и жестикулируют. Я не понимаю ни слова. Один из них, похожий на монгола, подходит ко мне кричит: «Ур ист, ур ист?» — и забирает мои наручные часы. И тут же следующий Иван: «Ур, ур!»

«Вот у того мои часы!» — пробую объяснить, а он тычет прикладом мне в ребра. Больно, хочется кричать, но горло сжимает смертельный страх.

Иваны сгоняют нас на площадь в деревне, я осторожно поддерживаю Ганди; «руки вверх» уже не требуют. Что они теперь с нами сделают? Они же сказали, что стрелять не будут, но когда я смотрю на их лица, то уверенности в этом у меня нет. Перед глазами встают плакаты, пропаганда: «большевистские ублюдки» не берут пленных, все, что у них на пути, уничтожают…»

Нас, наверное, человек 20 или 30. Нам велят расстегнуть поясные ремни и вместе со всем, что к ним подвешено, сбросить на землю. Очистить карманы. Из наших ребят остались только Ганди да я, а где остальные? Убиты? Кто знает… Тут же с нами — пилот, он в комбинезоне, под меховым воротом блеснул Рыцарский крест. Налетает Иван, срывает крест, бросает оземь, топчет его и кричит: «Ты, пилот, ты много наших капут, теперь тебе капут!» Автоматная очередь — и молодой летчик падает, это в двух или трех шагах от меня. Кто следующий — я? Или кто? Меня бьет дрожь, кажется, сейчас упаду, и… Кто-то свой толкает меня в спину, я прихожу в себя.

Подъезжает военная машина, из нее выскакивает русский офицер, орет на солдата, застрелившего летчика, достает пистолет и — стреляет в того солдата. Я не понимаю, что происходит. Мы тесно жмемся друг к другу, вокруг крики, суета, ругань, снова выстрелы. И в этой неразберихе кто-то из наших в панике бросается бежать; очередь из русского автомата — и с ним покончено. А мы боимся пошевелиться. В нашей толпе народу прибавилось — Иваны сгоняют сюда немецких солдат со всех сторон.

Но вот рядом с офицером остаются только несколько русских солдат, и он обращается к нам — на чистом немецком языке:

«Ну, теперь вы пленные Красной Армии, с вами ничего не случится, через неделю-другую война закончится, вас отпустят домой». И так же неожиданно, как появился, он исчезает, а мы остаемся под началом солдат. Нас теперь уже человек сто, нам велят построиться в колонну по пять в шеренге. И откуда столько наших солдат попряталось в этой деревушке? Или это и был фронт, а солдаты — прямо из окопов?! Ох, все не так, как

передавали военные корреспонденты с фронта и показывали в еженедельном киножурнале, который я не раз смотрел.

2. Шагом марш — в плен!

Начинается дорога в плен, в неизвестность. Болят ноги, я едва плетусь за идущим в колонне передо мной. Бросаю вопросительный взгляд на Ганди, кажется, рана не особенно его беспокоит. Часа через два, а может, и все четыре мы останавливаемся в большом селе. Ощущение, что я в плену, действует на меня так, что я ничего больше не воспринимаю. И только когда на нас опять налетают Иваны и отбирают все, что не надето на мне, начинаю осознавать безысходность ситуации, в которой нахожусь. Какому-то парню пришлись по душе и мои ботинки, надо разуваться, а я делаю это недостаточно быстро, и он меня бьет. Я падаю, ко мне бросается Ганди — и тоже получает по шее, а я остаюсь в носках, измазанных кровью.

Так что там с моими ногами? Я бы мог посмотреть получше, пока не поднялся на ноги, но страх перед новыми побоями заставляет меня встать и плестись дальше. Я все еще не могу понять толком, что же это такое — быть пленным, в плену у Красной Армии. Со мной можно делать все, что угодно. Меня можно бить, топтать, а мне — нельзя защищаться от этой своры? Терпеть любой произвол? Мы беззащитны, у меня никаких прав нет, я вообще не личность — и все это случилось за какие-то считанные часы. Что же предстоит еще пережить, вынести, вытерпеть мне и всем нам? А как другие, остальные пленные, они ведь все гораздо старше нас с Ганди. Многие годятся мне в отцы, а вот этот, что шагает передо мной, как бы не в деды.

Как всегда, Ганди заговорил первым: «Выше голову, старина, не горюй! Отобрали у нас всё, просто чтоб не тащили с собой в Россию столько лишнего». — «Неужели в Россию?» — спрашиваю я. «Года на два-три, не меньше, в трудовой лагерь. Если еще доберемся», — отзывается пожилой солдат, услышав мой вопрос.

Ходить босиком — этого я никогда хорошо не умел, а тут еще ноги болят и лед, по которому мы плетемся, ужасно холодный. Не могу поверить, что все это на самом деле. Трудовой лагерь, на годы? Не могут же они нас просто так — за решетку, и все. Я думаю, война вот-вот кончится, почему же тогда еще «года на два-три» — в лагерь?

Идем и идем — на восток. Нас сгоняют во двор большой усадьбы, прибывает еще одна колонна пленных, у них тоже все отняли. Потом опять шагать по дороге, но сначала построиться в шеренги по пять человек, *po pjat,* так, наверное, легче нас считать.

«Давай, давай!» — и колонна плетется дальше, на восток или

еще куда-то. И каждый раз, когда нас останавливают на дороге идущие навстречу Иваны, все повторяется. Ведь кто-то мог припрятать обручальное кольцо, складной ножик или еще что-нибудь. Если они ничего, что бы им понравилось, не находят, начинают цепляться, лезут в карманы, хватают за гениталии. Как это все унизительно!

Когда стало темнеть, нас заперли в каком-то доме, его обитатели, наверное, сбежали от русских. Я в комнате, которая, похоже, была у хозяев спальней. Большой комод с умывальником, двуспальная кровать, спинки с причудливой резьбой. Сколько нас сюда поместилось? А часовые заталкивают все новых и новых «жильцов», кто уже не может втиснуться, того подталкивают прикладом. Чудовищная теснота, кто-то громко просит еще потесниться. Наконец дверь закрывают. Удивительно, что это им удалось.

Оказывается, можно даже пошевелиться. Совершенно темно, окна заклеены бумагой, это осталось от затемнения, чтобы во время воздушных тревог не было ориентиров для вражеских самолетов; но все равно какой-то свет сюда проникает. Да и глаза понемногу привыкают к темноте, хотя целый день шагали по снегу. Надолго ли нас здесь заперли? Лепные украшения на потолке выдают, что здесь должны были спать важные господа. А где же мой напарник Ганди? Зову его, ору во все горло, пока он не отзывается. Я хочу пить, я голоден, последний раз нас кормили утром, и сколько же всего с тех пор произошло со мной, в этом плену…

Ганди сумел-таки пробраться ко мне — а что это у него в руках? Это стеклянная банка, в ней фрукты, груши в сиропе.

Как же это ему удалось? Он, оказывается обнаружил в углу тумбочку, полез в нее — а там эта банка. Очень вкусно, особенно сок, глотнуть достается и нескольким «соседям», затиснутым рядом с нами. Банка быстро пустеет. Сколько народу здесь набито, трудно угадать, но дышать становится всё труднее, все явственнее запах мочи. Когда шли по дороге, если кто останавливался по нужде, охрана его подгоняла, так что мало кто решался.

Кто-то пробует открыть окно, тут же снаружи кричит часовой и палит — в воздух или кто его знает куда. Никто ничего не понимает… И не я один боюсь, что могут застрелить. Вот молодой солдат, кажется, он понимает по-русски, стучит в дверь, пробует объяснить часовому, что надо открыть. В ответ только ругань, а может, это просто громкая речь, я же ни слова не знаю по-русски.

Ганди наконец разрешает помочь ему с его раной. Кто-то рядом помогает мне стянуть с него шинель и мундир. В темноте хорошо не разглядеть, вижу только кровь на руке и рану рядом с шеей, у плеча. Слава Богу, санитарные пакеты еще при нас, они ведь были у каждого во внутреннем кармане мундира, и мы можем перевязать ему раны. Солдат, который нам помогает, жертвует и свой пакет. А под погоном шинели мы находим у Ганди автоматную пулю, никаких костей она не затронула, повезло ему! А про ноги мои я пока не хочу и думать, раздеваться — не поможет, только грязь попадет. Старый солдат, который помог нам, отрывает от подкладки своей шинели широкую полосу и делает мне плотную повязку поверх штанины. Значит, кальсоны там под брюками — вместо бинта.

Постепенно всем удается как-то устроиться на полу, и Ганди размышляет вслух о моей обуви. И тут же переходит к делу. Берем подкладку от моей шинели, режем ее на несколько полос. Интересно, где же ему удалось спрятать нож? Он обматывает мне ступни портянками — так мы делали, когда стояли на посту в зимних сапогах, подвязывает «лентами» из подкладки. Чудесный парень этот Ганди!

Вонь в помещении все сильней, несмотря ни на что, я в конце концов засыпаю. Просыпаюсь, вокруг сутолока — часовой выпускает нас по одному во двор к уборной; это выгребная яма. Не успеваем мы добраться до двери, как часовой ее снова запирает. Старому солдату удается сдержать товарищей, готовых начать драку — во время свалки перед дверью лезли, что называется, по головам. Ведь среди нас не только простые солдаты, есть немало и в чинах, да только здесь каждый сам за себя, никому ни до кого дела нет, и для меня это просто ужасно. Ведь многие годятся мне в отцы. Я с детства привык уважать военную форму. А тут эти… Ведь порядочные люди так себя не ведут! Мы же только один день как в плену. А что говорил фюрер? Весь немецкий народ поднимется как один человек. Как один человек! А здесь? Они же — в полном смысле слова — наделали в штаны.

Постепенно снова становится тихо. Разговоров почти не слышно, каждый, видно, занят собой.

Наконец дверь снова открывается. Первые пятеро под охраной часового выходят и спустя какое-то время возвращаются; идут следующие пять. И мы слышим, что Иваны нас регистрируют.

«Ясное дело! — замечает Ганди. — У Ивана должен быть тоже порядок». Очередь доходит и до нас с Ганди. Русский солдат приводит нас в большую комнату, там сидят за столом три русских офицера и женщина в форме. Судя по звездочкам на погонах, она тоже в офицерском звании. Мы подходим по одному, и допрос начинается.

«Фамилия, имя, имя отца, когда родился? Что?! В двадцать восьмом? Тебе шестнадцать лет? Ты из СС?» — быстро спрашивает офицер. Я стараюсь объяснить, что я из вспомогательной команды зенитной артиллерии, орудийная прислуга. Впечатление такое, что он меня не слушает. «Специальность?» — спрашивает дальше. Ганди был два года учеником токаря, прежде чем его призвали, и мы договорились, что я тоже буду токарем, так чтобы нам остаться вместе. Я отвечаю: «Токарь», и женщина-офицер что-то пишет на темной бумаге; может, это уже разнарядка — в какой лагерь нас пошлют? А пожилой солдат, который немного знает по-русски, удивляет всех — он обращается к офицеру и просит дать нам перевязочные материалы.

«*Da-da*, все будет!» — и нас отводят обратно в душную вонючую комнату. Едва мы входим, как появляется часовой — он принес бинты и пакеты! «Поллутц!» — это фамилия того солдата. Не успевает он взять бинты и пакеты, как на него буквально набрасываются, валят на пол, и жадные руки расхватывают перевязочное хозяйство. Бьют кулаками, толкаются, наступают ногами, орут — не понимаю, как такое возможно! Наконец один из старших, кажется гауптфельдфебель, рычит на них так, что вдруг наступает тишина. Он собирает все бинты и объявляет, что раздаст раненым, которым они больше всего нужны.

Его массивная фигура сама внушает уважение, и свалка прекращается.

Время, должно быть, к полудню. Неожиданно дверь открывается — всем выходить! Почти без всякой толкотни выходим на воздух, на солнце. Однако результаты пребывания взаперти явно видны и ощутимы на запах. Ну, теперь кто хочет — можно и в сортир, а задницу подтереть снегом. Потом — все сначала, часовые орут: «Давай, давай, становись по пять, давай!» — и мы строимся в колонны по сто человек. Дальше — шагом марш к телеге, где каждому выдают по куску русского хлеба; а из бачков с теплым чаем можно зачерпнуть ковшом хорошую порцию питья. И все время — давай-давай…

Наша колонна, сто человек, трогается с места одной из

первых. Что ж, *dawaj, dawaj*, шагаем строем. Иногда идем прямо через деревню, в другой раз — обходим деревню по снежному полю; кому-то уже известно, что мы идем через Силезию, он знает эти места, узнал и деревню, которую только что обошли стороной. Следующую деревню проходим по довольно узкой улице, дома стоят тесно один к другому. Кто-то пытается заскочить в дом, но нет, ему не повезло: часовой бросается следом за ним. Автоматная очередь — и нам становится понятно, что из дома этому бедолаге уже никогда не выйти. Мы возмущены, что с нами так расправляются. Сраженные, напуганные, шагаем дальше. А тряпки, которыми обмотаны мои ноги, испытываются на прочность…

Иногда надо уступать дорогу русским машинам или русской пехоте. Нас опять толкают и бьют, а какая-то машина врезается прямо в нашу колонну. Скольких она задавила? Трупы остаются лежать на дороге, нам не разрешают подобрать раненых. Потом доносятся выстрелы, они означают, что с придавленными поступают так же, как с тем, кто не желает или не может идти, — автоматная очередь, и все мучения кончены.

Теперь, едва показываются русские, едущие навстречу, все жмутся к обочине, никто не хочет оказаться у них на дороге, упасть здесь, где не будет никого, кто бы тебе помог, если приговор тебе вынесен. А нас все гонят и гонят вперед — давай, давай! Иногда голова колонны все же останавливается, иначе совсем растянется. А охранники топают сбоку прямо по снегу в своих *Walenki*, сапогах из войлока. Через несколько часов такого марша мне делается худо. Ногам так больно, что я уже не могу; вот-вот упаду, но тут Ганди и еще один парень, которого я раньше не замечал, подхватывают меня под руки. Как-то плетусь между ними.

«Ноги болят ужасно, больше не выдержу, не могу и не хочу», — говорю им. Мы останавливаемся, и Ганди разматывает повязку на моей голени, которую сделал пожилой солдат в первую ночь; наверное, она слишком тугая. Я вскрикиваю, теперь еще больней, а Ганди растирает мне ногу, и мне становится легче, легче… Охранник останавливается возле нас, ждет, потом подгоняет — на место в колонну! А страх быть убитым сильней любой боли. Ганди успокаивает меня: «Держись! Вспомни разведку, как мы там перетрусили — ах, теперь нам конец! Ну и что? Разве мы не выкрутились? Выше голову, старина, ты еще мной покомандуешь, «фюрером» будешь…»

Плетущийся рядом со мной солдат тихо молится: «Боже милостивый, не оставь меня…»

Бог мой, где же Ты? Что же это делается, у Тебя на глазах? И

почему Ты позволяешь такое?

Давно я не молился…

К цели сегодняшнего дневного марша приходим еще засветло. Солдаты, кто поопытнее, говорят, что прошли километров 60–70, а мне кажется, что это уже почти конец света, и всю дорогу нас подгоняли, шпыняли, русский автомат смотрел мне в затылок. Ужасно холодно, ледяной ветер в лицо, но вот открывают ворота сарая, русские охранники загоняют нас туда. Видно, что здесь уже побывали пленные, повсюду дерьмо, остатки кострища. Крыша наполовину сорвана, и сквозь все щели задувает холод. Хоть бы снег не пошел…

К нам с Ганди присоединился еще один парень, его зовут Конрад, Кони. Русские взяли его прямо с улицы, он осмелился выйти из дому, чтобы просто поглядеть, какие они, Иваны. Бедная мама не хотела его отпускать, но любопытство взяло верх. Ему только пятнадцать.

Втроем ищем сухой угол на ночь, но ведь того же хотят все. Все же находим место, где не так тянет холодом. Советуемся, как нам устроиться. Посматриваем — а что опытные солдаты? Решаем расстелить одну шинель на полу, а двумя укрываться, пристегнув одну к другой. Втроем должно быть теплее; мне уже кажется, что я весь превратился в ледышку. Укладываемся. После хлеба и теплого чая утром ни еды, ни питья нам не давали. В животе бурчит и побаливает, но все равно мы засыпаем, поговорив напоследок о событиях прошедшего дня. Ганди не хочет ничего слышать и засыпает первым.

Вокруг сарая ночью светят лампы, наверное, Иваны боятся, что кто-нибудь сбежит. Еще не рассвело по-настоящему, как нас снова выгоняют. А во дворе — полевая кухня, в котле что-то булькает! Мы становимся в очередь, русские солдаты раздают жестяные миски, ложки. Их хватает не на всех, и тому, кто поел, приходится отдавать посуду, чтобы мог получить свою порцию следующий. Сначала все идет хорошо, русские велели нескольким пленным собирать освободившиеся миски и ложки. Но уже начались раздоры — заполучивший миску или ложку не хочет ее отдавать. Русские наводят порядок прикладами и грозят, что прекратят раздачу; пленные солдаты приходят в себя. Проходит час или два, все уже съели свой суп, и нас строят в колонну рядами по пять человек, чтобы шагать дальше. Подъезжает телега, тянется вдоль колонны, и каждый получает еще кусок хлеба.

Переводчик уговаривает не есть его сразу, это наш паек на день, больше ничего не будет. И мы снова топаем, все больше

полями, почти не заходя в деревни, разве что другой дороги, чтобы обойти кругом, нет.

И так день за днем. Нас одолевает мороз, хорошо еще, что снег теперь не идет и наша одежда не мокнет. Только что шли мимо трупов немецких солдат, они вмерзли в снег, лица обезображены до неузнаваемости. Сколько же раз за эти несколько дней плена я уже видел смерть? Летчик с Рыцарским крестом, которого застрелили, фольксштурмовец, подорвавший себя гранатой, вот эти сейчас… Время от времени мы слышим автоматную очередь в хвосте нашей колонны, это значит, что еще один не захотел или не смог идти дальше.

По вечерам нас загоняют на ночь в сарай или амбар, тут в Силезии, вижу, их хватает. И каждый день снова борьба за кусок хлеба, а иногда не достается ничего. Русские пытаются разделить нас на небольшие группы, чтобы в каждой был свой старший. Но хаос только растет, потому что старшие должны делить хлеб на точно отмеренные порции. Пока охрана рядом, большинство еще держится, а при раздаче начинается такой кавардак — вой, крики, кого-то бьют, — что хлеб достается иной раз только сильному. Твой кусок могут и затоптать, а охрана смотрит на эту свалку со стороны. А уж если им покажется слишком, тогда дадут очередь из автомата в воздух — и все успокаиваются. Осталась ли во мне еще вера в военную форму, в авторитет и честь тех, кто ее носит?

Я стараюсь уверить себя, что эти типы — не настоящие солдаты, а так, «последний призыв», когда никого уже не осталось. Может, их одели в военную форму уже насильно. Симулянты, дезертиры или штрафники? Но здесь не только рядовые, есть и командиры в немалых званиях, а ведь командиром назначали только того, кто разделял цели фюрера — *служить народу и родине.* Не может же быть ложью все, чему меня учили в юнгфольке и в гитлерюгенде! Я и сам был с теми десятками тысяч, кто ликовал, слушая фюрера, и присягал на верность фюреру, народу и родине. А здесь каждому просто своя рубашка ближе к телу. За редким исключением…

Между тем, кажется, уже середина февраля, но никто не знает точно; никому не интересно. Нормальную жизнь уже трудно себе представить, да и будет ли она когда-нибудь? Мысли только о самом насущном. От марша до марша, от пайки до пайки, от ночлега до ночлега. Сегодня ночуем в бывшей школе, человек сто в классе, теснота почти как в первую ночь плена. Парты, видно, уже пожгли, повсюду следы предшественников, грязь, нечистоты. Лечь негде. Кто-то предлагает усесться рядами, спиной к соседу,

расставив ноги. Кажется, получается, но каково тем, кто спиной упирается уже в стену? Но мы настолько измотаны, что засыпаем и так. А на ужасную вонь уже вряд ли кто обращает внимание, она ведь преследует нас постоянно.

Нас будит шум в соседнем классе. Дверь отворяется, Иваны забрасывают сюда несколько буханок хлеба и любуются возникающей свалкой. Меня, как обычно, забросили поближе к двери, в общей неразберихе я ухватил изрядный кусок хлеба, но тут же кто-то вырывает его у меня из рук. Не вижу, кто это был, еще темно. Дикие звери и те не могли бы вести себя хуже! И откуда у них берется сила еще и драться? Мало им дневного марша, когда только и думаешь, как не упасть и — не остаться лежать на дороге…

После «битвы за хлеб» становится на удивление тихо, только где-то постанывают — небось пострадали в этом бою. Сидячий порядок восстанавливается, и пожилой человек в гражданской одежде обращается ко всем нам, призывает к достоинству и человечности, просит сильных не помыкать слабыми и ранеными. Подействует ли его призыв? Ганди на этот раз помалкивает, зверская драка за хлеб его, кажется, довела окончательно. Мы засыпаем опять, на голодный желудок. Разве можно привыкнуть к такому?

Проснулся я от боли в ногах. Сидящий впереди навалился на них, не могу пошевелиться. Прошу его чуть подвинуться, но он не слышит, спит. А ноги болят ужасно. Сосед сбоку чуть повернулся — вот, я вытаскиваю левую ногу из-под переднего, уже легче. Сдвигаюсь сам, становится чуть свободнее и правой ноге. Меня смаривает сон.

Просыпаюсь под утро и чувствую, что сосед спереди совершенно неподвижен, он окоченел. Он умер! Какой ужас, неужели я расталкивал мертвого? Кричу: «Здесь мертвый, покойник!!» — кто уж там знает, что я кричал. Я плачу и не могу успокоиться. Молю покойного простить меня. Ганди пробует меня успокоить, но это не получается. Боже мой, ночь чуть не в обнимку с умершим! Солдаты постарше тоже стараются меня успокоить, наверное, в первый раз заметили, что я мальчишка, один из них спрашивает, сколько мне лет. Оттаскивают мертвого к двери, стучат. Дверь открывается, покойника разрешают вынести во двор и кладут там рядом с другими. Наверное, умерли этой же ночью.

Всех выпускают во двор, кому повезет, находят место в сортире. Дают горячий чай — в трех или четырех местах раздают! Откуда это у русских вдруг столько посуды? Всем разрешают оставить посуду при себе. Находчивые солдаты уже провертели

дырки у верхнего края, теперь кусок проволоки или веревки — и можно подвесить посудину к шинели. Затем снова строиться — *po pjat, po pjat!* — и русские раздают нам хлеб. Он уже нарезан, и куски, которые нам достаются, почти одинаковые.

И снова шагаем по сельской дороге. Начинается весна, снег уже подтаивает. В Польше мы или уже в России? Никто ничего не знает. С охраной разговаривать нельзя, указателей на дороге нет, если какой и попадается, то прочесть его могут только Иваны. Колонна наша заметно уменьшилась, нас теперь человек четыреста или пятьсот. А когда эту колонну построили первый раз, было нас больше тысячи; где же остальные? О тех, кого нет с нами, мы никогда ничего не узнаем. Русские всех в первый раз зарегистрировали, но кого же это интересует?

Толпа опустившихся, скверно пахнущих людей в грязной истрепанной военной форме едва движется вперед, подгоняемая русской охраной. Со вчерашнего дня они на лошадях. Холодно, и с неба льет как из ведра. Время еще не позднее, но нас приводят в какую-то крестьянскую усадьбу, размещаемся опять в сарае, а там — полно соломы! И везде полова. Неужели Господь Бог услышал наши молитвы? Теперь скорей, зарыться в солому. Солдат, которого я теперь часто вижу рядом с нами, сказал, что полова впитает влагу из наших одежек и, если лежать так подольше, завтра будем идти в подсохшем!

Зарываемся как можно глубже, но что это? Натыкаюсь руками на какой-то туго набитый мешок! Что в нем? Мешок тяжелый, вытаскиваем его с трудом. Стараемся укрыть его от любопытных взглядов. Посвящен только солдат, который подсказал нам про солому, он нам помогает. В мешке — зерно, он доверху набит пшеницей! Вот это подарок! Недавние события при раздаче еды сделали нас осторожнее, мы делимся только с соседями. Эта пшеница хорошо нас поддержит в ближайшие дни. Ведь если верить надписям, оставленным предшественниками в сортирах, русские будут гнать нас пешим ходом до самой России. Трудно даже представить себе такое, но, наверное, с них станет.

Жуем, жуем и жуем, набиваем карманы. А мешок все еще наполовину полон, и мы благородно делимся еще с кем-то. А из мешка устраиваем рюкзак, чтобы взять его с собой. Нельзя, чтобы он был слишком тяжелым, но тут же находятся добровольцы, готовые, разумеется, тащить мешок. Когда мы уже собираемся спать, охрана зовет опять — раздают чай. Георг, старый солдат, который нас теперь опекает, советует много не пить, чтоб не было худо с животом. Мы уже и так перестали жевать. Может, наелись досыта или челюсти уже отказываются работать. С набитым

брюхом мир не кажется уже таким ужасным.

Утро, мы поднимаемся. Одежа наша и в самом деле высохла, она теплая. «Мне бы теперь еще складку на брюках — и готов выходной костюм», — говорит Ганди. На выходе получаем по куску хлеба, у полевой кухни можно наполнить свою посуду чаем. «Какое обслуживание!» — это, конечно, опять Ганди. Строимся в колонну, как всегда, по пять человек; Иваны нас пересчитывают. Каждый день нас считают, утром и вечером. «*Dawaj, dawaj, po pjat!*» Наконец трогаемся, проходим километр или два, и — стоп. Опять пересчитывают! Ну, кому это надо, ведь скольких уже нет с нами, зачем же каждый раз эта чахотка. Боятся просчитаться или водки получили вчера вечером больше обычного?

Сегодня мне нести рюкзак с оставшейся пшеницей. Но чтоб пожевать по дороге — нечего и думать, болят зубы, десны. Мы ведь уже не одну неделю ничего твердого не жевали… Опять пересчитывают! Снова идем. Опять кричат: *«Stoj!»* А прошли каких-то четыре или пять километров от усадьбы, где ночевали. И мы понимаем — что-то не так. Может, кто-нибудь сбежал? Ждем, кажется, целую вечность. Дорога вся в грязи, но кто-то все же садится на землю.

«Вот там, смотрите, — показывает кто-то из пленных. — Гонят к нам, троих!» Верно, двое охранников ведут сюда троих пленных, они же из наших! Вот один споткнулся, упал, его бьют, подгоняют… Что же случилось? Эти трое проспали или спрятались? Наверное, теперь узнаем.

Нам велят выстроиться на поле рядом с дорогой в три колонны, две вдоль, одна поперек, чтобы каждому был виден русский офицер, который будет держать речь. Он говорит, что эти трое пытались сбежать, «уклониться от работ по восстановлению разрушенного вами…». Они дезертиры, приговорены к смерти и будут здесь же расстреляны. Это нам предупреждение. А если еще кто попробует уклониться от восстановления разрушенного в Советском Союзе, того тоже немедленно расстреляют.

Троим пленным велят раздеться; они умоляют офицера не расстреливать, падают на колени, умоляют пощадить их, клянутся, что не убегут. Один из них хватается за сапоги офицера и кричит: «*Polacki, niet Niemcy, Polacki!* (Мы не немцы, мы поляки!)». Вцепился в сапоги. Офицеру это надоедает, он достает пистолет и несколько раз стреляет в кричавшего. Тот валится на землю, от каждого выстрела его тело дергается. Двум другим велят поскорее раздеваться. Они стоят перед кучкой своих

последних пожитков; один еще раз напрасно пытается уговорить офицера. Но похоже, два солдата, которые притащили беглецов, уже получили приказ. И они палят, словно целую роту расстреливают; автоматные очереди валят несчастных беглецов на землю. Офицер еще стреляет из пистолета каждому в голову. Отвратительная сцена.

Того, что происходит дальше, лучше бы я не видел. Охранники хотят раздать одежки расстрелянных. Конечно, у кого-то их пленных нет шинели, как у меня — башмаков. Но что за эти вещи возникает чуть не драка, что с убитого, который так и не снял кальсоны, их буквально срывают, это бесчеловечно. Во что же превратили несколько дней плена этих людей?! Неужели это нормальные люди, твои товарищи, с которыми неделю-другую назад ты мог перекинуться на отдыхе в карты или просто дружески болтать на солдатском жаргоне? Это не укладывается у меня в голове, мне просто стыдно! Но ловлю себя на том, что возмущаюсь сегодня уже не так сильно, как в тот день, когда застрелили летчика с Рыцарским крестом.

Молча выходим с замерзшего поля обратно на дорогу. Сегодня не было русских машин нам навстречу, да и вчера не было, если я не забыл. Деревни теперь встречаются чаще, уже не по две или три за день, а десять или одиннадцать. Кто-то говорит — значит, скоро город. И верно, мы приходим в польский город Ченстохова. А что он знаменит старинным костелом, в котором хранится драгоценная икона Ченстоховская Богоматерь, я узнаю только после плена…

До этого дня мы, можно считать, не общались с поляками. Что я знаю о Польше? Знаю, что в сентябре 1939-го мы начали с Польшей войну, которая закончилась за три неполных недели, была вроде победной прогулки. В день начала войны гремела речь фюрера — вот, мол, теперь трусливым польским убийцам ответит наше оружие, а я жалел, что мне еще мало лет, что я не могу, как многие другие, стать солдатом и сражаться с врагом за родину и народ. По моим представлениям, поляки тоже недочеловеки, еще хуже, чем русские. Я видел и польских военнопленных, их лагерь был совсем близко от нашей школы, они возвращались туда после работы на фабрике. Я вспоминаю, как была рада мама, что мой брат Фриц и я еще слишком малы, чтобы идти на войну. Она видела Первую мировую войну молодой женщиной, один из ее братьев был убит во Франции. А теперь я сам — пленный, в плену у этих русских недочеловеков.

Мы шагаем мимо первых городских домов. На улицах много людей, охранники прокладывают дорогу нашей колонне, но все равно — начинается! Нас бьют, пинают сзади ногами, у многих в руках дубинки или еще что-нибудь в этом роде. В нас кидают чем-то из окон, мы стараемся увернуться от тычков и ударов, но строй уже нарушен. Только бы не упасть — ведь эта орда забьет меня! Из окон на нас льется вонючая жидкость, можно подумать — эти люди берегли свои ночные горшки для такого дня.

Уже видно, что многим досталось так, что уже не могут идти. Тогда наша охрана стреляет в воздух, поверх голов толпы, и разгоняет ее — ведь нас надо доставить в лагерь на другом краю города все же более или менее в целости. Становится спокойнее, однако то пинок, то удар по-прежнему достигает цели. В том числе не раз — моих ног. Когда напуган, боль ощущаешь только потом. Вокруг меня немало окровавленных лиц, стонущих от боли товарищей. Что мы такого сделали этим людям? А в нас опять швыряют камнями — это уже дети, они орут с искаженными злобой лицами; но я ведь не понимаю ни слова. А об Освенциме я тогда ничего не знал. Я был там только прислугой на зенитной батарее, поставленной прикрывать завод фирмы «И.Г. Фарбениндустри».

Охрана нас торопит, но как нам идти быстрее, если на каждом шагу — нападающие; они гонятся за нами, бьют и пинают, ох, не описать всего этого. А если нам все же удалось добраться до ворот лагеря, то благодарить надо русских солдат. Наверное, у них уже был такой опыт в Ченстохове с другими пленными. И нападавших они остановили очередями из автоматов.

3. Ченстохова

Лагерь буквально кишит немецкими пленными, наверное, это сборный лагерь. Я, кажется, видел по дороге сюда большую церковь и теперь обращаю к небу молитву. И опять громко спрашиваю: «Где же Ты, Отец небесный? Как Ты такое допускаешь? Мы беззащитны, а люди вокруг нас ненавидят. Неужели Ты этого хотел? Чтобы мы страдали за чужие грехи?» Ведь то, что было, когда шли через город, это настоящий ад; там, наверное, не хуже.

Мы в лагере военнопленных, это уже не амбар и не школа. Нас оставят здесь? Мы здесь будем работать? У меня сжимается сердце, ведь это значит — каждый день шагать по улицам, где нас будут бить. Самое худшее, что только может быть, — тебя бьют, а ты не смеешь защищаться. Но здесь собраны тысячи и тысячи пленных, кто-то говорит, что сорок или пятьдесят тысяч. Нас ведут в огороженную колючей проволокой отдельную часть лагеря. Неподалеку от барака отпускают — вольно! Страх, перенесенный за последние часы, написан на наших лицах. Слава Богу, Ганди, Кони и я все еще вместе. Теперь можно передохнуть.

После недолгого ожидания велят по десять человек заходить в барак. Он деревянный, метров 20 или 25 в длину, метров 10–12 по ширине. Несколько низких окон, очень светло. Есть даже скамьи. А за письменным столом сидят офицеры Красной Армии, и опять с ними женщина, наверное, врач. Конечно, это медкомиссия: нам велят раздеваться догола по десять человек, каждого осматривают, переводчик пишет протокол. Женщина-врач спрашивает, когда я родился. Отвечаю. «Ах, через два дня тебе будет уже семнадцать!» Значит, сегодня девятое марта. Осматривает меня, щупает там и тут, покачивает головой от вида моих ног, они совсем потрескались. О чем-то говорит с переводчиком, который записывает. А мы стоим голые. Слава Богу, здесь довольно тепло, мы уже отвыкли от этого. Она тщательно осматривает Ганди, зовет кого-то еще, и они вдвоем изучают рану на его плече. Повязкам на наших ранах уже не одна неделя, сдирать их ужасно больно, я впервые слышу, как Ганди кричит от боли.

А как хорошо в тепле! После стольких страхов и ужасов с нами впервые обращаются по-человечески, так мне, во всяком случае, кажется. Но выглядим мы ужасно. В чем только душа держится… Кто-то сел уже на пол, на снятую одежду. Я тоже сильно отощал, а вид Ганди меня просто пугает. Он всегда был тощий, а сейчас — просто скелет, обтянутый кожей, весь правый

бок в засохшей крови. Сдерживаюсь, чтобы не взвыть.

Нас отправляют на другую сторону барака. Там русские медицинские сестры в военной форме и санитар обрабатывают наши раны какой-то жидкостью, чистят их. Ужасно жжет, слава Богу, недолго; потом мажут фиолетовой жидкостью, может быть это йод; тоже жжет, но не сильно. Нас по-настоящему перевязывают и велят одеваться. Белье наше от пота, грязи и нечистот стоит колом, замечаем и вшей. Я ищу у себя и не нахожу ни одной, может, я им не по вкусу? А что мне делать с ногами? Тряпки, которыми они были обмотаны, изорвались, удивительно, как это они продержались столько времени.

Медсестра наблюдает за моими попытками «обуться». Окликает меня, показывает — садись. А остальным уже велят выходить. Ганди хотел бы, конечно, остаться со мной, но его отсылают. Проходит немного времени, и сестра возвращается с парой башмаков в руках. Обувайся! Невероятно — она мне протягивает еще и пару русских портянок, совершенно новых! Как мне ее благодарить? Я пытаюсь выразить мою радость по-немецки, она отвечает: *charascho*, — а я не знаю, что это значит; догадываюсь только по ее приветливому лицу.

Так, обмотаем ногу портянкой. Если бы это было так просто! Тем временем подошли на перевязку другие. Один солдат показывает мне, как надо обернуть ногу, чтобы на портянке не было складок и она не натирала при ходьбе. Боже, как я рад, что ботинки подошли! Я так благодарен этой сестре, обнял бы ее от всего сердца. Еще раз говорю ей спасибо и оставляю добрый барак.

Ганди ждал меня снаружи. Когда он видит на мне ботинки, а я рассказываю, откуда они, Ганди комментирует: «Ну, Вилли, я всегда знал, что ты нравишься женщинам. Вот даже у Иванов!»

Мы выстраиваемся в колонну, будут раздавать еду. На подходе к кухне каждый получает миску, алюминиевую ложку и кусок хлеба, а приветливый повар, русский, наливает густой перловый суп. Я произношу про себя слова молитвы, благодарю Бога за пищу, а ведь недавно в Нем усомнился — когда Он дозволил тем людям, полным злобы, бить нас.

Замечательно вкусный хлеб! Сколько же это недель не было у нас никакой еды, кроме хлеба с чаем, да еще вот зерна пшеницы; их и сейчас еще можно наскрести по карманам. А у рюкзака с оставшимся зерном теперь, видно, другой хозяин. Солдат, который помогал нам нести мешок, что называется, растаял, в такой куче народу это нетрудно. Я на него не так уж сержусь,

потому что челюсти мои едва двигаются, больно, да и желудок не раз давал о себе знать. Тогда ведь мы были такие голодные, что на подобные пустяки внимания не обращали.

Вот, нас опять пересчитывают и по двадцать человек, в сопровождении часового, отправляют в барак. Он такой же, как тот, где нас перевязывали, но уставлен трехэтажными нарами; с обеих сторон по окну, есть печка, она, к сожалению, холодная. В этом бараке мы первые, мы с Ганди удобно устраиваемся на нарах среднего «этажа». Но ненадолго — приводят все новых солдат, и на нарах становится тесно. На каждого разве что сантиметров 30 или 40 по ширине. Посмотрим, как это будет ночью.

Но куда подевался Кони? Когда нас вели в медицинский барак, он был еще с нами. Он не ранен, значит, его не перевязывали. И в очереди к кухне его с нам не было, где же это он? Пробуем звать его по имени, громко кричим. Никто не отзывается. Может, найдем его утром…

Мы с Ганди хотим устроиться на ночь, как раньше, — на одну шинель лечь, другой укрыться. А на нарах уже так тесно, что не повернуться. Нас ругают, бранят сквернымиловами. Сосед сбоку толкает меня ногой, попадает по раненой голени, ужасно больно, я кричу. В бараке светло, потому что снаружи все залито светом прожекторов, чтобы часовые могли заметить любое подозрительное движение. А который час — никто не знает, часов нет уже ни у кого.

Распахивается дверь. «Давай, давай!» Всем выходить на построение, будут пересчитывать, охрана сгоняет с нар уже заснувших. Все вышли наружу, и нас тут же начинают пускать в барак снова. В дверях два охранника нас считают, только бы они не ошиблись, не то все начнется сначала. Нам с Ганди везет, мы возвращаемся в барак в числе первых, и надо же — никто не занял наших мест на нарах!

Будят нас все тем же *dawaj, dawaj!* Когда были на марше, еще можно было понять, что утром и вечером нас пересчитывали, а здесь зачем? Здесь же лагерь! Нога моя уже не так сильно болит, ночью никто не толкался. Нам раздают опять по миске супа с русским хлебом, мне вкусно. Но оставаться снаружи не разрешают — назад в барак. Ни маршировать, ни работать, что это за лагерь пленных? Начинаются разговоры — о доме, о семье, кто-то хвалится подвигами. Но больше всего — о еде, это от пережитого голода. А в обед снова раздают суп, на этот раз пшенный. Я такого никогда еще не ел, даже не знал, что такое пшено. И опять по куску хлеба. Может, это нам за недоданное во время пешего марша? А старый солдат говорит, что такие, как мы

сейчас, мы не сможем работать, так что русские знают, что делают. А Ченстохова — это не Россия, туда еще далеко. И что же, снова пешим ходом?

Опять распахивается дверь, опять «давай, давай!» — всем выйти, все забрать с собой, на нарах ничего не оставлять! Повсюду бродят пленные, и мы с Ганди пользуемся случаем, ищем Кони. А может, его уже отпустили домой? Спрашиваем других, не видел ли кто такого, ведь ребят нашего возраста здесь мало. Нет, никто не знает.

А в лагере деловая суета. Въезжают и уезжают грузовики, везде воняет дезинфекцией, сказали — это травят в бараках вшей. Прошло несколько часов, начали пускать обратно в бараки, по сто человек. До нас очередь дошла, когда было уже темно. А с дезинфекцией кто-то уж постарался! С нар капает, на полу повсюду вонючие лужи, запах в бараке такой, что задохнуться можно. Никто не решается лечь на нары. Еще ведь будут кормить вечером, и в самом деле, Иваны выгоняют нас из барака на раздачу. Дают опять по куску хлеба. Скорее обратно, на нары, занять свое место. Сегодня с этим уже получше, образовался какой-то порядок. Мы уже выбрали старосту барака, он немного говорит по-русски и по-польски, во всяком случае, охрана его понимает, и он их тоже.

Часовой, который пересчитывает нас вечером, добрый — разрешил оставаться на местах, можно сидеть на нарах или лежать. Главное, чтобы рассчитывались громко, об этом уже позаботился наш староста. А меня уже сердит, что я ни слова не понимаю по-русски, с часовыми совершенно беспомощен. Зато хорошо, что знаю теперь числа — завтра 11 марта, мой день рождения, мне будет семнадцать.

Репродукторы здесь не только «на улице», русские военные сводки звучат и в бараках. Они сообщают, что Красная Армия уже недалеко от Берлина. Можно ли этому верить, это же, наверное, пропаганда? Но если послушать иного бывалого солдата, как отступают немцы, как нажимают Иваны, то выходит, что так оно и есть…

Сегодня 11 марта, мой день рождения. И Ганди преподносит мне подарок — кусок вяленой рыбы. Невозможно поверить! Где он его добыл? Никакой рыбы я здесь ни разу не видел. Или, может быть, это охрана иногда продает в бараках такую рыбу? Ладно, не важно откуда, а важно, что Ганди в такой безысходной ситуации так обо мне позаботился. Я ужасно рад, никогда,

наверное, так не радовался подарку; замечательно начинается этот день! А слухи, что война со дня на день закончится, становятся все громче.

Все новые и новые пленные прибывают в лагерь, а с ними — все новые сведения, словно со стенки в сортире. Я так говорю: «в сортире» — потому что не могу себе представить, что Иваны нас победили, нас, нашего фюрера, весь немецкий народ. Не помещается такое у меня в голове! А вот Ганди — другой, он гитлерюгендом не интересовался, как я, не бубнил про «фюрера, народ и родину», у него совсем иное мнение. И он говорит мне, что будет рад, если в один прекрасный день вся эта коричневая мразь сгинет. В первый раз говорит сегодня, что никогда не понимал моего увлечения этим фюрером и всем прочим… Что же это происходит в мире? Но ведь Ганди — мой лучший друг, и ведь не первый день! Чего мы только не пережили вместе, не вытерпели, не одолели! Я думаю, это нехорошо, что Ганди сказал мне такое только теперь.

Наш разговор прерывается — четыре офицера Красной Армии, одна из них — женщина, пришли в наш барак. Приносят стол и несколько стульев. На столе раскладывают папки, бумаги и начинают вызывать нас по фамилиям. Узнаю темный лист бумаги, на котором меня записывали, я ведь тогда сказал, что специальность — токарь. Непонятно, как это у них устроено — откуда они знают, кто в каком бараке?

«Биркемайер, Вильгельм!» — выкликает самый низкорослый из четверых, он гораздо меньше ростом, чем даже госпожа майор. Я откликаюсь, но у меня дрожат колени, неверными шагами подхожу к столу, к тому офицеру, что назвал мою фамилию. Он читает бумагу, явно размышляет, потом смотрит на меня прищурившись.

«Такой молодой! — Пауза. — Хочешь домой?» Неужели это правда, неужели война кончилась?! Я поскорее отвечаю: «Да!» — и боюсь произнести еще хоть слово, ничего не соображаю, язык не ворочается. «Был в зенитной артиллерии?» — «Да», — отвечаю дрожащим голосом.

«Стрелял по русским самолетам, в русских летчиков. Летчики погибли, теперь ты работать в России, пять лет!» — резко бросает офицер.

Кружится голова, не может этого быть. Хуже смертного приговора… Чего я только уже не перенес! И теперь еще пять лет? С ума сойти. Наверное, я бледен как мел, и госпожа майор видит, что со мной происходит. «Ты здоровый, ты работать хорошо», — говорит она, и уже вызывают следующего. А я возвращаюсь к

Ганди и от волнения едва могу говорить. Ганди спрашивает, в чем дело. Объясняю, как могу, слезы заливают глаза.

Ганди обнимает меня. «Он же того, он ничего не смыслит, да и пьян как свинья! Ни о чем не беспокойся, сюда добрались живыми, еще и домой вернемся! Вся жизнь еще впереди, старина, дружище!» Ганди молодец, его не собьешь, без него мне бы до этого лагеря не дойти.

Следующий день начинается с вошебойки. Все наше барахло, включая шинели, отправляется в печь на прожарку, вши и гниды там погибнут. А белье идет в котел с дурно пахнущей жидкостью. Под потолком барака, где это происходит, проходят трубы, через каждые 40 или 50 сантиметров в них проделаны дырки, из них течет вода — это душ. Раненые тоже должны мыться. По команде раздеться, намылиться и облиться; кругом толкотня, воды не хватает. Сколько недель я не мылся, цирк все это, если нельзя отмыться по-настоящему.

С другой стороны печи, в которой жарились наши вещи, нам их выдают. Опять споры-раздоры, кто-то шумит, что ему дали чужой мундир. А я удивляюсь, что все происходит почти спокойно. А белье выдают новое, наши рубахи да кальсоны можно только выбросить. Уже одеваясь, замечаем, что вши в печке, наверное, только взбодрились, а из гнид как бы не новые вылупились. Чешется и свербит все тело. Только из бани, *Banja* называется это по-русски, как надо сбрасывать с себя одежки и приниматься за «охоту». Уже научился у старших солдат давить вшей ногтем, а гнид надо буквально выдирать из ткани. Вши теперь наши неизменные спутники.

Лагерь огромный, нетрудно и заблудиться, кругом одинаковые бараки. Когда в Ченстохове была немецкая армия, в этом лагере держали угнанных на работы; здесь в окрестностях большие военные заводы. Русские пленные тут тоже были. А плац, на котором происходят построения, — больше футбольного поля.

Почти ночь, а пленных уже строят на плацу. Старосты бараков отвечают за то, чтоб никто не остался, чтобы все были в строю. Чего от нас хотят Иваны? Ведь если надо что-то приказать, в бараках есть громкоговорители. Вот все собрались, приходят русские офицеры. И объявляют, что мы должны перестроиться «по национальностям». Что за чушь? Мы же все немецкие солдаты, может быть, есть несколько гражданских, а что еще? Не понимаю, что у русских на уме.

Первыми откликаются австрийцы, кто-то уже нацепил красно-бело-красную кокарду на шапку. Вот уже образовалась и другая

группа — кто жил поближе к польской границе, считает теперь себя поляком. Какой-то солдат зовет вендов. Из любопытства спрашиваю его, что это такое, а он объясняет, что в Померании есть такое племя — венды. Если голландцы, бельгийцы — фламандцы и валлоны, — это я еще понимаю, но венды? И все ведь в немецкой военной форме, но почти ни у кого уже нет знаков различия — шевронов или звезд на погонах, они их сорвали. Если столько иностранцев, с чего это и каким образом они сражались за Германию, за нашего фюрера? Многие, конечно, убиты, тоже ведь «за фюрера, народ и родину»? Ничего не понимаю! Кучка немцев становится все меньше, все новые «иностранцы» покидают нас; эльзасцы теперь — французы, а фризы с севера — датчане…

Мой друг Ганди родом из Одерберга, это в Верхней Силезии. «Слушай, может, я теперь тоже чех или поляк? Или свинья с русской или польской щетиной? Тьфу ты, черт!» — громко бранится Ганди.

Два русских офицера занимаются теперь отдельно нами, немцами; нас осталось, наверное, человек 200 или 300, это из тридцати или сорока тысяч! Через переводчика спрашивают, все ли мы на самом деле немцы, нет ли среди нас иностранцев. У меня стучит сердце, каждому слову переводчика внимаю со страхом. Что с нами будет? Нам велят построиться, как всегда, в колонну по пять в ряду и — шагом марш; оба офицера идут с нами. Строем идем через лагерь к воротам. В голове роятся мысли одна другой хуже. Нас расстреляют? Или накажут? Как именно? Я уверен, что не меня одного не держат ноги. От страха едва не напускаю в штаны, к счастью, все же удерживаюсь.

Мы, «настоящие немцы», теперь вдруг ощущаем, что надо держаться вместе; солдат, уже с сединой, говорит — чтобы умереть достойно. Перед моими глазами снова встают те трое на марше, которых застрелили, — они умоляли о пощаде. Шагаем, опустив головы, следом за двумя офицерами. Все тише становится, почти призрачная тишина, никто не произносит ни слова. Колонна сворачивает влево, и мы оказываемся прямо перед кухонным бараком. Там гора нарезанного хлеба, и нам выдают по огромной пайке и по куску сала, такого, как мы видели у солдат охраны на марше. Чудо какое-то, это же невозможно себе представить. Не предсмертная же это трапеза? Едва решаемся приняться за еду, а пожилой солдат подходит к офицерам и благодарит их от всех нас.

«Ты *nemez!* — спрашивает офицер. — Ты *gut,* все *gut!»* — и показывает на нас. Можно ли такое представить себе? А офицер

зовет переводчика и велит сказать нам, что в Советском Союзе лучше всегда говорить правду.

Переводчик ведет нас к бараку, нам велят вселяться и устраиваться поудобней. Места там много, хватит на всех. И еще одно чудо: появляется женщина-врач с двумя русскими сестрами, нам обрабатывают и бинтуют раны. Если бы здесь была церковь, пошел бы туда и на коленях благодарил Господа Бога; делаю это молча, про себя; другие, наверное, тоже.

Перед вечером приносят котлы, и каждый получает хорошую порцию — перловую *Kascha* и снова хлеб. А я еще не доел тот, что давали в обед. Никогда ведь не знаешь, когда будет следующий раз, мы уже этому за прошедшие недели научились. Ночь проходит спокойно, нас не пересчитывали. Утром снова идем на кухню, дают суп с хлебом; прямо как в сказке. Эта часть лагеря еще пустует, только на плацу стоят или лежат другие пленные, мы с ними врозь. Только в обед нас отправляют в прежний барак, приходят туда и остальные пленные; после разделения «по национальностям» им пришлось провести все это время на улице. Они бы не поверили нашим рассказам, но у каждого из нас с собой хлеб, и вот какого-то баварского «австрийца» прорывает. Русские им сказали, что это только начало, что их еще накажут за то, что они, иностранцы, воевали вместе с немцами против Красной Армии, против Советского Союза. Интересно, это здешний начальник лагеря так или это приказ Сталина?

Этого мы никогда не узнали, потому что уже на следующий день все мы опять «одинаковые», пленные, и даже красно-бело-красные флажки куда-то исчезли.

Среди ночи нас согнали с нар, велели собрать все наши малые пожитки и строиться по пять. Отсчитали две тысячи человек, строем на кухню, там получили снова суп и хлеб — пайки стали, кажется, вдвое больше, русские говорят, что по 400 грамм. И вот пошагали — через лагерные ворота, охрана с автоматами, с нами нагруженные телеги и даже полевая кухня. Автоматчики по обе стороны колонны, через каждые 30–40 метров. Вдоль по дороге, прямо на восток. Кто-то слышал, что следующая «станция» — Дембица. И кто-то знает это место — был там на унтер-офицерских курсах. Опять переходы по пятьдесят или шестьдесят километров в сутки. Поначалу чувствуем, что несколько дней отдыха и еда пошли нам на пользу, что мы стали бодрее, но чем дольше продолжается пеший марш, тем лучше понимаешь, что Ченстохова была всего лишь передышкой.

На телегах все меньше припасов, порции и пайки хлеба все

меньше. Борьба за кусок хлеба с каждым днем отчетливей, все пережитое до сих пор забывается. Это кто же справедливо поделит буханку в полтора кило, когда куска хлеба ждут сто жадных глаз, когда мы уже плохо соображаем? Когда приходится делить буханку на десятерых, а то и на двадцать едоков, выбирают «независимого» раздатчика. Не раз выбирают «комитет» по раздаче хлеба. Но когда надо распределить сто кусков — все приличия забываются. За кусок хлеба толкают и дерутся, вырывают его друг у друга, так что кусок могут и затоптать. Описать эти схватки невозможно, это нужно видеть своими глазами, но я не хотел бы увидеть это еще раз. Никакой другой еды или питья нет уже несколько дней, полевую кухню Иваны где-то просто оставили. А может, они часть продуктов обменяли на водку, ведь каждую ночь часовые пьяны. Санитарные условия нечеловеческие, они просто катастрофичны. От снега, который пьют, чтобы как-то утолить жажду, у многих понос; у Ганди тоже.

А мы плетемся, километр за километром, собственно, уже метр за метром, силы наши совсем на исходе. Мы с Ганди останавливаемся, крепко держимся друг за друга — не хотим идти дальше. Кто-то из идущих мимо нас солдат пытается тянуть нас за собой, а мы не можем, не хотим больше терпеть этот ужас. Нас замечает охранник, стволом автомата толкает в спину. Чего только не сделаешь, когда в спину упирается ствол! Наверное, мы не хотим умирать, страх смерти — сильнее и гонит нас вперед. Мы тащимся, шаг за шагом, потому что тот, кто ляжет, ляжет навсегда.

Слава Богу, следующий ночлег уже близко, но это еще не Дембица.

4. Дембица

На следующее утро перед выходом в путь охранники раздают по пайке хлеба. Из припрятанных запасов? Откуда бы ни было, главное — хоть не на голодное брюхо шагать. Переход совсем короткий, мы подходим к городку, это и есть Дембица. На этот раз, слава Богу, поляки нас не атакуют.

Открываются ворота лагеря, и мы попадаем в руки лагерной полиции, это такие же немецкие военнопленные, как мы. У каждого из них — дубинка. И начинается, они нас гонят на плац дубинками! Немецкий комендант лагеря в черной форме офицера-танкиста представляется руководителем «Antifa» — антифашистской организации бывших германских солдат — и объявляет нам ее цели: искупление преступлений, совершенных германской армией, и прежде всего войсками СС, по отношению к советскому народу; восстановление разрушенных деревень и городов, восстановление разрушенных немцами заводов, железных дорог и мостов. И дальше: перевоспитание каждого пленного в борца за объединяющий народы социализм, в духе интернационализма, марксизма и ленинизма. И еще он сказал, чтобы члены КПГ, компартии Германии, обратились к нему.

Затем — бегом на дезинфекцию. Сдурели, что ли, эти прислужники у русских? Словно погонщики скота, машут своими дубинками, подгоняют нас, если им кажется, что мы медлим. Кто же это может после всех бед последних недель еще и бегать, чтобы потрафить этим садистам? Пожилой солдат защищается от них, они его бьют, валят на землю, пинают ногами. Один из этих скотов велит двоим пленным «убрать» лежащего; сами они нести его не желают.

Ни одного Ивана не видно. Почему же они разрешают такое, почему не остановят этих прислужников? Разве мы этого ждали от лагеря в Дембице? Надеялись передохнуть, как в Ченстохове… А что теперь? Уж лучше шагать дальше, в Россию. А здесь мы во власти этих зверей.

Перед входом в дезинфекционный барак нам велят остричь друг другу волосы. Три табуретки, трое тупых ножниц. Каждый стрижет того, кто шел в строю перед ним. В следующем бараке — бритье. Сбривать надо волосы не только с лица, но и под мышками и между ногами. Мне, слава Богу, почти нечего сбривать, я ведь еще ни разу не брился. Стою в очереди ждущих бритья пленных, тру кусочком мыла то место и — не верю своим глазам: на меня смотрит женщина, изнуренная худая женщина,

совсем молодая. Может, она медсестра или из помощниц при зенитных орудиях? Разговаривать не разрешают, тех, кто все же решается, угощают дубинкой или ударом кулака.

То одному, то другому удается попасть в баню не обритым, а для надсмотрщиков это желанный повод всыпать такому или пригрозить, что не получит еды. После бани русские офицеры или врачи каждого проверяют — нет ли головных вшей. До сих пор я не знал, что есть разница между головными и платяными вшами. Считается, что головные переносят болезни — сыпной тиф и желтуху. Тем, у кого находят головную вошь, надо натирать голову отвратительно пахнущей мазью; делает это следующий в строю, если плохо трет — получит сапогом под зад…

Санитарные условия в этом лагере описать невозможно, они совершенно ужасны. Много больных дизентерией, и все загажено — пол, нары. Может, поэтому русских почти не видно и мы отданы во власть немецкой лагерной полиции? Все новых умерших солдат оттаскивают к вырытой на краю лагеря яме, засыпают хлоркой. Никто мертвых не регистрирует, родственники никогда не узнают, где они лежат.

Вечер, мы с Ганди сидим на корточках в углу барака. Внезапно раздаются крики, громко командуют — всем из барака, бегом марш! Строимся, нас пересчитывают, и колонна, нас, наверное, тысяча или две тысячи человек, трогается. И раньше, чем я начинаю понимать, что происходит, мы уже — на какой-то товарной станции; нас грузят в вагоны по восемьдесят человек, пол устлан соломой, источающей вонь. Двери закрывают и запирают снаружи, все в страшной спешке. В ночной тишине разносятся только крики этих бестий-«антифашистов»: *dawaj, dawaj!* — ишь, научились у русских… А русские часовые стоят тут и там в стороне и смотрят, как их прислужники обращаются со своими же земляками. Крики замолкают, поезд трогается. Но куда и почему так внезапно?

Уже не раз на этом грустном пути в русский плен я испытывал стыд за то, что я немец, что любил свою родину и непоколебимо верил в фюрера. Но эти сволочи, эти садисты из лагеря в Дембице, наши же бывшие товарищи-солдаты, — эти меня доконали. Потерял я веру, которую хотел сохранить, — потерял навсегда!

Мы больше стоим, чем едем. Оба окошка в нашем вагоне забиты снаружи досками, изнутри еще — колючая проволока. Уже светло, сквозь щели видно взошедшее солнце. Двери

открываются, слава Богу — там только русские часовые, а не эти сволочи.

Баки с едой стоят у путей. Такие же пленные, наверное, они здесь дольше нас, раздают суп и хлеб. Хорошо, что мы уже научились быть готовыми ко всему, а то немногое, что мы имеем, — всегда при нас. На первом месте — котелок, а иначе проще простого остаться без еды. Здесь раздатчики забрасывают в каждый вагон по мешку с сырой морковью. Делим спокойно, никаких больше драк, страх после побоев в Дембице, похоже, сплотил нас, так мне, по крайней мере, кажется.

Девять дней мы в вагонах, двери отворяются раз в сутки — раздают еду, выносят умерших; у нас их сегодня шесть. Я уже попривык к смерти, она всегда с нами, каждый день тихо ищет свою жертву. Мы почти не замечаем, как кто-то умирает. Некоторые потеряли всякую надежду. Что может раненый пленный солдат сам, без врачебной помощи, без лекарств, без бинтов и ваты? Ноги мои так распухают, а воспаление так дергает, что мне начинает казаться, что ног у меня уже нет. С повязкой, которую мне наложила доктор в Ченстохове, обращаюсь как с великой драгоценностью. Когда в вагоне есть место, распускаю бинты, «проветриваю» раны. Это помогает, чтобы заживало, так научил меня один пожилой солдат; но когда я вижу свои голени, начинаю сомневаться, заживут ли они когда-нибудь. Иногда меня одолевает страх, что я останусь без ног.

Что это — гной, который так ужасно пахнет? Ноги ведь еще не отмирают? Наверное, нет, иначе не болели бы так сильно…

5. Перемышль

Двери вагонов сегодня открыты. Нам разрешают, даже велят выходить. Если кто пытается сделать это самостоятельно и ему это удается, то чаще всего он на ногах не удерживается и валится на щебенку. Мы с Ганди буквально сползаем вниз, повисая на руках, просто ужас. Мне кажется, что боли в ногах я уже не чувствую. Наверное, есть какая-то грань, за которой организм перестает воспринимать боль. Но тут же меня охватывает страх: а что, если мои ноги уже отмирают?

Станция называется теперь Пшемысль. Приказывают построиться, и опять мы идем, идем, идем; каждый шаг — с трудом. Наконец останавливаемся, нам разрешают сесть на землю. Охрана нас, можно сказать, оставила, часовых почти не видно; один или два, остальные ушли. «Сколько времени мы уже сидим так?» — спрашиваю я Ганди. «Сейчас поедем, — отвечает он. — Первым классом, как же иначе!»

В самом деле, подъезжают грузовые машины, мы карабкаемся в кузов. И через час езды мы — в перемышльском лагере военнопленных. Нас встречают немецкие санитары, ведут в приемный барак. Там помогают тем, кто совсем обессилел, вымыться под душем, перевязывают раненых. Тяжело раненных, все же чудом сюда добравшихся, отправляют в лазарет, лагерную больницу. Там, к сожалению, места находят только для самых тяжелых; Ганди и меня будут лечить в амбулатории. Даже есть дают здесь с учетом нашего состояния. Порции маленькие, женщина-врач, объясняет, почему так надо после перенесенного нами за последние несколько недель. Мы благодарны за заботу, только еще не умеем это выразить. Только через несколько дней начинаем осознавать этот рай за колючей проволокой. Еще случается, что пленный умирает, но мы с Ганди довольно быстро поправляемся, понемногу отходим от перенесенных ужасов. Уже не говорим только о еде и кухне. Со страстью обсуждаем этапы нашего пути сюда…

Каждый день приглашают добровольцев в рабочую команду — работа за территорией лагеря, говорят, только легкая. Мы с Ганди тоже хотим вызваться, но у нас в печенке сидит еще страх перед поляками, к тому же боимся, что не справимся — из-за ран. А возвращающиеся вечером после работы рассказывают такое, что невозможно себе представить. Все только и нахваливают поляков за помощь и русских часовых, которые этому не препятствуют. Работают небольшими группами, человек по 15–20, а иной раз и

десять.

Несколько дней позади, мы с Ганди смелеем и вот сегодня утром просимся на работу с первой же командой. Но нам не повезло: желающих идти работать слишком много, человек двадцать или больше остаются. Что ж, идем назад в барак. А нас останавливает русский солдат, ведет в свою казарму. И надо же такое — сначала на кухню, жестами показывает, что надо раньше хорошо покушать, чтоб потом хорошо работать. Получаем по миске каши, это такое варево из пшена с молоком, и по здоровенному куску белого хлеба. Зачем мы ему понадобились? Опять непонятно, что он говорит; видно, пора мне учить русский…

Плотно поев и выпив чаю, идем вслед за нашим благодетелем в кладовку, он дает нам обоим по кисти. Получаем вместе с еще одним пленным, который здесь, наверное, уже работал, большое ведро с краской, и солдат показывает — красить надо стену казармы и забор. Красить без *dawaj, dawaj!* А другие наши пленные товарищи приводят в порядок грядки с цветами, устанавливают флагшток и щиты для плакатов. Чудеса, да и только! Я принимаюсь за стену казармы, Ганди красит забор. Охранник старается нам объяснить: *«Skoro praznik, понимаешь — praznik! Perwa maja».*

К сожалению, оба мы не понимаем, что это значит, но тут другой пленный объясняет: на днях будет Первое мая, у русских это большой праздник. Глупо, что я не понимаю по-русски, я бы много чего спросил у этого русского, он славный парень и не намного старше меня, ему, ну, может, двадцать.

Когда ведро краски кончается, снова на кухню — по миске супа с капустой, это *Borschtsch,* и по куску черного хлеба, он замечательно пахнет. Приходят и другие работавшие пленные. Один из них предупреждает нас, чтобы у себя в бараке особенно о работе не болтали. Это он заметил, что мы здесь первый раз, новенькие. Еще мы потом работали на станции железной дороги. Встречали поляков, мужчин и женщин, никто на нас не смотрит злобно, никто не бранит и не бьет, словно нас и нет. Подошла старая женщина, *babuschka,* протянула Ганди кусок хлеба, достала из сумки несколько яблок и сунула их нам. Что за невероятная разница между Ченстоховой и Перемышлем! Ведь прошли всего какие-то две недели. Может быть, полякам здесь досталось от русских, от освободителей? На станции мы помогаем другой команде пленных выгружать из вагонов доски и грузить их на подводы, запряженные лошадьми. «Мы, Вилли, — рассуждает Ганди, — сдается, уже в форме, разве что стокилограммовую бабу

не свалим».

Возвращаемся в лагерь. Я отдаю свой вечерний суп соседу по нарам, его зовут Альфред, он из Карлсруэ. Мы с Ганди так сыты, что решаем, не отдать ли нам и пайки хлеба по 200 грамм, потому что пайки хлеба, которые нам дали сегодня в обед, еще не съедены, они в карманах наших шинелей. Так что Альфред и еще Гейнц из Гамбурга получают наши вечерние пайки; но мы их предупреждаем, чтобы никому не рассказывали.

Нам удается еще несколько раз попасть в рабочую команду, и понемногу мы набираемся жизненных сил. Здорово было, когда работали в польской казарме. Не только вдоволь еды и питья, но каждый получил еще пакет табака в придачу. А самое замечательное — нас пустили после работы в душ, дали нам чистое белье и портянки. И санитар перевязал нам раны, какие еще не зажили, обработал их.

Некоторые польские солдаты говорят по-немецки, они нас стали подробно расспрашивать про плен. А Ганди меня одернул: не все рассказывай, мало ли как нас могут подловить, не пришлось бы потом расплачиваться у Иванов за лишние разговоры! А я, вечный оптимист, только благодарен польским солдатам за доброе отношение и помощь нам. На прощание они суют в руку каждому еще по куску мыла. Так что Ганди, как и я, как все остальные, видит — это для нас какой-то сказочный сон. Вот так день! У меня потрясающее настроение, я хочу обнять Ганди, но дело плохо: он уже не первый день жалуется на боль и жжение в плече и груди, теперь у него жар. Рана воспалилась, все плечо раздуло, он не может и двинуть рукой.

Убеждаю Ганди идти со мной к санитару в лагерный лазарет, ему меряют температуру, у него больше сорока! Санитар делает ему какую-то инъекцию от воспаления, оставляет его в лазарете и обещает позвать врача. Я сначала остался с Ганди, но потом мне надо было вернуться в барак — на построение и пересчет. Потом бегу опять в лазарет и едва застаю Ганди — его увозят в больницу. Он смотрит на мое удрученное лицо и на прощание обнимает меня. «Выше голову, братец, через несколько дней опять будем вместе. Не делай глупостей и поезжай домой!»

Что мне теперь делать без Ганди? Вот теперь я по-настоящему один… С плачем возвращаюсь в барак, всю ночь не могу заснуть; как же мне быть без Ганди? А что там делается с Ганди без меня, эта мысль приходит мне в голову позже — я в растерянности.

Но это продолжается всего несколько дней — Ганди возвращается, не могу поверить в свое счастье — мы опять вместе! Долго обнимаемся, только осторожно с его рукой! Ганди

тоже улыбается во весь рот. Рассказывает, что его оперировали, потому что осколок в плече вызвал опасное воспаление. И во всех подробностях — как с ним хорошо обращались в польской больнице, особенно молоденькая медсестра. И впервые Ганди говорит, что и меня ему недоставало, несмотря на хороший уход и медсестру Ванду. Радуется, что прибавил в весе с килограмм.

Слава Богу, значит, мясо опять нарастает на наших костях.

Война кончилась

Двери в барак распахиваются, к нам влетает пленный из «Антифа» в черной форме водителя-танкиста. «Всем на построение! Важное сообщение!» — и исчезает. Сползаем с нар и идем на лагерный плац. Утром сегодня было солнечно, теперь идет дождь.

«Что там еще за чушь будет? — недоволен Ганди. — В такой дождь выгонять нас из бараков! Да не надо идти туда вовсе, это же все одно и то же, что нам рассказывают про наш долг и про восстановление, про счет к гитлеровскому фашизму, мир во всем мире, и вперед к коммунизму с рабочим классом! Сыт всем этим уже по горло…»

При этих словах я ощущаю сильный пинок, Ганди тоже получает под зад ногой. «Вы, саботажники, фашистские свиньи!» Чего вдруг завелся этот, в черной куртке? Такого мы еще тут не слыхали…

А из барака охраны, стоящего по другую сторону лагерной ограды, слышна громкая музыка и горланят пьяные русские голоса — это ни с чем не спутаешь. Наверное, случилось что-то особенное.

«Какое сегодня число?» — «Вроде бы десятое или одиннадцатое мая», — отвечает Ганди. И тут целая орава этих типов в черном, из «Антифа», у одного из них в руках мегафон, чтоб нам всем было понятно, какое важное объявление он сделает. «Камрады и дорогие товарищи, — начинает один из них, очевидно старший, — война окончена. Гросс-адмирал Дениц, возглавлявший после самоубийства Гитлера тысячелетний рейх, безоговорочно капитулировал, подписал безоговорочную капитуляцию всех немцев!»

Остальные слова тонут в радостных криках многих солдат. Ну, конечно, они теперь уже «товарищи»! Но вижу и удрученные лица. А мы с Ганди смотрим и слушаем молча. Меня словно выпотрошили — ведь, значит, все было впустую. Это правда, война окончена?! Русские в Германии, Запад и Восток братаются…

С юношеской страстью и вдохновением, с непоколебимой верой в фюрера, в его так часто цитируемые слова, что только арийской расе суждено исполнить миссию преобразования мира в национал-социалистическом духе, мы еще несколько дней назад надеялись на поворот к лучшему; в этой вере нас только укрепляли новые пленные — они ведь говорили, что солдаты на Западном фронте соединились с американцами и англичанами,

чтобы вместе с ними бороться против большевизма… Я так потрясен, что не могу сдержать слезы. Мне теперь все равно, все так безразлично, что хочу только одного — поскорее отсюда, с этого плаца, от этих восторгов — ведь многие наши солдаты обнимаются!

Только теперь слово берет русский комендант лагеря, немец из «Антифа» переводит его речь. Я его не слушаю! Свинья он, этот переводчик, это он хвастался перед нами на политзанятиях, что уже в плену, у Иванов, он в немецкой военной форме переходил через фронт и там что-то натворил — и это стоило жизни многим немецким солдатам, нанесло вред германской армии.

«Это же известный мерзавец, — говорит Ганди. — Он работал электриком на верфи в Киле, где строились подводные лодки, и что-то такое умудрялся сделать, что лодки в боевом походе теряли плавучесть. И уже не могли вернуться на базу, пропали без вести и лежат где-то на морском дне. Теперь эта свинья пишет все это себе в счет. Не удивительно, что мы проиграли войну, если и в тылу у нас были такие свиньи».

…Теперь пропагандист из «Антифа» читает резолюцию от нашего лагеря «товарищу Сталину и советскому правительству». Не хочу я этого даже слышать, но ведь просто так не убежишь. «Пожалуй, эти свиньи отправят тебя прямо в карцер», — замечает Ганди. А с помоста все говорят об искуплении вины упорным трудом, о дружбе с рабочим классом миролюбивого Советского Союза, о признании нашей вины за жестокости, грабежи, изнасилования, за выжженную землю и многое, многое другое.

Я с ума сойду. Мы что, сделались вдруг преступниками? С такой резолюцией, сочиненной в «Антифа», мы сами себе подписываем приговор: годы принудительного труда в плену только и ждут нас. Это значит — никакой связи с родителями, с братом. Где они теперь, может быть, тоже в плену? А брат Фриц? Его последнее письмо, перед Рождеством, было из Будапешта. Где он теперь, когда война уже кончилась? Он тоже был активистом в гитлерюгенде, служил в дивизии СС «Викинг». Я узнаю о нем когда-нибудь? Мы когда-нибудь свидимся? Тысячи мыслей крутятся у меня в голове. А дождь все идет, с моим настроением это только кстати.

Совершенно промокших нас отпускают в барак. В честь такого праздника вечером дают еще по пайке хлеба. Я стараюсь пристроить промокшую одежду поближе к дымоходу, он идет вдоль всего барака от сложенной из кирпичей печки. Она у дверей, и когда хорошо горит, то в бараке даже тепло. Наши

ужасно радуются, что война кончилась; я, конечно, тоже рад, что не будет литься кровь, и теперь можно не бояться, что убьет бомбой или снарядом. Но я ведь надеялся не на такой мир, я думал, что это мы, наш фюрер, принесем его людям и изменим в духе национал-социализма весь мир! Понять происходящее мне нелегко.

И уже ползут слухи, самые несуразные. Что специалистов пошлют в Россию, а всех остальных — восстанавливать Германию. А что я ответил про специальность на первом допросе? Сказал «токарь», чтобы нас не разлучили с Ганди. А вдруг той записи на оберточной бумаге давно уже нет? Скрутили из нее *papirossi* или употребили в сортире…

Сегодня очень поздно, уже почти ночью, приносят вечерний суп. Наверно, это суп победы — густой, много мяса. А у охраны шум и гам, у нас в бараке слышно, что там еще продолжается праздник. Им, наверное, выдали в честь победы водку; они поют песни, и не только веселые, слышны аккордеон и балалайка.

Не успели мы выхлебать свой суп, как приносят еще бачок, опять полный дымящегося варева. Как там сказал русский комендант лагеря в своей речи? Нас будут считать теперь не фашистами и врагами, а помощниками русских в восстановлении разрушенного. Ну, конечно, какое же «восстановление» на голодный желудок.

Я сегодня не могу уснуть и добавку тоже брать не стал, совсем лишился аппетита от событий этого вечера. «Значит, нас повезут в Россию?» — спрашиваю Ганди. «Думаю, что да, — отвечает Ганди. — Вот увидишь, долго мы здесь не пробудем. Если возьмут работать на фабрику токарем, думаю, проживем». — «Слышь, Ганди, я ведь понятия не имею о токарном деле!» — «Не бойся, справимся!» Ганди тут же поворачивается на другой бок и засыпает. А меня мучает мысль: надо сказать русским, что никакой я не токарь? И что они тогда со мной сделают? А может, и вправду все обойдется… И я тоже засыпаю.

Нас сгоняют с нар раньше обычного; опять эти свиньи из «Антифа», опять построение, раздача супа и хлеба, назад в барак. Утро едва занимается. И что, сегодня не идти на работу? Ясное дело, Иванам надо же отоспаться после вчерашнего. Не тут-то было! Всем выходить, строиться по ротам, и начинается нечто немыслимое: нас заново распределяют по ротам — поименно. Представляете себе, нас — поименно! И из разговоров с новыми

товарищами мы понимаем, что русские отбирают только металлистов; мы с Ганди, слава Богу, в одной роте. Значит, русские не спалили ту бумажку и не употребили ее по иной надобности? Нас переводят в другой барак; всем уже понятно, что на работу в Германию мы не попадем, мы будем восстанавливать что-то в России…

Тысячи две пленных стоят на плацу колонной, нас пересчитывают перед маршем на Восток. Минуем лагерные ворота, там четыре офицера считают нас еще раз. Это что, так трудно сосчитать пятерки? Мы с Ганди где-то в начале колонны. Сколько нам теперь шагать и куда? Сколько это еще недель или, может быть, месяцев? Сколько лишений? Мы уже натерпелись в пути, а теперь все снова? Но ведь мы не враги теперь и не свиньи фашистские, мы же друзья Советского Союза. Или нет? В первые дни марша мы все же получаем раз в сутки суп и пайку хлеба, но тяготы пути так же ужасны, как было и до Перемышля.

Ночи все еще, несмотря на весну, очень холодные. Часто льет дождь, ночуем обычно под открытым небом. С каждым днем порции худеют, а утомление нарастает. Почти все простужены, некоторые явно больны. Плетемся, каждый словно сам по себе, нет ни сил, ни желания говорить. С Ганди разговариваем почти только по вечерам, если находим, куда забраться, где улечься. Все новые жертвы находит дизентерия, понос, обессиленные люди остаются лежать на дороге, их кладут на телегу. Считается, что их возьмут в лазарет. Бывает, опять раздается треск — автоматная очередь… Переступаем через лежащих на земле без признаков жизни, ни у кого уже нет сил позаботиться о них; смерть постоянно следует за нами.

Раздача хлеба опять превращается в безобразные драки, охрана даже стреляет в воздух. Только воля жизни заставляет делать невозможное, делить единственную буханку хлеба, куска которого ждет сотня голодных, измученных жаждой ртов. Так уже было, на марше к Ченстоховой и Дембице. Неразрешимая проблема и для охраны, если они не хотят пускать в ход автоматы.

Сегодня не будет потасовки из-за хлеба — подводы пусты, а суп почти что вода, зато хоть вдоволь. Пережитое за эти дни — самое худшее, мы впадаем в апатию. Кончены счеты с жизнью? А людская толпа все еще механически движется вперед. Сколько времени мы бредем по этой русской степи? Судя по теплу, уже июль, но мы не знаем, и нам не говорят, ну и ладно… Наше безразличие ко всему замечает уже и охрана.

Ночевали опять под открытым небом. Охрана выглядит сегодня очень уж возбужденной, нам слышно, как они о чем-то громко спорят. И вот три солдата уезжают куда-то на лошадях, а нас оставляют на месте. Сидим на земле, съежившись, в промокшей военной форме; она, наверное, так ни разу и не высохла на этом марше после первого дождя. Уже полдень, солнце стоит высоко, когда наконец раздают суп. Это самый лучший суп за все дни марша. И нам не приказывают строиться, нас впервые не пересчитывают, такого еще не было! Они поняли, они прониклись сочувствием к почти безжизненной толпе людей, которым не вынести новых мучений, которым не дойти живыми до Киева? Да, нас ведут в Киев, уже несколько дней, как они нам об этом сказали.

После обеда приехали на военной машине русские офицеры, о чем-то говорили с охраной, уехали. Потом пришел грузовик, привез хлеб; солдаты охраны раздавали его сами, пайки получались, конечно, одна побольше, другая поменьше. Если солдат замечает, что кусок маловат, отрезает еще, вдвое больше, вроде как в возмещение, ведь каждый кусок провожают жадные взгляды голодных. На второй машине — посудины, в них украинский суп с капустой.

Мы безмерно голодны, и никто не думает о последствиях для наших желудков. До следующего полудня остаемся на этом месте, потом велят выстроиться в колонну. Мы с Ганди норовим попасть в голову, ведь если станешь отставать — у тебя больше места «в запасе». Колонна кажется бесконечной, обернувшись назад, я не вижу ее конца. И шагаем мы теперь не строем «по пять», охране уже все равно.

Приходим в какой-то город, один из пленных говорит, что узнает его: это Житомир, он тут стоял с танковой частью, отсюда до Киева уже недалеко. В городе почти не видно гражданских, повсюду русские солдаты. А мы шагаем вдоль железной дороги, пока не приходим на станцию; там стоит длинный товарный состав, в который нам надо садиться.

Легко сказать. Мы так обессилены, что почти никто не может взобраться в вагон сам, даже солдаты охраны помогают, если у нас не получается. А я обращаюсь к небу с молитвой, хотя и считаю, что Бог нас давно оставил, — не должен Он допускать такие нечеловеческие страдания. Нас не пересчитывают, часовые только заглядывают в вагоны: поместятся ли там еще пленные.

Два долгих дня и две ночи остаемся на этом пути, двери вагонов открывают раз или два в сутки для раздачи еды. Отхожим

местом в вагоне служит дырка в полу, в нее вставлена короткая труба с раструбом, так легче не промахнуться. Но при такой толкотне — 80 или больше человек в вагоне — бывает, что попадает и на пол. Кого это беспокоит, если в вагоне все равно вонища невозможная. Последний раз мы мылись в польской казарме в Перемышле, а забинтованные голени я не осмеливаюсь трогать, хотя они все еще дают о себе знать, болят иногда. Может быть, ноги уже перестают чувствовать боль? Все довольны, что не надо больше вылезать из вагона, вот только двух умерших товарищей пришлось сегодня подтащить к дверям.

Наконец поезд трогается. И на этот раз он сначала больше стоит, чем едет, но потом вдруг много часов подряд идет, стучит по рельсовым стыкам и стрелкам.

Поезд останавливается, мы в Киеве. Стараемся — вагон за вагоном — сойти, не упав на рельсы или щебенку. Грузовики подошли почти к самым рельсам; это удивительно, сколько народу может поместиться в кузове. Нас везут через город по главной улице, потом через площадь с фонтаном посередине, а дальше улица уходит круто вверх.

Нас высаживают перед трехэтажным или четырехэтажным домом. Кто-то из пленных узнает его — здесь было дезинфекционное заведение вермахта, вошебойка.

6. Киев

Встречают нас немецкий комендант лагеря и его немецкий персонал. Он в летной форме лейтенанта, называет себя командиром полка. Он нас предупреждает, что требует послушания и порядка, что жить в лагере и работать «на восстановлении» без этого невозможно. Что ж, может быть, он и прав. Мы уже насмотрелись по дороге сюда, когда едва живы остались, что бывает, когда порядка нет.

Во дворе кухня, там нам раздают теплый суп в новеньких жестяных мисках. Потом на дезинфекцию, раздеваемся догола и — под душ. Дали мыло, и воды здесь достаточно. Голени мои в струпьях и вмятинах. После душа сбривают все волосы, это делают здешние пленные солдаты-санитары. А голову остригли даже настоящей машинкой. У кого нашли вшей, тому надо натирать голову вонючей мазью, пахнет она так, что от одного запаха вши должны окочуриться. Раздали чистое белье, хлопчатобумажные рубахи и кальсоны с завязками.

Потом медицинский осмотр, опять раздеваемся. Осматривают нас две женщины, за столом сидят еще два офицера, наверное тоже врачи. Раны смазывают сине-фиолетовой жидкостью, накладывают повязки. Все помещения натоплены, для такого времени года даже слишком. Отправляют нас всех чохом в спальни, на нары, они застелены простынями. Одежды нашей нет, ее, наверное, сожгут; ничего другого с этим завшивленным и загаженным барахлом сделать нельзя. Нас оставили в покое, и мы с Ганди, как и все остальные, проваливаемся в глубокий сон.

Проснулся я на следующий день. Посреди комнаты стоит стол, за ним сидят два офицера и две женщины, тоже в офицерской форме. Они уже приступили к делу, еще раз осматривают каждого пленного и регистрируют. Доходит очередь до меня, а Ганди еще спит. Меня прослушивают; кажется, мои легкие перенесли холод и сырость благополучно. Моими ногами женщина-врач занимается обстоятельно, пробует удалить корки и велит сделать повязку с желтой мазью; она пахнет рыбьим жиром, от нее сразу делается лучше. Еще нас взвешивают. Я встаю на весы, они показывают сорок семь килограммов. Когда взвешивался последний раз перед армией, было около семидесяти. Многие выглядят так, словно от них остались только кожа да кости. Я, наверное, не лучше.

На нары уже не возвращаемся, переходим в следующую комнату, там выдают новую одежду. Вот это да! Совсем новое

немецкое обмундирование, каждому дают даже шинель. Только ботинки поношенные, больше или меньше, какие достались. Мне везет — ботинки как раз впору и с новыми портянками. А дальше — опять на нары, теперь уже на постоянные места. Я занял и для Ганди, все обошлось, снизошли к нашему юному возрасту, и мы опять вместе.

Уже почти две недели, как мы в этом лагере в Киеве, а на работу нас еще не брали. Толку от нас все равно не было бы — все больны. Нас постоянно осматривают врачи, следят, наверное, как действует лечение. И еда соответствует нашему состоянию, даже удивительно, как быстро я поправляюсь, как восстанавливаются силы. Почти каждый день надо идти на занятия с «Антифа»; два раза каждого допрашивали офицеры НКВД, что они там записали, я не знаю.

Сегодня опять нас проверяют врачи и делят на группы — насколько годен к работе. Быстро определяют категорию: I, II, III или IV. Ганди попадает в четвертую, это значит легкая работа, четыре часа в день и 250 грамм пшенного супа дополнительно. А мне пишут К I, трудоспособен полностью. Наверное, мне легче, чем Ганди, дались наши долгие мучения. Что же теперь будет, если записано, что я токарь? Может быть, не нужна никакая специальность или будет совсем другая работа?

Проходит еще несколько дней в безделье, с антифашистской пропагандой и собраниями, в воспоминаниях о пережитом и о вкусной еде. Со вчерашнего дня у меня работа — чистить ночью на кухне картофель. После ужина там собирают человек 8–10, сначала проверяют, кто умеет срезать кожуру потоньше.

На чистку картофеля уходит часа четыре, за работу дают по порции супа или пшенной каши. Желающих попасть на эту работу, разумеется, очень много, ведь иной раз перепадает еще кое-что. Бывает — принести на кухню соленые помидоры из погреба, а если очень повезет, то нарезать хлеб порциями. Там хоть кусок обязательно достанется. Правда, все это за счет сна, но ведь можно немного поспать заранее. Я эту систему хорошо освоил, и бывает, могу принести Ганди хлеба или порцию супа. Его из-за раны на плече на кухонную работу не берут.

Рисую плакаты

Сегодня первый настоящий рабочий день. Меня взяли в команду, в которой всего 20 человек, мне повезло. Идем на работу, с нами только два охранника. Пришли, это маленькая фабрика, нас встречает *Natschalnik* и перво-наперво спрашивает: нужен художник! Зачем художник на фабрике?

Вызываюсь сразу же, у меня в школе всегда была «единица» по рисованию, самая высокая отметка. Может, Бог услышал мои молитвы, мои страхи? Я ведь ужасно боялся: если узнают, что я наврал про специальность… А тут — работать художником, это замечательно, вот только посмотрим, что они имеют в виду. Молодая женщина ведет меня с собой в другое помещение; там что-то вроде большого стола, на нем банки с краской, рулоны бумаги и кисти, а на стене висит цветной плакат. Женщина старается объяснить мне, что надо изготовить по этому образцу большой транспарант; один рабочий выполнил норму на 200 процентов; надо, чтобы все это увидели; тому рабочему — поощрение, другим — чтоб следовали его примеру. На эту работу мне даются два дня, размер транспаранта полтора на два метра. Женщина помогает мне прикрепить к стене лист картона, и я берусь за дело.

Заглядывает *Natschalnik*, кажется, он доволен. Пришла другая женщина, принесла помидор и половину огурца; чувствую себя замечательно. После обеда получаю еще кружку чая и кусок белого хлеба, просто фантастика! Не хочу разочаровать начальника и тороплюсь поскорее закончить. И на следующий день после обеда, когда моя «картина» готова, много народу заходит глянуть, что там намалевал этот Фриц, *Wojena Pleni.*

«Хорошо», — говорят они. «*Otschen charascho*», — говорит и *Natschalnik*, и вот — у меня постоянное рабочее место! Следующие несколько дней рисую портреты Ленина и Сталина.

Как я благодарен нашему школьному учителю рисования! Это он, уже на последних уроках, показал нам, как перерисовывать картину в увеличенном виде, разделив ее сеткой линий на квадраты. И я рисую плакаты с призывами и лозунгами Коммунистической партии, запоминаю русские буквы и уже пытаюсь объясняться с помощью нескольких фраз. Сосед по нарам, его зовут Гельмут, попросил принести ему с работы русские газеты, а он попробует учить меня языку. Я так и сделал. Он говорит, что долго в этом лагере не пробудет. Он служил при штабе пехотного полка уполномоченным от нацистского отдела пропаганды, значит, ему не разрешат здесь работать.

Каждый вечер мы занимаемся с ним, а на работе я пользуюсь любой возможностью заговорить по-русски, пусть хоть спросить, который час. Еще этот Гельмут посоветовал не под ноги смотреть на ходу, как делают многие (вдруг что-нибудь полезное найдешь), а глядеть по сторонам. Стараться читать надписи, а если видишь цифры — складывать их или вычитать в уме, чтобы голова работала. Например, у русских на бортах грузовых машин крупно написаны их номера; вот тебе и числа для упражнений в счете…

В госпитале

Вот ведь как — я работаю в отдельном помещении, оно теперь специально для моих художеств, чувствую себя уже служащим этой фабрики. Большинство зовет меня Фрицем, это как мы звали всех русских Иванами, но относятся ко мне хорошо, никто не ругал меня потому, что я немец и, значит, их враг. У меня уже бывают и частные заказы, почин сделал сам *Natschalnik* — заказал портрет жены по фотографии; за это я получил настоящий ящик с акварельными красками, какие только могут понадобиться. Вот если бы только не так болели ноги, они совсем распухли. Отекли, там вода, объясняют мне старшие. Если мне приходится встать ночью, то ощущение такое, что голени вот-вот лопнут.

Каждое утро в половине шестого я иду вместе с другими на фабрику. Сегодня мне совсем плохо. И молодая женщина, которая в первый день привела меня в «мастерскую», отводит меня к начальнику; он спрашивает, не болен ли я. Боже упаси, я ведь не хочу потерять это место, мне здесь хорошо. Говорю, что нет, но он зовет доктора. Она осматривает мои ноги и заявляет начальнику, что у меня высокая температура, что меня надо немедленно отправить в больницу.

Меня отвезли в лагерь, чтоб забрал вещички, и оттуда — в госпиталь для военнопленных. Это несколько бараков на каменном фундаменте, но там только медицинские кабинеты и лежат несколько тяжелобольных. Остальные — в землянках, отрытых еще немецкими солдатами во время оккупации. Но они с удобствами, горячая вода и электричество все еще действуют. Русских докторов мало, большинство врачей — пленные.

Лечащий врач — доктор Регинато, итальянец из Милана, ему помогает ассистент Бреви. Вместе осматривают мои ноги, говорят по-итальянски, я, естественно, ничего не понимаю. Вижу только, что Бреви размешивает гипс. Доктор бинтует голени мокрыми бинтами, ассистент обмазывает все это гипсом. Ждут, пока гипс схватится, затем отправляют меня в постель.

Это сколоченные из досок двухэтажные лежаки, на каждом «этаже» по три человека. Тесно так, что средний лежит головой в ногах между двумя крайними. Провожу в этом отделении целый месяц. Два раза в день под гипсовую повязку заливается сверху кипяченая вода. Ассистент Бреви показал мне, как это надо делать, и строго следит за исполнением. Иногда приходит доктор Регинато, стучит молоточком по гипсу, заглядывает туда сверху, принюхивается и ободряет меня: раны мои, мол, скоро заживут.

Он применяет этот метод с гипсовой повязкой почти при всех ранениях. Голь и здесь на выдумки хитра; ведь у них нет даже обезболивающих.

Вчера доктор Регинато сказал, что сегодня мне должны снимать гипс. Пришел Бреви со здоровенными ножницами, чтобы резать повязку. Неужели разрежет? Я уже видел, как это было с другими. Благодаря ежедневному смачиванию изнутри гипс ведь должен размягчиться. Так и есть, гипс долой — и вокруг распространяется отвратительный запах; изнутри он весь в чем-то немыслимом — гной, грязь… Доктор Регинато обтирает мне ноги промасленной салфеткой, и становится видна розовая кожа, чудо явилось — раны закрылись! Боль как ветром сдуло, отеков нет, я словно заново родился! Как мне благодарить доктора Регинато? Наверное, он читает мои мысли. «Я очень доволен, это ведь помогает не всегда, тогда остается одно — ампутация. А ты такой молодой, вот посмотришь — пройдет несколько дней, и забудешь о ранах».

Уже два дня, как я без гипса на ногах, и одежду мне отдали, а то были только бязевая нижняя рубашка и кальсоны. А доктор Регинато полагает, что госпиталь мне еще не повредит, и живо производит меня в помощники санитара. Он узнал, что мне только 17 лет, и теперь по-отечески заботится обо мне. Мне выдали одежду санитара, я прикреплен к санитару-немцу Гейнцу. Санитары и их помощники спят в помещениях для больных на отдельных лежаках, за занавеской. На каждого санитара приходится три-четыре таких «комнаты», это 35–40 больных и раненых.

Работают врачами в этом госпитале и двое немецких военнопленных. Оказывают помощь и лечат почти без лекарств. Я теперь знаю, что такое кровопускание, которое часто применяют из-за отсутствия медикаментов, и как правильно ставить банки. Дел по горло с утра до ночи. Я рад, что могу чем-то помочь другим пленным, даже когда медицина уже бессильна. Здесь тоже смерть всегда стоит у нас за спиной, и теперь уже я остаюсь с умирающим до самого конца. Быстро взрослеешь, когда такое вокруг, может быть, даже слишком быстро. Ведь мне еще только семнадцать.

Сильное переживание сегодня, для меня по крайней мере. Санитар Гейнц спрашивает, не хочу ли я помочь при подготовке умерших пленных к вскрытию. Опять соблазн — ведь за это дадут лишнюю порцию! Я еще ведь даже не знаю толком, что это такое — вскрытие. Гейнц меня живо просвещает. Каждого умершего

вскрывают в учебных целях; начинающие врачи учатся так определять причину смерти и могут лучше изучить внутренние органы. А наша задача — вскрыть грудную клетку, а после всех процедур снова зашить. Странное ощущение у меня в желудке, когда санитар в первый раз учит меня рассекать труп. Я не боюсь, только чувствую оцепенение; но ведь сколько раз за эти месяцы я уже видел смерть. И когда первый труп зашит, то следующий — это уже почти рутина.

Раз в неделю к нам приходят на вскрытие медики. Для них готовят 8–10 трупов. Уносят их потом другие пленные. Иногда и наши врачи, пленные, участвуют во вскрытиях. Берут на анализ пробы тканей и органов. Все это происходит в специальном бараке и продолжается с утра до семи вечера, а то и позже. Устаешь сильно, зато получаешь хороший паек, раз в неделю даже кружку или две молока. Используются ли и как протоколы, которые ведут врачи, мы не знаем, но нам говорят, что это на пользу всем пленным. Может быть, хотят определить, как надо кормить пленных, чтобы подольше использовать их на работах?

Доктор Регинато спросил меня сегодня, хочу ли я еще оставаться в госпитале. Я бы, конечно, не прочь еще с неделю, но я же не обученный санитар; наверное, меня отправят назад в лагерь. Так оно и есть — через несколько дней нас, целую группу пленных, отправляют из госпиталя. Грузовая машина доставляет нас туда же, куда нас привезли в Киеве в первый день. Иду прямо к докторше, ее фамилия Златкис, она еврейка. Она не нарадуется моим зажившим ранам, такого она и не ожидала и требует, чтобы я рассказал ей про госпиталь, во всех подробностях.

А от нее я узнал, что мой друг Ганди тяжело болен и его увезли в больницу. Воспалилась его рана, очень высокая температура. Куда именно его отправили, она не знает. Может быть, не хочет говорить? Но Ганди не умер? Я тут же гоню эту мысль. И все же не могу себе представить, как я здесь буду без Ганди. Он ведь не умер, это доктор Златкис твердо сказала. Но я же не знаю, сколько может быть в Киеве лагерей, это же, наверное, десятки тысяч пленных; по дороге на работу видишь их повсюду. Вдруг мне повезет и я встречу Ганди! Да только вместе нам уже не быть, что мы друзья, это здесь никого не интересует. Как же я буду без Ганди, один?

Мое отчаяние, горе от потери друга только со мной, ни с кем этим теперь не поделишься.

Прекрасная незнакомка

Снова привычный каждодневный распорядок. Будят в четыре утра, самое позднее в пять. Раздача супа и хлеба, разнарядка на работы. На прежнюю фабрику, где рисовал плакаты с пропагандой, мне уже не попасть. Почти все пленные работают на ремонте дорог или разбирают кирпичи в развалинах домов на Крещатике, главной улице Киева. Я тоже чищу кирпичи, толстым куском стального листа сбиваю с них остатки цемента, других инструментов нет. С этим железом мне еще повезло, его удобно держать в руке, и дело спорится.

Каждый должен очистить кубометр кирпичей и аккуратно уложить их в штабель. Попытки сжульничать и сложить штабель с пустотами наказываются лишением хлебной пайки и сверхурочной работой до тех пор, пока штабель не будет заполнен и начальник доволен. А домой пойдут все только после того, как свою кучу кирпича закончит последний. Помочь отставшим значило бы сократить время ожидания, но и здесь каждый сам за себя, разве что захочет помочь друг.

Единственный проблеск в этом нудном существовании — хорошенькая русская девушка, сидящая у большого фонтана рано утром, около шести часов, когда мы маршируем из лагеря по узкой улочке по направлению к площади.

А я стараюсь идти в левом ряду, чтобы поймать ее взгляд. Наконец это удается. Теперь мы каждый день обмениваемся взглядами. Почему молодая женщина сидит здесь ранним утром? Ей, наверное, лет двадцать, а может, и меньше. Я заранее радуюсь каждое утро и надеюсь, что охрана не поведет нас другой дорогой.

Колонна пленных проходит каждый раз совсем рядом с фонтаном, и вот сегодня незнакомка перебрасывает мне маленький сверток, там кусочек хлеба и половина огурца. Охранник ничего не заметил. И так теперь почти каждый день — ко мне летит сверток с чем-нибудь съедобным; это яблоко, помидор или еще что-нибудь.

У нас, наверное, жалкий вид в наших лохмотьях. Мне-то еще не так плохо, в госпитале я получил не только новое белье, но и форменную одежду. Но она ведь одна, и в ней каждый день с кирпичами возишься… Сегодня я напрасно высматриваю мою благодетельницу, ее у фонтана нет. Нет и на следующий день, и я грустно топаю мимо.

Каждое утро снова и снова надеюсь, что моя прекрасная незнакомка будет сидеть у фонтана, но мои тайные желания не

сбываются. Но вот мы сворачиваем за угол, направляясь к развалинам дома, где нас заставляют работать, и тут из-за стены выскакивает *она*, сует мне прямо в руку конвертик, и — нет ее, исчезла в развалинах. В руках у меня записка русскими буквами, кириллицей, строки выглядят как стихотворение. Когда вернусь сегодня в лагерь, надо будет прежде всего найти моего Гельмута, моего «учителя» русского языка. Он бы мне это перевел, но я ведь после госпиталя еще не видел его ни разу.

Как ни ищу вечером, найти его не могу. Кто-то рассказывает мне, что однажды ночью его увела охрана. Но потом я нашел еще одного товарища, которого знал еще по лагерю в Ченстохове, и он перевел мне записку. Это любовный стишок:

Ты хочешь знать, кого люблю я,
Его не трудно отгадать.
Будь повнимательней, читая!
Яснее не могу сказать.

И по первым буквам строк читается: *«Тебя», Tebja*…

Первый стих по-русски! Я его заучил как молитву. Тихо повторяю сам себе; вся моя симпатия к этой юной женщине — в этих строчках. Это любовь? Я не знаю, раньше у меня была только школьная дружба с девочкой из нашего класса. Так это любовь? Наверное, да, ведь даже мысль о любви с этой русской красавицей вызывает у меня подъем чувств, но в то же время — и разочарование; ведь я пленный и ничем не могу доказать ей мою любовь… И я ломаю голову — что и как я бы сделал, если бы мне такую возможность. С этими прекрасными мыслями я в конце концов и засыпаю на нарах. Спать на мраморных подоконниках, где я, бывало, устраивался, теперь строго запрещено. Если кого застанут ночью, получит сапогом под зад за невыполнение приказа коменданта лагеря. Помещения, в которых спят по 100 и 150 человек, обходят с проверками и ночью.

Через две недели меня определили в строительную бригаду, подручным штукатура. Русскую девушку я не видел с тех пор, как она дала мне записку со стихом. Недели через три-четыре я уже научился штукатурить стену; правда, мастеру пока приходится кое-что поправлять за мной. Но я стараюсь, и дело движется. У нас хорошие отношения с русскими коллегами, каменщиками и штукатурами. Бывает, угощают нас куском хлеба, огурцом, помидором. Перепадает и табак с обрывками газеты «Правда». Из газетной бумаги русские скручивают свои сигареты, *Papirossi.* Это

они могут делать хоть не глядя, не вынимая руку из кармана, где насыпана *Machorka,* табачная крошка. Один русский стал меня учить, но мне это не нужно, я табак и газету поменяю в лагере на хлеб и сахар.

С нами работает Лидия, русская женщина, она обычно штукатурит потолки. Несколько русских фраз я уже выучил и стараюсь учить еще, она мне помогает, разговаривает со мной; понимаю-то я больше, чем могу сказать. Иногда Лидия приносит мне русскую газету, чтобы я учился понимать русский шрифт. А по вечерам я постоянно занимаюсь вместе с соседом по нарам; он знает по-русски больше, чем я. Каждый день узнаю что-то новое благодаря Лидии, она старается больше говорить со мной по-русски. Конечно, я запомнил ее фамилию и адрес, уж не знаю зачем… *«Лидия Чегорцева, Киев, улица Льва Толстого, 97, кв. 3».*

Может быть, надеюсь, что вдруг представится возможность бежать из плена? Не знаю. Ведь только вчера в нашем лагере двух пленных принесли на построение на носилках, встать они не могли, а немецкий «комендант» поносил их как «изменников делу восстановления». «Если, мол, еще кто-нибудь вздумает смыться, как эти двое, — было сказано нам, — то крепко достанется всем!» Оказывается, три месяца назад они сбежали с лесоповала…

А Лидия чуть не каждый день балует меня. То кусок мыла, то фрукты, вчера принесла пару носков, а сегодня рубаху. Каждый раз в обед у нее находится и для меня стакан молока. А носки — это просто чудо, ведь у нас у всех ноги обмотаны тряпками, которые, бывает, натирают до крови.

Лидии, наверное, лет 25, у нее стройная фигура, она блондинка, длинные волосы вьются. Голос мягкий, низкий. Я уже понял, что она состоит в ансамбле народных танцев строительного комбината. В обед, когда я возвращаюсь после раздачи супа, а перерыв еще не кончился, мы с ней часто прогуливаемся где-нибудь здесь на стройке. И что делаем? Лидия много рассказывает, а я, к сожалению, мало понимаю, хотя она старается объяснять, нередко знаками, жестами. Но с каждым днем я понимаю больше. Вот сегодня она принесла газету, в которой статья про строительный комбинат и про ансамбль народного танца и музыки. Показывает себя в танцевальном наряде на плохой газетной фотографии, на которой узнать Лидию невозможно. И делает несколько па — показывает мне, как она там танцует…

До сих пор мы ведь друг к другу не прикасались, разве что

случайно. А теперь мне хочется обнять ее, крепко прижать к себе, но я боюсь, жутко боюсь, если кто-нибудь нас увидит, последствия могут быть ужасными. Русским рабочим любые личные отношения с военнопленными категорически запрещены, а мы ведь с Лидией осмелились тайно встречаться! В лагере уже ходят неприятные слухи, и я не единственный, у кого на работе свои человеческие отношения с русскими. А что нам старались вдолбить в гитлерюгенде об «этих ублюдках»? Конечно, то, что было на пешем марше до Киева, это ужасно, бесчеловечно. Но все, что происходит со мной здесь, в Киеве, совершенно противоречит тому, во что мы верили до плена и в плену тоже…

Я не обнял Лидию, осмелился только пожать ей обе руки; она моментально их отняла и скрылась. Конечно, нам надо приходить и уходить по одному, но на этот раз Лидия спешит особенно. Когда я вернулся на работу, ее там не было. Вообще-то я должен был еще помочь поставить карниз. А Лидию никто не видел, и я ухожу к своему штукатуру; нам сегодня надо еще закончить две ванные комнаты. Тогда у нас будет не просто выполнение нормы, а перевыполнение — сто двадцать пять процентов!

А это значит, что завтра — не шестьсот, а восемьсот грамм хлеба.

Фонари на Крещатике

Еще с вечера нас распределяют по бригадам заново. Будем работать на главной улице, на Крещатике. Дома по обе ее стороны были взорваны, теперь их восстанавливают, и широкая улица должна стать такой же красивой, как была до войны. Здесь трудятся тысячи рабочих, среди них, как всегда, много женщин. Одна за другой подходят грузовые автомашины, они подвозят материалы. На одной из них мы отправляемся за город, на завод, где делают трубы, это часа полтора пути. Трубы нужны для установки уличных фонарей.

В первый раз мы едем без охраны! Кроме водителя, с нами только один русский, он без оружия едет в кабине с шофером. Новое приятное ощущение — свободы, хотя и неполной. А с перевозкой труб плохо. Их нечем крепить в кузове, и нам приходится то и дело останавливаться, чтобы груз не сполз на дорогу. Но к следующему рейсу нам удается добыть с соседней стройки обрезки брусьев, топор и гвозди. Мастерим подкладки с вырезами и надежно крепим в них трубы. Сопровождающий нам старательно помогает. Он доволен: *«Otschen charascho! Sawtra budet Machorka!»*

Назавтра мы должны устанавливать эти трубы — это будут мачты уличных фонарей. Для них уже забетонированы основания, наружу торчат короткие трубы-опоры. И сразу становится ясно, что дело плохо: у опор такой же диаметр, как у привезенных нами труб, вставить одно в другое невозможно… Что же делать? *Natschalniki* долго спорят, а я пытаюсь объяснить нашему сопровождающему, что на фабрике, где я работал раньше, видел трубы меньшего диаметра. Если они подойдут, можно сделать переходники, вставить их в опоры, приварить к ним и уже поверх «надевать» трубу-мачту. Русских слов мне не хватает, я рисую «чертеж» на песке. И с этой информацией он вмешивается в дискуссию начальников.

Там все поняли. Не проходит и минуты, как на том же грузовике мы едем на фабрику, где я рисовал плакаты. Машину, да еще с пленными, разумеется, не пускают; долгие споры с охраной, наш *Natschalnik* звонит по телефону, и после этого появляется директор фабрики. Меня он тут же узнал и даже хотел забрать к себе. А нужных нам коротких кусков труб у него сегодня нет, но с нашим начальником они быстро договариваются — на днях их можно будет получить. И мы возвращаемся на Крещатик,

где нас уже ждут: пленные должны идти с работы в лагерь все вместе.

Наш лагерь — это большой дом; пленные живут в больших комнатах, расположенных вдоль широкого коридора. Размеры комнат приблизительно семь на десять метров, вдоль стен — трехэтажные деревянные лежаки, нары. На торцевой стене два больших окна с широкими мраморными подоконниками, под ними батареи отопления. К потолку подвешены электрические лампы, их не выключают и ночью, и в помещениях светло как днем.

Русские придают огромное значение борьбе со вшами, разносящими тиф и желтуху. И поэтому чуть не каждую неделю мы должны проходить дезинфекцию, хотя вшей у нас теперь, можно сказать, нет. Разве что найдется у кого случайно, значит — поймал не в лагере. Но тут начинается! Строго проверяют всех поголовно, в дезинфекцию гонят не только завшивевшего, а всю комнату, это 120–150 человек.

Пока пленные ее проходят, в комнате орудуют дезинфекторы, каждый угол, каждую щель на нарах обрызгивают жутко пахнущей жидкостью, она стекает отовсюду, когда мы возвращаемся. То же самое, что было в пересыльном лагере в Дембице. А вот с клопами — одно горе. Лезут отовсюду, из каждой щели, особенно по ночам. Но кусают не всех одинаково. Я, наверное, невкусный, и ко мне они не очень лезут, так что мне еще хорошо…

На следующий день нас посылают опять на разборку и очистку кирпичей — мачты ставить некуда. Только на четвертый или пятый день мы едем на «мою» фабрику и получаем там нужные короткие трубы. С нами сварщик со своим аппаратом, и мне разрешают ему помогать — держать короткую трубу-переходник в опоре, пока он прихватывает ее сваркой. И так опора за опорой, мачта за мачтой.

Что их 132, я узнал только в 1983 году, когда в первый раз после плена приехал в Киев.

Первое письмо

Нам раздали сегодня почтовые открытки советского Красного Креста и Полумесяца, каждому по две открытки, чтобы написать родственникам. Опять фокусы, как тогда в Ченстохове с делением по национальностям? Лагерное начальство выделило комнату со скамейками и столами, там же ручки с перьями и водянистые фиолетовые чернила. Кто-то говорит, что это просто марганцовка, которой смазывают раны. Ерунда, чернила хорошо пишут. Только вот кому писать? Все волнуются, разгораются споры.

«Иваны закидывают нам удочку, домой эти открытки не дойдут!» — «Папиросы из них накрутят! Будут пахнуть марганцовкой…» — «Задница ты, вот кто!» — «Бросьте вы. У них все со смыслом делается. Иваны хотят проверить, правильно ли мы указали место жительства».

А мне наплевать на эти гадания, потому что в Домбрау, где мы в последнее время жили, родителей моих, конечно, нет — это же Чехия. Когда наступали русские, родители мои, наверное, бежали обратно в Бохум, в Вестфалию. Да кто же знает, удалось ли им туда добраться. Мало ли что бывает, когда приближается фронт, уж этого я навидался. А вот мой дядя Август наверняка дома, он ведь еще с 1923 года на пенсии, а мама моя — его любимая сестра. Когда все жили вместе в большом доме, его комната была на самом верху, по вечерам дядя всегда запирался на ключ; все были уверены, что он там слушает иностранные радиостанции.

Всё, я решил. Одну открытку я пошлю дяде Августу, адрес его я помню наизусть. А вторую — нашему учителю английского языка. Он много лет преподавал у нас в гимназии в Бохуме, всегда рассказывал что-нибудь интересное. Часто заменял других учителей; с тех пор как началась война, так бывало сплошь и рядом. Да и никаких других адресов я не помню, так что больше писать некому.

Вечер, я лежу на нарах и гляжу в потолок. И вдруг меня зовут — беги в контору, тебе письмо! Я слетел с нар и помчался туда. И правда — там письмо, письмо от моего брата! Не могу сдержать слез, ведь это первая весточка от родных! Схватил письмо, бегу назад в комнату, машу этим письмом и кричу: «Письмо пришло, письмо от моего брата, письмо из Германии!» Надо мной посмеиваются, с ума, мол, сошел от радости…

От волнения долго не мог открыть конверт, настоящий

конверт, заклеенный как полагается. Четыре исписанные страницы, я их торопливо пробегаю — хочу поскорее узнать, что с мамой, где отец. Брат пишет:

> *«Мать в порядке, от отца вести из чешского плена. А я был под конец, как тебе известно, с «Викингом» в Венгрии, при отступлении под Веной благополучно попал в плен к американцам, а в мае меня уже отпустили…»*

Еще он пишет о нескольких общих друзьях и о всяких пустяках. А полстраницы написаны мамой, у нее дрожит рука, и я едва разбираю слова. А брат Фриц пишет и о новой жизни в Германии, и мне приходится читать письмо товарищам вслух. Читаю снова и снова, а потом письмо идет по рукам на наших нарах — каждому хочется самому увидеть, подержать в руках весточку из дому. Товарищ по комнате дарит мне свою открытку, чтобы я мог поскорее ответить; у него самого вся семья погибла под бомбами при воздушном налете, никого из родственников у него в Германии не осталось. Конечно, я хочу поскорее написать открытку, ответить, но что писать? Возгласы радости? Вот эта открытка:

> *«Мои дорогие! Получил ваше письмо и заплакал от радости и удивления. Надеюсь, отец скоро вернется домой! Не беспокойтесь обо мне! Успехов Фрицу! Пришлите фотографии! Вилли».*

Может быть, дело еще в том, что нам разрешалось написать в открытке только 25 слов, не больше. А мысли у меня в голове путаются, важно одно — мои родные живы и я это знаю!

Страшный допрос

А через два дня, когда пришедшее мне письмо обошло уже не только всю нашу комнату, но побывало почти на всех этажах дома-лагеря, меня разбудили ночью. Охранник повел меня к немецкому коменданту. К «господину командиру полка».

«Военнопленный Биркемайер по вашему приказанию явился!» — и руки по швам, так нам полагается представляться господину лейтенанту. Нескоро я забуду его сверлящий взгляд, ярко-рыжие волосы, рыжие усы, плотно сжатые губы. Летчицкий мундир, черные сапоги и брюки-бриджи — милитарист во всей красе. Когда он расхаживает по лагерю, на нем еще серые перчатки. И никогда без хлыста. И где только его русские выкопали?

Сидит, развалившись в кресле, сосет трубку и долго молчит. Наконец: «Так, значит, ты получил письмо от брата».

Я подумал, что он тоже хочет его прочесть, и уже собрался сказать, что пойду принесу. Но прищуренные глаза и его наглый взгляд не предвещают ничего хорошего. «Про что тебе пишет этот твой эсэсовец? И что это значит «*благополучно — к американцам*»? Ты, видно, тоже из СС, в гитлерюгенде был фашистом, получил от фюрера Железный крест, так или нет? А ну, признавайся!» — орет на меня, машет перед лицом своей плеткой. У меня во рту пересохло, не могу произнести ни слова. Кому я мог рассказывать про Железный крест? Настройке, когда разбирали кирпичи и вспоминали войну? Но уж про фюрера я ничего не говорил! А что гитлерюгенд? Все ведь там состояли, так в Германии полагалось. Тогдашний руководитель германской молодежи, рейхсюгендфюрер Артур Аксманн, в декабре 44-го наградил Железными крестами целую группу таких, как я, новобранцев, я ведь только одни из них…

И при чем здесь мое письмо и что брат служил в войсках СС? Или все это связано? Здесь что, тоже закон, по которому отвечают вместе с обвиняемым члены семьи?

А этот тип вскакивает с места и бьет меня кулаком в лицо. С меня хватит, я выскакиваю в коридор и бегу в нашу «спальню». Залезаю на свое место и рычу от злости. Как он смеет меня бить? Сосед меня толкает, он, наверное, думает, что это я во сне кричу. Никто ведь не видел, что меня вызывали, или не хотел видеть, потому что, когда вызывают ночью, ничего хорошего это не обещает; каждый боится, что возьмутся и за него.

Утром, когда шли на завтрак, меня позвал охранник и отвел в кабинет НКВД. А там капитан Лысенко молча взял меня и повел в

подвал. Я уже неплохо говорил по-русски и спросил, за что он меня сажает. «Ты СС!» — коротко отвечает он, и я остаюсь один в камере. Окна нет, света тоже, чуть видна светлая полоска под дверью, но вот Лысенко поднялся по лестнице наверх и выключил свет в подвале. Теперь полная тьма. Ощупью медленно пробираюсь вдоль стен, натыкаюсь на какое-то ведро. Чуть не падаю на скамью, это узкий лежак, холодный и мокрый.

Мне страшно. Что я такого сделал? Не дал этой свинье, этому «коменданту», бить меня дальше? Злюсь и на себя. Зачем я про этот Железный крест рассказывал? Все еще им гордился? Но какой же шестнадцатилетний мальчишка не станет гордиться наградой, какую дают настоящим солдатам и только на фронте, на передовой? Проходит час за часом, сижу на скамье. Ходить по карцеру мало толку, опять наткнешься на ведро, я уже раз упал.

Но вот под дверью опять появляется светлая полоска. Пожилой охранник открывает дверь и протягивает мне маленький кусок хлеба и жестянку с теплым чаем. Пока из-под двери пробивается свет, стараюсь запомнить, где находится лежак и где ведро; не хотел бы я снова упасть с чаем и с кусочком хлеба в руках. Благополучно добираюсь до моего ложа. Часовой не выключил свет в подвале, может, забыл, а может, сочувствует мне. А передо мной словно все еще стоит этот с рыжей мордой, орет на меня, бьет кулаком, а я не могу увернуться. Ненавижу эту сволочь! Надо узнать его фамилию, чтобы потом, когда он вернется домой и я буду снова в Германии, отыскать этого живодера, мучителя пленных, чтобы его наказали по заслугам, — другие пленные о нем такое рассказывают! Если хотя бы половина из этого правда, то… Но выберусь ли я отсюда? И если да, то когда? Съедаю хлеб, пью чай. Хорошо бы оставить немного, чтобы было попить на потом, но боюсь разлить в темноте. Выпиваю все.

Ложусь на скамью, поджимаю колени, стараюсь свернуться клубком, как еж. Мне холодно, а шинель осталась на нарах в «спальне». Теперь у меня только одна мысль — как выбраться отсюда живым? Изредка слышны где-то в отдалении шаги, остальное время — мертвая тишина. Наверное, я заснул — просыпаюсь весь дрожа от холода, а может, и от страха перед неизвестностью. Мучают голод и жажда. Уже ночь? И вообще, сколько времени я здесь нахожусь? Мне надо в уборную, но где это ведро? Медленно передвигаюсь в надежде найти его. Куда оно покатилось, когда я на него наткнулся и опрокинул? Ползаю по полу, наконец нащупываю ведро. Замечаю при этом, что в некоторых местах пол испачкан, чем — и думать не хочется…

Любая сортирная яма — и то лучше, там хоть видишь, что вокруг делается, а здесь так темно, что чернее и быть не может. Ну, теперь с ведром в самый угол, только бы его потом не опрокинуть!

Ужасы нашего долгого марша до Киева опять роятся в памяти. Зачем было терпеть все это, если теперь мне здесь пропадать… Остался бы лежать там, как был, — уже совсем без сил и воли к жизни. Нет, мне помогали, меня ободряли мои друзья — Кони и Ганди, вели за собой, шаг за шагом, метр за метром. Где-то они теперь? Шестнадцать лет мне было, когда русские меня схватили, скоро будет восемнадцать. Недолгая была моя жизнь, приходит мне в голову. И я кричу. Кричу, чтобы выпустили отсюда, что я здесь не могу! Не слышат, наверное. Мне ужасно холодно, я весь сжимаюсь, сворачиваюсь клубком, пытаясь хоть немного согреться.

Но вот опять — полоска света под дверью. Стучат сапоги, дверь распахивается. «Давай, давай, *padjom!*» — кричит охранник. Значит, куда-то идти! Вверх по лестнице, потом по коридору, вниз по другой лестнице… Часовой открывает дверь и вталкивает меня в какую-то комнату, меня ослепляет яркий свет прожектора. После той темноты в подвале я плохо вижу, передвигаю ноги неуверенно. Охранник подводит меня к табуретке и велит сесть.

«Ну, говори, в каких частях СС ты был?» — это уже голос капитана Лысенко.

«Я не был в СС, я был при зенитной артиллерии».

«Не ври, мы все знаем!»

«Если скажешь правду, тебе *gut essen,* кушать дадут, спать пойдешь со всеми», — это вступает уже другой голос.

«Я не лгу, я был при зенитной артиллерии, в Бреслау».

«Надо помочь тебе вспомнить правду?» — спрашивает кто-то третий.

Я уже не могу смотреть на этот слепящий свет, прикрываю глаза рукой. И тут же меня валит на пол удар; за моей спиной, оказывается, стоял охранник. Допрос продолжается. Я стою на своем — а что мне еще говорить, если это правда?

Лысенко подходит ко мне, сдергивает с табуретки и бьет по лицу, два или три раза, а сзади кто-то крепко держит меня за руки. Лысенко ругается, снова бьет меня в грудь так, что сгибаюсь вдвое — видно, знает место, куда надо бить, — кто-то пинает и бьет меня ногами. Чувствую кровь на лице, это из носа или разбита губа? Капает на пол…

«Хочешь говорить правду — стучи в дверь!» А я рад, что хоть перестали бить, ведут обратно в подвал. Охранник толкает меня в спину, дверь захлопывается, я опять один.

Снова слышны шаги. Опять поведут бить? Дверь открывается, охранник, который приносил хлеб и чай, бросает мне одеяло, оно шерстяное. Значит, меня все-таки жалеют? Все болит, с трудом двигаюсь, кровь во рту, наверное, прикусил, когда били. С трудом влезаю на лежак. И только теперь понимаю, что штаны у меня мокрые. Наверное, я так перепугался во время допроса… Теперь, значит, еще в собственном дерьме валяться. Ну и что? Я уже месяцами был весь в грязи… Эх, как же я радовался письму от брата, буквально впивался в каждое слово, а теперь оказывается — вот откуда эти мучения. Громко взываю к Господу — умоляю положить им конец.

Боль и сон смаривают меня. Сколько я спал — не знаю. Меня опять поднимают, ведут по лестницам, опять бьют; опять прожектор, опять проклятые ступеньки; слепящий прожектор сменяет ночь, или меня обливают холодной водой. В который раз? Я уже потерял всему счет. Я кричу и не знаю, мои ли крики слышу или других пленных, которых тоже обрабатывает госбезопасность. Меня толкают в камеру, я валюсь на пол прямо за дверью, мне уже все равно. Ну, идите, сволочи, что вам от меня надо? Да, да, я во всем признаюсь, все что хотите…

Я пытаюсь стучать в дверь, но силы оставляют меня, и наступает глубокая ночь.

Я пробую открыть глаза, острая боль пробегает через все лицо. Наконец это мне удается. Светлая комната, я лежу в чистой постели, на мне белая рубаха. Это уже на небе? Я вижу белую стену, хочу приподняться, повернуться, но нет — я словно крепко привязан. Где это я? Правой рукой могу двигать, щупаю лицо. Левая сторона забинтована, левое плечо тоже, рука в бандаже. Что со мной случилось? Сто вопросов, но в комнате я один. Но вот открывается дверь, и входит лагерный врач госпожа доктор Златкис, с ней пленный санитар, и оба глядят на меня недоверчиво. Подняться я не могу, все тело ужасно болит. Но я слышу, как доктор Златкис говорит со мной!

«Ты долго, долго спать, тебе очень повезло, ты падать с высокий дом, ты счастливый, очень счастливый, мы делать все *gut*. Ты только *gut* кушать и пить. Санитар Ганс тебе помогать, и ты опять здоров, ты еще *jung*, молодой!»

Хочу о многом спросить Ганса и не могу, рот не открывается. Я все помню, темень в камере, и как меня допрашивали и били,

помню, как в первый день ведро опрокинул, как пожилой охранник дал мне одеяло, как столкнули меня с лестницы вниз… Яркий свет прожектора помню и черную тьму. А вот дальше — ничего. Наверное, я потерял сознание. Ганс говорит, что у меня было сотрясение мозга. Поит меня чаем, дает немного поесть. Наверное, в чае было снотворное, я тут же засыпаю.

Когда просыпаюсь, уже утро. Ганс стоит рядом и улыбается. Рассказывает мне про себя; ему скоро шестьдесят, у него семья, двое детей. По профессии он учитель. Старается помочь мне заговорить. Это удается не сразу; только через несколько дней и после наших долгих стараний произношу наконец первые слова членораздельно.

С каждым днем это удается лучше, иногда уже по два или три слова подряд. А сегодня сняли повязку с головы; раны на ней затянулись, подбородок и челюсти уже почти не болят. Вот мне разрешили подняться, пробую сделать это без помощи Ганса, и тут же чувствую такое головокружение, что валюсь обратно на кровать. А утром тренируюсь, чтобы произносить внятно «Доброе утро, Ганс!» и «Как твои дела?». Когда он пришел и фразы мне удались, я немного расплакался от радости. А Ганс обнял меня, прижал к груди. И пошел за доктором. Она пришла, стала меня осматривать и улыбнулась, когда я произнес: «Доброе утро, доктор Златкис!» Еще пока заикаюсь, но ведь целую фразу сказал. Хотел бы сказать гораздо больше, да только мысли мои бегут быстрее, чем рот действует. «Я говорить *alles gut*, все будет хорошо, будешь здоров, Ганс хорошо!» — успокаивает меня доктор и уходит. А мы с Гансом остаемся заниматься моей речью.

Когда меня выписывают из лазарета, уже зима. Я получил новое обмундирование, Ганс раздобыл мне даже новые ботинки и новую шинель. Она великовата, но это лучше, чем если б была мала. Я бы с удовольствием остался с Гансом, моим благодетелем, но ведь пленному не полагается иметь свои желания, ему полагается подчиняться.

Представляюсь старшему по комнате, он велит занимать прежнее место на нарах. Что у меня там оставалось, того уже нет, «хозяин сменился». Жаль мне только ножика для чистки картофеля, но ничего не поделаешь — что с возу упало, то пропало. Раньше за воровство у товарища сажали под арест… Соседи по нарам меня уже забыли, никто не знает, где я пробыл несколько недель. Здесь так — если кто несколько дней отсутствует, значит, НКВД «позаботился», послали того в далекие

места, на Дальний Восток большого Советского Союза. И что я долго лежал в лазарете, тоже бы вроде никто вокруг не знает.

Не успел я толком устроиться, как меня опять позвали — к капитану Лысенко! По дороге туда чувствую, что второй раз не выдержу, лучше повешусь или еще как-нибудь покончу с собой. А ноги у меня подкашиваются, и я не знаю — это от страха или от ненависти к этим мучителям, от которых никто меня не спасет?

Он сидит за письменным столом, встает и садится за столик, приставленный сбоку. Велит и мне сесть. Приходит переводчик и говорит, что велит сказать мне капитан Лысенко. Он напоминает, что под протоколом допроса — моя подпись и там записано, что обращались со мной при допросе хорошо. Вот если бы я не поскользнулся и не загремел с лестницы, не пришлось бы мне лежать в лазарете. А он рад видеть меня здоровым и надеется, что я буду вести себя, ну, одним словом, хорошо…

Какой циничный мерзавец, но что можно поделать! И переводчик, он из «Антифа», выходит из кабинета вместе со мной и в коридоре советует мне забыть о встрече с Лысенко и помалкивать. Да кому же охота слушать заику? Хоть я и говорю все лучше, но некоторые буквы, особенно в начале слова, едва выговариваю.

Еще две недели меня не посылают работать на холод, на улицу, оставляют помогать по кухне. Может, это за все те ужасы и мучения, причиненные мне госбезопасностью?

Хрущев

Сегодня я в первый раз вышел на работу со своей бригадой, что ставит фонарные столбы на Крещатике. Все те же товарищи, и все меня почему-то сторонятся. Никто даже не спросит, где я был все это время, что не работал с ними, и делать ничего не дают. Но вот кто-то старший это заметил и напустился на меня — а ты, мол, чего без дела стоишь?

Работа сразу находится, и пожилой солдат, который всегда ко мне хорошо относился, объясняет: они боялись, что НКВД завербовал меня в доносчики. Я клянусь ему, что ни в чем не виноват и с НКВД никаких дел не имею. Упоминаю между делом, что вот Иваны решили, что я был в войсках СС, поэтому долго допрашивали. Про то, как меня там били, молчу; рассказал ему только, что немецкий комендант ударил меня кулаком. Все ведь знают, что я получил письмо из дома от брата, но никто не думал, что из-за него будет такая история с НКВД. Кому-то в нашей бригаде достался от прохожего кулек с сухарями, он и мне дал немного. Так что лед сломан, я снова свой в бригаде на Крещатике. Многие пленные нам завидуют, потому что работаем прямо на большой улице, где полно прохожих, и нам часто перепадает что-нибудь из съестного, а бывает, что и пачка папирос. Вот уж чему другие пленные завидуют…

Я ужасно рад, что опять со своими, в нашей дружной бригаде. Может быть, товарищи просто жалеют своего «младшенького», как меня здесь называют — я ведь везде самый младший, и мне с ними хорошо. Зима, мороз; но у нас, слава Богу, есть рукавицы, ватники, стеганые брюки; мы их заправляем в *Walenki*. А на обед водят в лагерь, он отсюда совсем близко.

А сегодня у нас было необычное происшествие. Только мы поставили очередной столб, как возле нас остановился шикарный лимузин, черная «Чайка», правительственная машина. И кто из нее вышел? Никита Хрущев, генеральный секретарь Коммунистической партии Украины, фактически самый главный здесь. И обращается к нам: *«Как dela? Wso charascho? Wso normalno?»*

Наш бригадир прямо остолбенел, а часовой стал докладывать «товарищу Никите». Его охрана раздала нам махорку, по пачке на каждого. А Хрущев опять: «Работаете хорошо? Кушать хорошо? Скоро будете — *doma!*» А мы киваем, благодарим его: *«Spassibo, bolschoj spassibo!»*

Никита с сопровождающими садится в машину и — поехали!

Когда собравшаяся вокруг толпа понемногу расходится, часовой велит убирать инструмент, он совершенно сбит с толку. «На сегодня хватит!» А на часах — три, нам полагается еще три часа работать. О нашем происшествии моментально становится известно всему лагерю, к вечеру многие уже уверены, что вот-вот нас отправят домой. Ведь сам Хрущев сказал!

На чистку картошки мне теперь не попасть, зато санитар Ганс из лазарета устроил мне «приработок» — в сортирной команде, чистить клозет у них на четвертом этаже; канализации там нет. Черпаком на длинной ручке содержимое выгребают в бак и уносят в подвал, выливают в общий сортир. Через каждые три-четыре дня, но только ночью. Нас трое, двое несут бак, один остается чистить заведение. Два-три часа уходят на эту «гигиену», как зовут Иваны сортирную работу, — вместо сна. Но за нее дают дополнительно 200 грамм хлеба, порцию супа и немного пшенной каши. Чего ни станешь делать, чтоб наполнить голодное брюхо. У Ганса бывает для нас и сюрприз: лазарет получает молоко и благодаря Гансу достается по кружке и нам. Все это, разумеется, тайно.

Вот сегодня только вернулись с работы, а Ганс уже зовет сортирную команду. К нашей докторше приходила подруга, ей понадобилось в уборную, и вот она уронила туда очки… Ганс пробовал их выудить — безуспешно. Теперь мы втроем, получив специальное разрешение, осторожно достаем содержимое, черпак за черпаком, внимательно рассматривая… Несмотря на все старания, очков не находим. Может, госпожа офицер ошиблась? Была без очков, когда пошла в уборную? Ганс идет докладывать докторше о постигшей нас неудаче. И там выясняется, что очки уже нашлись. Они у нее в трусы завалились, что ли? И мы смеемся во все горло, хоть работа была на редкость вонючей. Зато каждый получает от докторши пригоршню яблок, этому цены нет!

Воруем мыло

Вот уже несколько дней, как я работаю на складе, откуда развозят лекарства по всем аптекам города. Каждый день с шести утра до семи вечера разъезжаю на конной повозке по всему городу; хорошая легкая работа. «Караулит» меня и правит лошадью, сидя на козлах, старый еврей; он же дает мне указания. Зовут его Алешей, он веселый малый. По дороге приветствует с козел друзей и знакомых, всегда с улыбкой. Для каждого у него найдется, кроме «Добрый день!», веселая шутка. По дороге к аптеке иногда отношу пакет кому-то в квартиру. Сначала я думал, что так врачам доставляют заказанные лекарства, ан нет: это наш Алеша обделывает свои личные гешефты.

Вот он опять встретил знакомого. «Здравствуй, мой дорогой, ты сюда погляди — я еду с Гитлером!». (Как и многие другие русские, первую букву этого имени он произносит неправильно.)

«Эх, Витька, — так он зовет меня. — Гитлер был глупый человек. Поступал бы он хорошо с евреями, была бы ему хорошо война. А Гитлер убил много-много евреев, сделал из них мыло. Гитлер был совсем глупый человек. — Он разводит руками и декламирует с легким поклоном: — И вот я ехать с Гитлером!»

Наступает звездный час Алеши. На станцию пришли вагоны с туалетным мылом. Без упаковки, навалом, десятки тысяч кусков мыла! И это мыло надо возить к нам на склад, наверное, и в другие места. Это же мечта любого военнопленного — иметь кусок такого мыла, иметь возможность хоть раз вымыться по-настоящему.

Алеша посвящает меня в свои планы. «Витька, ты мой хороший друг, ты мне помогать, ты смотреть, куда мыло…»

…Пленные грузят мыло на машины, не представляю себе, чтобы все оно попало, куда назначено. Коробок или другой тары у нас нет, значит — куски туалетного мыла навалом в кузов или на телегу, на которых до этого возили песок или уголь. «Витька, — командует мой старшой, — ты и камрады грузить телегу, хорошо накрыть одеяло, я говорить, куда ехать. И ты быстро ком обратно, ты хороший, Витька!» — шепчет мне Алеша.

И я отвожу, телегу за телегой, в какой-то жилой дом, может быть, там он живет. Погрузка и транспортировка мыла продолжаются три или четыре дня. Когда в первый день мы возвращаемся в лагерь, вся команда пахнет так, будто побывала в «веселом доме». И по дороге прохожие явно обращали на нас

внимание. А что у лагерных ворот? Весть о прибытии транспорта с мылом дошла уже и сюда, охранники ведут нас в зал, где нас уже ждут, чтобы обыскивать. Сегодня у них хорошая добыча — гора из кусков мыла растет. Нас давно уже так не обыскивали, и никто из нас на это не рассчитывал. А другого такого случая — добыть мыло — скоро не будет…

Не сплю полночи и все думаю, как бы обмануть обыскивающих. И мне приходит в голову, как можно пронести мыло в лагерь. Разрешено приносить топливо для отопления и на кухню, за это дают даже порцию супа или *Kascha.* Добытые обрезки дерева мы обычно увязываем, чтоб было удобней нести. А для этого пилим доску или что там попалось на куски с полметра длиной и стягиваем проволокой или тряпками.

За мыло, которого не хватает и русскому населению, можно получить всё. И вот за кусок или два мыла я добыл на следующий день несколько гладких досок, их и жечь жаль. Распилил на куски, но некоторые — покороче, чтобы заложить в вязанку куски мыла. Алеша мне усиленно помогал. Голь на выдумки хитра, а уж в плену — особенно, ведь каждый день это борьба за жизнь. Теперь уже, правда, не помирают пленные каждый день, но все же — три или четыре человека в месяц.

…Куска два мыла сунул еще в карманы, чтоб и охранникам было чем поживиться. И вот «мыльная команда» возвращается в лагерь, «искатели» нас уже ждут. Но вот ирония судьбы! Идущих со связками топлива для кухни — не обыскивают. Так что я их надул и остался с мылом. Были у меня последователи или нет, не знаю, здесь все еще каждый сам за себя. Еще с тех пор, как чистил по ночам картофель, я знаком с поваром, он старший на кухне. Так что можно спрятать мое драгоценное мыло там, отдав ему половину. Это надежное место, другого такого не найти. Не на нарах же, чтобы ночь не спать. А что днем, когда идти на работу? Ну, нет…

Мыло у нас — лучший товар на обмен, и не я один сумел пронести его в лагерь. Другие пленные тоже, выходит, не дремали.

Своя сволочь…

Как раз в те дни, когда была эта «мыльная» эйфория, нам напомнил о себе немецкий комендант лагеря, «господин полковой командир». Месяца за два перед тем несколько пленных попытались сами изменить свою судьбу — бежали. Вскоре двоих привезли обратно в лагерь. С ними обращались так, что подняться с носилок, на которых их принесли, они уже не могли. И немецкий комендант вещал нам, что вот — эти «бессовестные изменники делу восстановления» пытались уклониться от выполнения своего долга перед Советским Союзом…

Теперь нас тоже собрали в большом зале и прилегающих коридорах, сгоняли всех, даже работающих на кухне. Что-то очень важное нам собираются сообщить? И вот около восьми часов вечера в зал внесли на носилках четверых. Вид у них ужасный, они в каких-то лохмотьях, лица заплывшие.

«Вот! — орет немецкий комендант. — Смотрите все сюда, смотрите как следует! Эти господа пытались нарушить свой долг и сбежать в Германию. Но там есть люди, которые осознают свой долг, и они передали их органам Советской Армии. Эти четверо лишились права на хорошее обращение. Они понесут заслуженное наказание в штрафном лагере! Поглядите-ка на них еще раз, чтобы каждый из вас знал, что с ним будет, если он попробует уклониться от работы в Советском Союзе».

И обращается к пойманным, лежащим на носилках: «Ну, вы, предатели, вы что себе думали? Обмануть наших русских друзей, весь наш лагерь опозорить? Лодыри вы, паразиты!» Он идет к носилкам, машет хлыстом, пинает ногами лежащих. Те только беспомощно стонут. А я словно ощущаю все это сам, ведь недавно меня самого били ногами. Что за сволочь этот садист, что за мерзавец! Охотней всего я бы вцепился ему в горло. Смотреть на все это, представлять себе, как немцы издевались над немцами, убивали их в концентрационных лагерях! Окончательно теряю веру в прошлое и в его «лучших представителей». Может быть, все правда, что нам объясняют русские и «Антифа» про зверства и насилия, совершенные немецкими солдатами? Я начинаю этому верить… Вспоминаю картины рабочего лагеря в Освенциме, там надсмотрщики лупили рабочих, если те ошибались или что-то у них не получалось, а мои товарищи и я смотрели на все это и воображали, что так и надо…

И самый последний из пленных понял сегодня, что за сволочь

наш «комендант». Я уверен, что многие думают так же, как я, но каждый знает, что восстать против него — смерти подобно. К тому же вся эта масса, две тысячи человек, не очень здоровых и не в лучшем настроении, вряд ли способна к решительным действиям. Русские и «Антифа» живо бы с нами справились. И каждый плетется на свое место, со своими мыслями, хоть как-то сочувствуя этим четверым бедолагам. Что-то им еще предстоит? Выпадет ли им счастье встретить своего санитара Ганса, как мне? Вряд ли, ведь Ганс — песчинка на этом бесчувственном берегу. Плохо, что даже с соседом нельзя поговорить обо всем этом, и уж совсем невозможно сказать про «коменданта» вслух в комнате — там ведь сто двадцать человек, и каждый боится доноса. Вот многие уже знают, по какой причине я лежал в лазарете; на меня бросают многозначительные взгляды, но никто не говорит ни слова…

Я взбираюсь на «мое место» на подоконнике, я хочу остаться наедине с моими мыслями. Слезы злости на наше бесправие текут по лицу. Утыкаюсь лицом в колени, чтобы скрыть их, потом отправляюсь на свое место, на нары. Часовой ночью все равно согнал бы меня с подоконника, так уж лучше уйти сразу. Хочу спать, ничего не видеть, ничего не слышать. А в голову лезут воспоминания о допросе у Лысенко, и я не могу заснуть, не могу сдержать слезы.

Слава Богу, в пять утра ночь кончается. И лагерь № 62 вступает в свой следующий, обычный день.

Алеша

Я опять развожу с Алешей лекарства по городским аптекам. Сегодня напряженный день — мы возим витаминный напиток с железом, он в полулитровых бутылках, по двадцать бутылок в ящике. Алеша мне объясняет, какой это полезный напиток, и мы начинаем с того, что одну бутылку выпиваем. Когда разгружаем товар, аптекарши, бывает, суют мне яблоко или помидор, а то и кусок белого хлеба. А пожилая женщина, заведующая большой аптекой, куда мы часто ездим, подарила мне пару шерстяных носков. Наверное, увидела мои портянки — тряпки, которые мне не удается приладить так, чтоб они не разматывались, к тому же все это приходится делать наспех.

Когда мы наконец отвозим последнюю партию, Алеша выдает мне еще одну бутылку на вечер. Мне везет, на входе в лагерь меня на этот раз не обыскивали. Бывало уже и так, что охрана не трогает нас по нескольку дней, но потом неожиданно — обыск, всегда при возвращении с работы. Обычно ищут только ножи — боятся, что мы поднимем восстание, что ли?

Среди ночи я просыпаюсь, у меня, кажется, жар. А может, это просто от духоты в помещениях? Засыпаю снова, а утром просыпаюсь весь в поту. Но идти к врачу не хочу, хочу на работу с Алешей, другого такого места мне потом не получить, а такого товарища — тем более. Значит, пусть хоть температура, а надо на аптечный склад, к Алеше. Он сразу заметил, что со мной не все в порядке. Повел меня в контору, добыл термометр. Оказалось — 39 градусов. Алеша беспокоится обо мне, принес таблетки и стакан воды, отвел меня в помещение, где навалены огромные мешки с ватой и бинтами. Устроил мне ложе из них, объяснил — оставаться здесь, пока он не вернется. Алеша, еврей, заботится, как отец родной, о немецком военнопленном…

В обед Алеша вернулся с докторшей, она меня осмотрела и ничего страшного не нашла. Сделала укол — температура у меня пока высокая. Сказала, что если не пройдет до вечера, то надо обращаться к врачу в лагере. Оставила мне термометр. Я сразу заснул, наверное, укол подействовал. Разбудил меня Алеша — время возвращаться в лагерь. Дал он мне еще таблетки на вечер и попрощался: «Будь здоров, до завтра, Витька!»

В лагере я сразу же улегся на свое место, заснул. Меня разбудил сосед — пора получать суп. Я не пошел, отдал ему свою порцию. Проглотил таблетки, что дал мне Алеша, и заснул опять. Ночью меня бил озноб, сосед помог мне укрыться потеплее,

удивлялся термометру. Померили температуру, она оказалась под сорок. Сосед говорит: «Слушай, у тебя, наверное, малярия. Я был на фронте здесь на юге России, у нас тоже случалась малярия».

Ясно, что дело плохо, но утром я пошел на работу вместе со всеми; Алеша уже ждал меня. Сказал ему про озноб и что говорил сосед про малярию. Алеша свел меня опять туда, где мешки с ватой, а сам куда-то исчез. Вернулся через полчаса, с ним старенькая женщина. Потрогала она мой лоб, подержала за руку, кажется, считала пульс. О чем-то тихо поговорила с Алешей и ушла. Алеша остался со мной, стал рассказывать: когда немцы заняли Киев, он отправил жену с тремя детьми в деревню к родственникам. И с тех пор ничего о них не знает. Когда Алеша приехал туда после освобождения, родственников его в деревне тоже уже не было. И никаких известий ни о ком из них, ничего… Алеша рассказывает мне о своем детстве. Он рос в большой семье, их было восемь детей, отец — портной. С малых лет дети должны были ему помогать. А в войну он прятался от немцев, поэтому не попал в концлагерь и остался жив. От Алеши я впервые услышал, что русские тоже не любят евреев, а некоторые даже ненавидят, почему — он не знает.

Вернулась та старенькая женщина, *Babuschka,* принесла мне горячего чая. Стал пить — страшная гадость, но *Babuschka* уверяет: чтобы выздороветь, надо его пить. Мне это удается с трудом, очень уж противный напиток. А бабушка остается с нами, пока я не выпью еще стакан. Зато потом Алеша откупорил бутылку витаминного сиропа, вот это благодать! Он сегодня не поехал по городу, он трудится здесь на складе и то и дело забегает сюда — посмотреть, что со мной.

А часа через три лихорадка моя вдруг прошла, бабушкино снадобье чудесным образом подействовало! И термометр показывает почти точно тридцать семь. Я уже было собрался помогать на складе Алеше. «*Net,* — говорит он, — *tolko kogda ty zdarow!*» А я ужасно рад, что вечером в лагере мне не надо будет идти к врачу. Получаю свой суп и пайку хлеба, я уже голоден после этой хвори. И рад, что завтра смогу по-настоящему помогать Алеше. Очень хотел бы его отблагодарить, но ведь у меня ничего нет, совсем ничего, что я мог бы подарить ему. Буду стараться лучше работать и помогать ему — вот моя благодарность.

Каждое утро боюсь — вдруг меня пошлют работать в другую бригаду. Нет, пока мне везет, я остаюсь с Алешей. Он мне рассказывает про бабушку, как она уже многих вылечила своим снадобьем. А я решаюсь обнять Алешу, чтобы показать, как я ему

благодарен, как уважаю его. Он не отталкивает меня.

Отвечает: «Ты немец, но хороший мальчик».

Добровольцем на шахту

Завтра сочельник. И ужасные мысли о безнадежности — уже второе Рождество в плену, в неволе. Я беззащитен, я во власти любого произвола и, судя по всему, в плену предстоит мне еще не одно Рождество.

В последние дни все время новости, одна сменяет другую. Мы работали однажды вместе с пленными из другого лагеря и услыхали от них: русские набирают добровольцев для работы в угольных шахтах. Кто пойдет добровольно, того через год отпустят домой. Что за чушь — это я сказал вслух, — еще и добровольно! Этим уже сыт по горло! Как там было первого января в сорок пятом? — «Шаг вперед!» — я уже не волонтер, а солдат-зенитчик, да еще в дивизии войск СС «Гитлерюгенд». Обрадовался, добровольцем пошел…

Сколько месяцев прошло с тех пор, как нет со мной друга Ганди и надо выкручиваться самому? Как же мне его не хватает! Когда сидел в карцере, тоже громко звал его, в пустой надежде — он же скажет, что мы были при зенитной батарее, а не в войсках СС. И когда ездил с Алешей по Киеву, всё надеялся — вдруг увижу Ганди. И Алеша нарочно ехал разными путями, мимо разных строек, где работают пленные. Сколько раз я спрашивал про Ганди, когда бывала возможность перекинуться словом с кем-нибудь из другого лагеря! Нет, все напрасно, хоть плачь.

А на следующий день слух становится явью. Старшие по комнатам пишут списки добровольцев — кто согласен год работать на русских шахтах, чтобы потом скорее отпустили домой. И перед тем как староста комнаты закрывает список, я тоже записываюсь. Поеду на шахту, хоть отец и говорил всегда, чтобы мы с братом никогда не лезли в это дело — работать под землей, где так тяжело и нет дневного света. Что ж, значит, буду горняком в четвертом поколении, забойщиком был еще прадед, дед и отец были штейгерами. К тому же — буду в другом лагере, там не будет этой сволочи немецкого «коменданта», который так орал на меня и ударил в лицо. И до сих пор — стоит мне попасться ему на глаза, как он меня посылает чистить сортир или еще на какую-нибудь грязную работу, бывает, что и до глубокой ночи. Да еще потом стоять по стойке «смирно», докладывая об исполнении, — на стенку можно полезть!

А как же моя надежда — встретить Ганди, если уеду из Киева? Вот уже год, как мы расстались. Он, конечно, тоже хочет найти меня, я в этом уверен, мы ведь столько пережили и

перенесли вместе. А может, его уже отпустили домой? Ведь больных пленных, непригодных к работе, отправляют обратно в Германию…

Двадцать человек из нашей комнаты записались ехать на шахты. А во всем лагере, наверное, 300 или 400. И вот ночью нас уже будят. Вместе с другими добровольцами ведут на дезинфекцию, в баню, потом на склад. Получаем новое белье и обмундирование, из своего остаются только ботинки. Выдают новое имущество — котелок и ложку. Вернуться в свою комнату не разрешают; если у кого было что припрятано на нарах — там и осталось, считай, пропало. Эх, сколько у меня мыла припрятано на кухне! С ним можно попрощаться. На новое место, как уже бывало, — без вещей…

Нас строят по пять, пересчитывают и — шагом марш! Через час с чем-то пришли на товарную станцию, это здесь, в городе. Там стоит длинный товарный состав, мы, кажется, прибыли последними. Грузимся, по семьдесят человек в вагон.

А там — прямо-таки первый класс, спальный вагон! Новенькие двухэтажные нары, печка из железной бочки с трубой наружу; даже уборная в углу вагона — тоже с трубой наружу. В вагоне два окошка, и досками они не забиты — только ох как привычная решетка из проволоки. Даже дрова приготовлены и что-то вроде торфа или бурого угля. И в самом деле, как в первом классе поедем! Это я вспоминаю тот первый поезд, когда мы не дошли пешим маршем до Киева. А здесь и двери вагона открыты! Неожиданности продолжаются: у дверей вагона появляется грузовик, каждому выдают шерстяное одеяло. В Сибирь нас повезут, что ли? Одно совершенно ясно — Иваны явно стараются доставить нас к месту назначения в хорошем состоянии. С расходами не считаются.

Снаружи рассветает. И вот следующий сюрприз: в вагон подают здоровенный котел с горячим и мешок с хлебом — по буханке на четверых. Что они так с нами возятся? Перловый суп в котле густой, прямо как *Kascha*, в нем куски мяса, и его столько, что каждому достается по два черпака. Но хлеб — это на весь завтрашний день.

А мы выбираем старшего по вагону, это ведь как на военной службе — раз нас тут вместе 70 человек, должен быть кто-то один, кто командует, за кем последнее слово. Выбор падает на Макса, Макса Шика из Дюссельдорфа. За эти часы он уже позаботился о порядке в нашем вагоне. Теперь можно делить хлеб. У кого-то чудом нашелся даже довольно острый нож. Макс аккуратно режет хлеб, и никто не спорит — все пайки одного

размера.

Между тем наступил день, уже светло. Зима, а снега нет. Наверное, потому, что Киев — это ведь на юге Советского Союза. Перед тем как закрыть двери, в вагон дали лопату жара, тлеющих углей — чтоб растопить печку. У нас, конечно, холодно, и Макс назначает меня заняться печкой. Дело ладится, и скоро печка раскаляется докрасна. Это не годится, так и сгореть можно…

Мы чувствовали себя «пассажирами первого класса» всю дорогу. Прошла неделя, мы прибыли на место. Когда двери открываются, один из пленных узнает город Сталино, центр Донбасса, Донецкого угольного бассейна, одного из самых крупных в СССР. Старые солдаты с русского фронта знают, что сюда от Киева примерно 600 километров. Нам не велят выходить — наши вагоны отправляют дальше. Уже слышны опасения — не в Сибирь ли, но часа через два-три и мы прибываем к месту назначения. Это Макеевка, тоже шахтерский город. Куда ни глянь — шахтные копры и терриконы, отвалы пустой породы. Что ж, мы ведь добровольно вызвались целый год работать на шахте, «исполнить свой долг», чтобы потом отпустили домой.

Сдаем одеяла, дочиста подметаем вагон. И грузовик отвозит нас в лагерь военнопленных Провиданка.

7. Макеевка

Нас с любопытством рассматривают здешние пленные. Сначала только издали — предстоит дезинфекция, только потом нас пустят в наше новое жилье.

Похоже, что лагерь устроен в бывшей казарме — каменные постройки, длинные коридоры с множеством комнат по обе стороны. В каждой живут двенадцать человек, в ней двухэтажные железные кровати, у каждого своя койка! Соломенный матрац на двух досках, две простыни и шерстяное одеяло. Я рад, что вызвался ехать сюда. Старший нашего вагона Макс берет меня к себе в комнату. Мне теперь восемнадцать, а Макс намного старше, ему лет сорок или даже пятьдесят. Благодарю Бога, что попал в его руки. Ведь как он управлялся с вагоном по дороге сюда из Киева — высокий класс! Значит, есть еще взрослые, которых надо уважать. Макс — первый такой за долгое время.

Расположились, и сразу строиться, на обед. Каждый прибывший получает новую миску и алюминиевую ложку. Было бы что ею хлебать… А вот — вкусный перловый суп с овощами и мясом, порция гречневой каши и 200 грамм хлеба. На раздаче спокойно, никакой давки. Все здесь по-другому, начинается новое время для нас. Неужели с нами теперь будут обращаться как с людьми? Вот и немецкий комендант лагеря приветствовал нас короткой доброжелательной речью. Он тоже Макс, Макс Зоукоп из Баварии, бывший летчик, ходит всегда в летной куртке. Симпатичный человек, полная противоположность той сволочи в Киеве.

С полным желудком возвращаемся в комнату, и на кровать — сегодня нам еще не идти на шахту. Лежу на туго набитом соломенном матрасе, он толстый, как настоящий матрас. Сколько же это времени я ложился спать на голые нары, на пол, а то и прямо на землю! А здесь и раздеться можно, у меня же теперь одеяло и шинель. Два года, если не считать времени, что пролежал в лазарете, жили мы, как скот, в тесноте и грязи. А тут у меня кровать, 80 сантиметров в ширину, два метра в длину — это на меня одного, подумать только!

Макс уже спит, а я все еще погружен в размышления. Тут даже такой деревянный клин подложен в головах, чтобы соломенный матрац лежал там повыше, а свой мундир я сворачиваю, и он будет мне подушкой. И я лежу наконец растянувшись, а перед глазами как бы проходит всё, что было за эти два года… Вспоминаю дом, мать и отца, брата Фрица, друзей

и учителя английского языка.

Первая смена

Подъем в пять утра. В умывальной комнате деловая толкотня. Водопровода здесь нет, воду носят ведрами из бассейна и заливают в бачки. Нас наставляют — воду надо экономить, здесь на юге Украины ее всегда не хватает. Нам, новичкам, раздают тонкие белые полотенца. Мыла нет.

Когда мы, умывшись, возвращаемся, «коренное население» лагеря уже отправляется строем на шахту. Когда же они встают? В четыре или еще раньше? Они уже получили и съели утренний суп и пайку хлеба? А нам велят после супа построиться на плацу. Обращается к нам опять старший по лагерю Макс Зоукоп. Говорит, что вчера, после долгой дороги, не хотел занимать нас подробностями лагерной жизни. А теперь, когда мы выспались, говорит нам, что придает большое значение порядку, чистоте и дисциплине, товарищеским отношениям. Мы еще убедимся, что здесь, на шахте, они особенно важны. Он не знает, есть ли у кого-нибудь из нас шахтерский опыт, наверное, ни у кого, поэтому так важно слушать опытных горняков. А я вспоминаю пеший марш в Ченстохову, в Дембицу, на Киев. Речи там быть не могло о товариществе…

Потом нас делят на сотни. Макс, мой старший покровитель, теперь все время рядом со мной. Да нет, не то говорю — это я теперь рядом с Максом. Нам повезло, во всяком случае, мы так думаем, — нас определили в утреннюю смену. В раздевалке получаем рабочую спецодежду, резиновые башмаки-чуни, похожие на лодки, и портянки. Чтобы чуни не спадали, по бокам делают дырки, продевают в них кусок детонационного шнура и привязывают к ноге.

После вечернего супа — поскорее ложиться, потому что в четыре уже вставать. Перед сном мы с Максом еще учимся прилаживать портянки к такой «обуви». Пройдет еще немало времени, прежде чем чуни перестанут натирать мне ноги…

…Строимся в колонну по пять человек, ворота открываются, и мы отправляемся маршем на шахту «Красная звезда», Очень холодно, мороз пробирает, спецовка совсем не греет, руки тоже совсем замерзли. Пробуем двигаться бегом, но до шахты еще далеко. Только через полчаса вдалеке показываются огни. Наконец — ворота шахты. Нас ведут в ламповую, там, можно сказать, разлито тепло, но мы еще долго не можем согреться, руки и ноги буквально закоченели.

Ламповая — это наш «сборный пункт». Русский рабочий

протягивает мне тяжелую шахтерскую лампу, с ней я иду вместе с товарищами в зал. В это время его покидают русские рабочие. А к нам обращается немецкий заведующий, он тоже пленный. Говорит о работе, об опасностях, которые ждут нас в шахте, и о мерах безопасности под землей. Призывает к соблюдению дисциплины и к товариществу — с русскими шахтерами тоже.

И вот нас снова распределяют. Макс — он профессиональный кузнец — остается в кузнице, на поверхности, в большом механическом цеху. А меня берет немецкий мастер-бригадир угольной лавы. С ним мы идем к стволу и в клети спускаемся в шахту. Выходим из клети на глубине около 600 метров. Когда мне было пятнадцать лет, отец брал меня однажды с собой в шахту, но только до главного штрека, а в лаве, где добывают уголь, я никогда не был. Мне немного страшно, но раздумывать некогда, потому что мы направляемся быстрым шагом за инструментами. Мне выдали кайлу с двумя сменными остриями и здоровенную лопату — грести уголь. Со всем этим хозяйством поспешаю за остальными. Без конца спотыкаюсь, каска слетает у меня с головы, лопата валится из рук, а тяжеленная лампа бьет по ногам.

Наверное, я единственный новичок, остальные работают здесь уже по два-три года? Но, оглянувшись, вижу, что идущие позади меня — такие же, видно, раньше в шахте не бывали. Пробираемся между вагонетками с углем, состав тянут по рельсам на стальном тросе, он дергается совсем рядом, на высоте моего роста. Не самое приятное ощущение… Добыча угля уже идет, навстречу груженым вагонеткам подают пустые, «порожняк», а мы все еще не добрались до лавы. Наконец сворачиваем в поперечный проход, а дальше, уже ползком, в лаву. Высота ее всего сантиметров семьдесят, повсюду деревянные стойки, подпирающие кровлю. Я везде застреваю, зацепившись если не лампой, так кайлом, не кайлом, так лопатой.

Рядом с обнаженным угольным пластом — конвейер-транспортер, по нему уголь подается из лавы на штрек, в вагонетки. Бригадир расставляет нас по лаве, каждому выделяет «пай», метра три по длине конвейера. Дает задание: рубить из пласта уголь на глубину два метра и грузить его лопатой на конвейер. Ловко показывает, как именно это делается, и куда-то исчезает.

Первым делом вешаю лампу на стойку. Лопату кладу в сторону, ведь сначала надо нарубить угля. А конвейер уже работает — трясется и грохочет, напоминая, что мне пора начинать. От первого удара кайлом по пласту только мелкие

кусочки угля летят мне в лицо. Пытаюсь и так и этак отбить, отковырнуть кусок побольше, но ничего не получается. А сил уже нет даже лопату держать, устал ужасно. Но вот вернулся бригадир и стал меня учить хитрым приемам. Объяснил, как приступать к пласту, что за трещины и прослойки в нем видны, как и где по ним бить, чтобы уголь легче отделялся кусками. И стало получаться! Часа через два я уже врубился в пласт на нужную глубину и погрузил отбитый уголь на конвейер. Товарищ рядом со мной тоже управился. Но я совершенно выдохся, а колени болят так, что я их уже не чувствую. Но я горжусь, что в первый же день выполнил все, что от меня требовалось.

А смена должна скоро закончиться, уже видно, как внизу под лавой становится все больше огоньков шахтерских ламп. И товарищи в лаве стали собираться… Да только зря. Откуда ни возьмись — налетел наш бригадир; бранится, орет на нас — идиоты, самоубийцы и все такое прочее. Мы не поймем, что случилось, он же так хорошо с нами обращался, все показывал, а тут… А тут ругается вовсю, еще и русскими известными словами. Велит — скорее стойки и доски сюда! Их подали в лаву по транспортеру, и он вместе с несколькими забойщиками кинулись ставить стойки с обрезками досок сверху — крепить кровлю, из-под которой мы добыли и выгребли уголь. Мы им помогаем, пилим стойки в нужный размер, чтобы плотно забивались между «почвой» пласта и кровлей.

Когда все стойки были поставлены, бригадир выгнал нас из лавы на штрек. И там объяснил, что мы натворили и как нам еще повезло: ведь кровля могла обрушиться и всех нас там похоронить. А откуда нам было знать? Нам велели отбивать и грузить уголь, мы и старались. А про крепление никто ничего не сказал. Ну, ладно, обошлось… А спешка и ругань были потому, что он увидел, как от кровли отслоились первые куски камня. Бывает, что после этого она рушится по всей лаве, и тогда…

Впечатляющий урок мы получили. Обещаем глядеть теперь в оба. Могло ведь всех нас там угробить, наша первая смена в шахте могла стать и последней.

В транспортной бригаде

Так проходят дни один за другим. У меня воспалились колени, и меня переводят в транспортную бригаду; там не нужно ползать на четвереньках, и работа полегче. Я должен заталкивать порожние вагонетки под погрузку и навешивать на них номера, чтобы на разгрузке было видно, с какого участка добытый уголь. Груженую вагонетку сцеплять с составом и подгонять следующие порожние. Это важное дело, потому что порожняка на шахте не хватает; бывает и так, что какую-то лаву приходится останавливать, потому что некуда грузить добытый уголь. А от добычи зависит и наш паек — надбавка за тяжелую работу, 200 грамм хлеба. И немецкие мастера-штейгеры рассылают нас по всем подземным закоулкам шахты искать порожние вагонетки. Подземным транспортом шахты ведают военнопленные, поэтому лавы, в которых работают немцы, лучше снабжаются порожняком. И добыча из «немецких» лав всегда больше. На «нарядах» (планерках перед каждой сменой) начальники выговаривают русским за меньшую производительность. А те заявляют, что пленные работают на участке, где геологические условия лучше, и надо поменять нас местами.

Так и сделали. Но через несколько недель добыча с участка военнопленных опять оказалась выше, чем на русском участке. А мысль о том, что все дело в транспорте, в порожних вагонетках, руководителям шахты в голову не приходит. Они считают, что просто пленные работают эффективнее. К тому же не во всех лавах есть конвейеры, и можно утешаться тем, что добытый уголь выдают оттуда носилками…

Сегодня четырех человек из транспортной бригады придали проходчикам. Они ведут по скальной породе штрек, из которого потом будут рассекать новые лавы. В бригаде шесть украинских проходчиков и четверо пленных. Надо доставить из подземной кладовой к месту работы инструмент для бурения, тяжеленные буры, новый забой находится к тому же километрах в двух от ствола шахты. Наконец добираемся, и забойщики решают сначала «притормозить» — позавтракать. Делятся с нами хлебом и огурцами, дают нам на четверых кусок *Sala*. Хорошее начало! И даже разрешают глотнуть чаю из своего бидончика. Здорово! Потом начинаем работать.

Бурового станка с электрическим приводом или сжатым воздухом здесь, к сожалению, нет, камень бурят вручную — утомительная работа, отнимающая много сил. Работаем по двое,

сменяя друг друга. За сегодня пробурили четыре шпура, скважины глубиной около двух метров; украинские товарищи нами довольны. Когда приходит дневная, вторая смена, наш старший гордо показывает своему сменщику четыре дырки — пробуренные нами шпуры.

Наша жизнь «по плану»

Сама работа здесь — это не самое худшее. Хуже то, что очень уж много времени проводишь в шахте. Смены меняются только на рабочем месте, а не у ствола. Только после того, как сдали забой следующей смене, можно идти к стволу, на подъем из шахты. Пока дойдешь туда, добыча угля уже началась, и чтобы подняться на поверхность, надо ждать момента, когда у ствола не будет вагонеток с углем. А там — смотря чья смена на подъеме, какое настроение у стволовой дежурной; если хорошее — постарается пропустить в клеть на подъем, а вагонетку задержит. Если же нет…

А вся смена пленных должна ждать в ламповой, пока из шахты поднимется последний. Сейчас зима, темнеет рано, и мы неделями не видим дневного света. Нередко возвращаемся в лагерь после утренней смены вечером, часов в восемь, а то и в девять. Пока умоешься — уже 10 часов, получаешь обед и ужин вместе и — с полным брюхом в кровать. Наверное, такой «режим питания» можно вытерпеть только в юности. А хлеб я почти всегда беру с собой, в шахту.

Умывание — тоже проблема, потому что воды не хватает. На человека полагается ведро воды, одно ведро на черного от угольной пыли шахтера, так что отмыться дочиста, хотя мыло выдают, не удается никогда. Особенно видны у всех черные ободки вокруг глаз. А бывает, что по нескольку дней вообще нет воды, и мы спим в рабочей одежде прямо на полу, в проходах, чтобы не испачкать постели. С Максом вижусь теперь редко, только вечером или утром, если у нас одна и та же смена. Зато он у себя в цеху, в кузнице, раздобыл пружины, и вот уже целую неделю у него и у меня под соломенным матрасом — не доски, а пружины, ух, здорово! Матрас немного провисает, зато лежать мягко.

На все работы и виды деятельности коммунистическая партия установила нормы выработки, и эти нормы надо выполнять и перевыполнять по плану. От этого зависит оплата, а нам за выполнение и перевыполнение полагается дополнительно 200 грамм хлеба. С первого мая нам будут за выполнение и перевыполнение норм начислять и оплату. Перед большими праздниками рабочего класса начинается суета — к таким дням полагается выполнять план на 200 процентов или еще больше.

Наша проходческая бригада объявила, что поставит рекорд —

не только пробурим шпуры, но еще заготовим деревянную крепь — стойки, потолочины, доски на пять следующих циклов проходки — и все за одну смену! Непонятно, зачем лишняя крепь в забое, ее ведь можно привезти, когда понадобятся, но для руководства шахты главное совсем не это — норма на доставке крепи будет перевыполнена на 400 процентов, вот что важно! Ведь с тех пор, как забойщик Стаханов перевыполнил норму на добыче угля не знаю, на сколько сот процентов, всех шахтеров призывают следовать его примеру…

И вот мы два дня не бурим шпуры, а таскаем стойки и доски. Спускаем их с поверхности в шахту, грузим в специальные вагонетки с «рогами» вместо бортов, перевозим по штрекам поближе к своему забою. И только накануне Первого мая перетаскиваем на место. Нам всем четверым разрешено в этот день позже выехать из шахты, и остальные пленные не должны нас ждать в ламповой. Украинские проходчики из бригады в восторге от нашей затеи — это для них двойная оплата, честь и слава, фото на Доске почета и в местной газете.

Они не остаются в долгу, и на следующий день после праздника Первого мая у нас в забое — «парадный обед»: колбаса, сало, яйца, сколько хочешь хлеба и по бутылке пива каждому. Я свою отдаю товарищу, который постарше, — боюсь опьянеть, хорошо помню похмелье после спирта на батарее…

И немецкого обер-штейгера, старшего горного мастера, пригласили в компанию, он закусывает вместе с нами. И даже получает от проходчиков в подарок бутылку водки.

Саша

А всего через несколько дней нас всех четверых распределяют по другим бригадам. Меня — в подземную мастерскую, к слесарям. Я должен помогать Саше, так все зовут слесаря Александра, носить за ним инструменты и прочее. Новая работа мне нравится; каждый день мы на другом месте, то чиним конвейер в лаве, то насос, качающий воду из шахты на поверхность. Это чаще всего, потому что за водоотливом на шахте следят особенно тщательно. Слава Богу, там десять или двенадцать насосов, так что какой-нибудь из них всегда в ремонте.

Много дел бывает и у ствола шахты, там я уже познакомился с несколькими украинками. Почти все женщины, работающие на водоотливе и у ствола, были на принудительных работах в Германии, говорят немного по-немецки, а некоторые — даже хорошо.

Иметь знакомую стволовую — это большая удача, потому что если надо выехать из шахты на поверхность, а ствол занят подъемом вагонеток с добычей, то все зависит от нее. Иногда мне кажется, что женщины мной интересуются. Могут ведь они сочувствовать, что вот, я такой молодой, а попал в плен. Они ведь тоже были совсем молодыми, когда их угнали в Германию.

В насосной слесарь Саша всегда задерживается, чтобы поболтать с девушками о разной чепухе. А я прислушиваюсь и так узнаю все новые слова, учусь понимать язык. Сегодня меня даже втянули в разговор. Спрашивали, что я делал раньше, до шахты, и как я такой молодой попал в плен. Сам удивляюсь, как это у меня уже получается — объясняться по-русски, а когда не хватает слов, приходит на помощь кто-нибудь из девушек, знающих немецкий. Говорим о Киеве, и я узнаю, что Тамара — родом оттуда. Что она пережила — это просто ужас. Когда их освободили в Германии, то домой не отпустили, а собрали в лагере в восточной зоне и сказали: кто поедет добровольно работать на угольные шахты, того через год отпустят домой. И вот они уже два года в Макеевке на шахте «*Krasnaja Zwezda*», живут в рабочем лагере вроде нашего, без документов…

Нам ведь тоже обещали, что отпустят домой, когда проработаем год на шахте. Сколько же нас здесь продержат, если и своих людей так дурят! Всем этим женщинам лет по двадцать, все незамужние. Спрашивают, работал ли я в Киеве тоже вместе с женщинами. Я им охотно рассказываю о моей платонической

любви к Лидии, о последней встрече с ней в укромном месте, когда она передо мной станцевала, а потом сломя голову убежала.

Написал мелом ее имя на вагонетке. Тамара спросила, знаю ли я адрес. Конечно, я ведь его тогда крепко запомнил, почему и зачем — не знал. Может, Тамара напишет Лидии, что встретила меня здесь? Тамара только смеется, когда я спросил об этом.

Перерыв длится сегодня особенно долго, одна из женщин особенно любезна с Сашей, они флиртуют, остальные посмеиваются. По правде говоря, меня тоже волнует их внимание, ощущение, что я, может быть, тоже кому-то из них нравлюсь, ну, может быть, Тамаре, которая заговорила со мной… Но вот звонит шахтный телефон. Ищут Сашу — срочно к главному стволу! Что ж, сумку с инструментами на плечо, бросаем девушкам короткое: *privet!* — и пошли. До главного ствола отсюда недалеко, меньше пяти минут ходу. Там Сашу ждет с нетерпением старший мастер: опустившуюся с поверхности шахтную клеть заклинило. Один из рычагов, которые должны удерживать клеть в направляющих в случае обрыва стального каната, на котором она подвешена, за что-то зацепился прямо здесь, в зумпфе — углублении, куда «садится» клеть. Машинист подъема пытался сдернуть ее вверх, но ничего не вышло. Вокруг уже собрались шахтеры, обсуждают, что надо делать.

А Саша — само спокойствие. Полез под клеть, в зумпф, я за ним. Саша посветил лампой с одной стороны, с другой. Просто так выбить этот застрявший рычаг не удалось, пришлось действовать зубилом. Я держал его длинными клещами, а Саша бил тяжеленным молотом. В конце концов клеть мы освободили. Машинист подъема подтянул ее немного вверх, чтоб она нас не раздавила. В общем, шахтный подъем снова заработал, но Саша недоволен. Говорит старшему мастеру, что выйдет сегодня еще раз в ночную смену, когда не будут «качать» уголь, и еще раз сам все проверит. Я все понял: раз Саша будет сегодня работать ночью, меня завтра пошлют с кем-нибудь другим, а я этого опасаюсь. И я спросил Сашу: а можно и мне? Саша немного удивлен, услышав такое от пленного. Ему ведь лет двадцать пять, не намного больше, чем мне, и он ко мне хорошо относится. Он сразу сказал, что обо всем договорится с начальником смены. Когда я сказал об этом по дороге в лагерь соседу, тот постучал пальцем по лбу: видно, я с ума спятил, если по своей воле буду работать лишнюю смену!

Перед ночной сменой Саша ждет меня в ламповой. Он уже

договорился с украинскими слесарями, они погрузили в вагонетку нужные нам материалы и новый аварийный рычаг для той клети. Ремонт клети занял много времени, почти до прихода утренней смены. Но теперь все в порядке, клеть спускается по стволу в шахту и поднимается на поверхность беспрепятственно. Мы подождали, пока к стволу вовсю пойдет из шахты уголь, убедились, что с клетью все в порядке, и тогда поднялись из шахты. Мне повезло — в сторону лагеря шла с шахты грузовая машина. Саша договорился, чтобы мне разрешили ехать в лагерь без охраны, а водитель пообещал меня там «сдать». Дня два или три в лагере только и было разговоров, что о моей ночной смене.

А Саша рассказал об этой истории дома, и теперь каждый день я получаю от его мамы бутерброд, а ведь продукты у них все еще по карточкам. Когда нам с Сашей бывает нужно подняться из шахты пораньше, чтобы сделать что-то в мастерской для следующей смены, он берет меня с собой в умывальную, и мне удается хорошо помыться. Душа там, правда, нет, но всегда хватает воды.

Меня назначили опять в бригаду забойщиков. Наверное, кому-то не понравились наши добрые отношения с Сашей или наши «задержки» в насосной у девушек. Доносчиков ведь всюду хватает…

Но работаю я теперь не в лаве, а на перегрузке угля с забойного конвейера на широкий ленточный штрек. Моя обязанность — следить, чтобы уголь попадал только в перегрузочную воронку. Если ленточный конвейер останавливается — нет порожних вагонеток на следующем перегрузочном пункте или еще по какой причине, — уголь с забойного конвейера, пока его не выключишь, переполняет воронку и сыплется мимо. Когда все опять заработает, я должен весь просыпавшийся уголь собрать и лопатой погрузить на ленту. И еще помогать забойщикам, значит, если в это время остановят большой конвейер, то опять все кругом будет засыпано углем. Но к приходу следующей смены надо все привести в порядок.

Сегодня они что-то задерживаются. Бригадир говорит, что прошло уже часа три или четыре. Оказалось — клеть оборвала в стволе силовые кабели, не было электричества. И когда мы наконец поднимаемся из шахты и приходим в ламповую, там собирается уже следующая, ночная, смена. Так что опять предстоит короткая ночь — умыться, два раза получить еду… Вот такая жизнь в плену, кого это может беспокоить?

«Фрейлейн» Витька

Когда я прихожу в комнату со второй порцией супа, Макс еще не спит, у него для меня новость. Немецкий комендант лагеря Макс Зоукоп поручил ему подобрать бригаду художников и артистов. Я, конечно, готов, я любил играть на сцене еще в школе. Мы с Максом долго шепчемся и строим планы. Двух-трех человек, готовых участвовать, Макс уже нашел, и утром нам можно не идти на шахту — мы пойдем к Зоукопу. От возбуждения не могу заснуть; побудка нас сегодня не интересует, потому что к коменданту нам идти в девять, а до тех пор у нас есть время не торопясь съесть свой суп и пайку хлеба, спокойно поговорить обо всем. И я очень рад, что могу побыть с Максом.

И вот мы идем в управление лагеря, там нас ждут Макс Зоукоп и русский офицер. Сразу переходят к делу: еще до того, как нас привезли в этот лагерь, здесь уже была группа самодеятельности, но она распалась. Наш *Politruk* показывает целую кучу материалов — пьесы, скетчи, ноты. Если найдем музыкантов, то можно будет достать и музыкальные инструменты. Мы набрасываем объявление, чтобы повесить на стенку, где пропаганда: про коммунистическую партию, про достижения рабочего класса в борьбе с империализмом. Некоторые произведения, которые мы должны играть, выглядят примерно так же.

Только повесили объявление, как сразу нашлись артисты и музыканты — тот играет на рояле, тот на скрипке, кларнетист, аккордеонист и так далее. А пленный Манфред Ройшель даже управлял когда-то оркестром. И в зале для собраний есть сцена и кое-какой реквизит. Вскоре политрук привез полный грузовик музыкальных инструментов, и Манфред начал отбирать музыкантов. Он же «экзаменует» желающих петь, но вот беда: в пьесах и сценах из оперетт есть и женские роли, а где нам взять исполнителей?

В школе я всегда пел в хоре, имел хорошие отметки по музыке. Мне двадцать лет, у меня чистое лицо, бриться приходится всего раз в месяц. Макс шутит — хватило бы и хорошо обтереть жестким полотенцем. Значит, буду играть женские роли! И вот еще что очень важно — для ощущения собственной пользы, наверное, — всем принятым в группу самодеятельности разрешили отпустить волосы, не стричься наголо!

Вот уже несколько дней переписываю роли, но для первого нашего выступления прежде всего — оркестр. Они репетируют мелодии из оперетт — попроще, для государства рабочих и крестьян. В годы моей юности в Моравской Остраве я знал чуть не все популярные мелодии и арии из «Продавца птиц», «Нищего студента» и других оперетт. У меня была подруга в балете городского театра, и, если удавалось, я сидел вечерами в театре, чтобы потом встретить Хильду, так ее звали, и поехать с ней домой. Фантастическое время юности! Хильде было восемнадцать, мне шестнадцать. Бывали объяснения с мамой по поводу этих ночных свиданий, но что поделать. Кто знает, может быть, мама ревновала сына, которого могла так рано забрать другая женщина…

Сегодня вечером буду в первый раз выступать. Волосы, конечно, еще не отросли, но что устроил из них наш парикмахер — это просто гениально. Часа два он мастерил из моих коротких волос завитушки. Сушилки для волос у нас здесь, конечно, нет, но результат все равно поразительный. Еще голову повязали каким-то платком, получился тюрбан, из-под которого видна женская прическа! Наш парикмахер делает прически и офицерским женам, так что у него нашлись и румяна. А художник сцены покрасил мне ноги коричневой краской, а черной провел еще сверху донизу швы, будто я в чулках. И чтобы обувь без каблуков не выглядела так нелепо, надел я еще короткие носки. Теперь должно получиться, не зря же я учил арию, в которой «Ах, я не знаю сама, что так жарко целую тебя!..». А в программе значится еще и дуэт.

И оркестр играл отлично, в зале радостный шум и аплодисменты. Офицеры с женами сидят в первом ряду и тоже аплодируют. Только политрук чем-то недоволен, и сразу после концерта Макса Зоукопа зовут к нему. Что случилось? А очень просто: мало вам неприятностей в шахте, где военнопленные работают вместе с украинскими женщинами, так еще вы будете мне наряжать мужчин-пленных в женские одежды, подрывать дисциплину и порядок в лагере! Должен сказать, что он не так уж не прав. Потому что товарищи по комнате обступают меня, хотят, чтобы я не переодевался, а шел к себе в женском и намазанный: мы, мол, можем там еще немного повеселиться! Макс Шик сохраняет, как всегда, ясную голову, и через несколько мгновений грим с меня снимают, и я опять становлюсь самим собой — двадцатилетним парнем.

Оба Макса проводят в ближайшие дни еще не один час у политрука, стараясь уговорить его женское платье не запрещать.

Наконец он дает разрешение ставить пьесу «Остров мира», где сразу три женских роли. Но пьеса такая политическая, текст такой антикапиталистический, что бояться не приходится — эротических чувств он вызвать просто не может.

Ну, несколько шуточек мы все же в спектакль по секрету вставили. И репетиции нас порадовали, хотя политрук и один-два переводчика присутствовали.

Привилегированная бригада

Уже март. Мы с Максом празднуем мое двадцатилетие вдвоем. Что ни день, то новые слухи — вот, через неделю-другую нас отпустят домой. Кто-то уверяет, будто сам читал в газете, что Сталин распорядился отправить всех пленных домой до 31 декабря 1948 года. Другой слышал, что недалеко от нас какой-то лагерь военнопленных закрыт и всех увезли в Германию. И вот новая пища для слухов: всем, кто родился или жил в Берлине, велят зарегистрироваться. Таких оказывается почти сорок человек. Им выдают новое обмундирование, и они строем покидают лагерь. И не возвращаются. Одному из них я по секрету передал адрес родителей с просьбой сообщить им о моей жизни здесь. И, только вернувшись из плена, узнал, что берлинцы действительно поехали домой. Это Ульбрихт уговорил Сталина отпустить их.

А на шахте меня опять назначают в бригаду транспорта и ставят у ствола — закатывать груженные углем вагонетки в клеть. Не такая тяжелая работа, только когда полная вагонетка сходит перед клетью с рельс, приходится худо — жуткая тяжесть, а приспособления для ее подъема на рельсы чаще всего нет. Мы с напарником сами смастерили из стальной штанги рычаг, он хоть немного помогает.

Совершенно случайно встретил сегодня слесаря Сашу, он один без помощника, сам таскает все инструменты. Он думал, что меня уже нет на этой шахте, и обещает завтра же вытребовать меня снова к себе. Ничего из этого не выходит — меня тут же переводят в бригаду забойщиков. Ну и система в этом государстве рабочих и крестьян! В малейшей личной инициативе обязательно подозревают какой-то тайный умысел, которому во что бы то ни стало надо воспрепятствовать.

А может быть, там, в верхах, боятся, что между их товарищами-коммунистами и военнопленными возникнут добрые отношения и это будет во вред социализму? Кто же разберет, какой у них там ход мыслей! Ясно, что тесное общение товарищей с пленными в шахте начальству давно претит. Значит, любое «братание» надо оборвать немедленно…

И я получаю из кладовой лопату и кайло и пробираюсь вместе с другими в лаву. Перед самым лазом меня перехватил бригадир — узнал «поющую диву» из нашего последнего концерта. И послал вместе с двумя забойщиками подвозить «лес»

— стойки и остальное. Их не хватает, и получается так, что мы «достаем», практически воруем материалы поблизости от других забоев, где работают украинцы. Только надо глядеть в оба и не попасться за таким делом.

Целых три вагонетки-платформы стоек и прочего раздобыли, «организовали» мы сегодня, и бригадир доволен — не придется останавливать лаву. Мы помогли перетаскать и припрятать «лес» в выработанном пространстве за лавой. Там опасно, давит каменная кровля сверху; иногда можно увидеть, как крепкие деревянные стойки гнутся от этой тяжести словно спички…

Следующая смена приходит сегодня очень рано. И мы поднялись из шахты сразу, как пришли к стволу. И в четыре часа были уже в лагере. Это в первый раз так рано, а чаще всего приходим вечером.

После ужина у нас репетиция «Острова мира». Присутствует и офицер-политрук, сегодня он — наш благодетель. Он объявляет, что с завтрашнего дня мы не будем работать под землей, что он велел найти нам работу на поверхности, в мастерских. Причем надбавку за тяжелую работу — 200 грамм хлеба дополнительно к 600 граммам, которые получают все, нам оставляют. Все радуются.

И еще мне важно сказать здесь, что с тех пор, как мы находимся в «нормальном» лагере военнопленных, свои 600 грамм хлеба мы получаем каждый день. И без всяких очередей, в которых нередко приходится стоять местным жителям.

Макс написал для офицера список — фамилии всех участников группы самодеятельности, и на следующее утро мы «переезжаем». Нам дали две комнаты, там мы будем все вместе. Все, кто устроил себе «пружинные матрасы», как у Макса и у меня, забрали их, конечно, с собой в новые комнаты. Здесь побольше места, в обеих комнатах есть стол и скамьи, так что можно заниматься, учить или переписывать роль.

Между прочим, со времени первой открытки в 1946 году и ответа моего брата, из-за которого было столько бед, я уже не раз писал домой и получал почту. За 1947 год родители получили 22 моих открытки, почти столько же послал я друзьям и родственникам. Но не всем приходят вести из дому, наверное, многие сами не хотят писать отсюда…

У самодеятельности теперь своя отдельная бригада, работу нам дают на поверхности. Работу «дают» в буквальном смысле слова, потому что постоянных должностей у нас нет. Мы красим забор, подметаем проезды и дорожки, помогаем при разгрузке вагонов с «лесом» и тому подобное. Каждое утро *Natschalnik*,

распоряжающийся на поверхности шахты, дает Максу задание для нас на весь день, ну а инструменты или материалы, если понадобятся, надо раздобывать самим.

Самое приятное в этой бригаде, что не надо ждать следующей смены, охранник отводит нас в лагерь, никакой сутолоки, можно спокойно помыться. Спокойно можно получить еду, ну а потом уж учить роль или репетировать. В лагере, где две тысячи пленных, конечно, находятся завистники; про нас говорят, будто мы получаем двойные порции, но это неправда. А дополнительные 200 грамм хлеба, как на подземных работах, действительно получаем, так решили украинские начальники и лагерный офицер-политрук.

Спектакль «Остров мира» проходит с большим успехом. В зале помещается только 400 человек, так что мы играем пьесу пять раз, каждое воскресенье. И в день представления на работу мы не ходим, а нашим зрителям приходится.

Теперь репетируем оперетту; наш офицер добыл либретто и ноты для оркестра. Другие офицеры с семьями тоже приходят на наши представления, и политрук очень гордится нами, «бригадой артистов», как он любит говорить.

А легкой работе для нас на поверхности шахты скоро приходит конец. Нас распределяют по участкам шахты, и я опять оказываюсь забойщиком в лаве высотой сантиметров восемьдесят. Бригадир выделяет мне пай в самом конце лавы, и надо ползти туда с кайлом и лопатой, с тяжелой шахтерской лампой. Единственное преимущество, оставленное «артистам», что мы все должны работать в одной смене. Конечно, удается это недолго — на шахте другие заботы. А когда возвращаешься с тяжелой работы под землей только вечером, тут уж не до музыки и репетиций. К тому же кого-то из «артистов» уже нет — ушел в ночную смену…

Так проходит лето. Концерты мы еще устраиваем — только по воскресеньям вечером. А для оперетт или пьес нет времени на репетиции, да нам и не до того: становится все яснее, что никакого «до 31 декабря» не будет, домой нас не отпустят. Оказывается, в соседних лагерях бастуют, а у нас нормы выработки не выполняются, и офицеры заметно нервничают. Развязка наступает быстро — 200 или 300 человек утром увозят из лагеря, и в тот же вечер к нам прибывают двести других пленных; они рассказывают, что в их лагере такое происходит уже давно — в другие лагеря людей отправляют сотнями. И через две-три недели население лагеря так обновляется, что уже почти никто не знает, как кого зовут. Так что организовать восстание —

а этого Иваны боялись и боятся больше всего — уже просто невозможно.

Прекрасный летний вечер. К нам в комнату приходит комендант Макс Зоукоп и объявляет, что «бригаде артистов» завтра утром на шахту не идти, мы должны собраться у него в семь утра. А Макса Шика и меня он зовет к себе в комнату сейчас. И там объясняет нам, что сегодня с ним долго беседовал политрук и делился своими заботами. Он считает, что и в нашем лагере могут произойти волнения, он не может допустить этого, ведь в случае чего охрана должна будет применить оружие! И он просил Макса помочь ему, а идея у него такая: «бригада артистов» должна снова приняться за дело, должна активнее развлекать пленных! Он уже договорился, что мы вообще не будем ходить на шахту, надо репетировать и как можно скорее ставить оперетту!

Выслушав это, мой Макс Шик за бригаду поручился и пообещал, что мы будем содействовать спокойствию и нормализации жизни в лагере.

Население нашей комнаты с нетерпением ждало нас — о каких таких новостях говорил комендант Макс Зоукоп? Пришли и товарищи из другой комнаты нашей бригады, мы рассказали о том, что слышали. Все удивляются страхам начальства, ведь ни о каких волнениях, которые якобы у нас готовятся, никто понятия не имеет. Все уверены, что дела в лагере обстоят неплохо, и во многом — благодаря талантам Зоукопа, которому предоставлена чуть ли не полная свобода действий. Если сравнить с тем, что рассказывают пленные из других лагерей, то у нас еще все хорошо. Два футбольных матча с командами других лагерей провели у нас. Из каждого лагеря пришли на футбольное поле неподалеку отсюда по пятьсот человек, оттуда и последние новости… Все это мы обсуждали до поздней ночи. С нетерпением ждем, что будет утром.

Встреча происходит в зале, вместе с политруком пришли еще два офицера и женщина в форме майора, она свободно говорит по-немецки. Она и начинает разговор и просит нас верить тому, что она скажет. «Если ваши выступления, ваше искусство помогут сохранить в лагере спокойствие и порядок, — говорит она, — то можете быть уверены, что дома будете — пусть не в декабре, как обещал Сталин, но уж весной 1949 года обязательно». А «наш» офицер, политрук, поясняет, что госпожа майор приехала из Москвы с поручением от Политбюро: посетить лагеря военнопленных на Украине и разъяснить нам, что обещания будут соблюдаться.

Нашего Макса спросили, когда можем начать представления и вообще — как мы принимаем это предложение, оно ведь нам никак не во вред!

«Ну, это уже совсем другое дело!» — откликается кто-то из пленных. Понятно, что у нас нет выбора, отказаться было бы только хуже. Да разве нас когда-нибудь просили помочь? По одному этому ясно, что дело серьезное. Офицеры прощаются и уходят, а мы остаемся здесь прямо на сцене и советуемся, как нам действовать. Если сможем репетировать каждый день, поставим оперетту через неделю. И приступаем к делу: музыканты приносят сюда свои инструменты, «актеры» достают тетрадки с переписанным ролями, и — беремся за дело, оно доставляет нам удовольствие.

На обед нас приглашает повар. Ну, ребята, мы теперь и вправду привилегированные! Политрук побывал, конечно, на кухне и позаботился о меню для нас. Густой суп, большие порции каши и хлеба ждут нас. Будем надеяться, что это не вызовет большого недовольства других пленных. Мы ведь хотим доставить им удовольствие, скрасить хоть на несколько часов тяготы неволи. А завистники есть везде. Большой кусок хлеба они увидят, а все трудности нашей работы им неведомы. Мы ведь должны не только играть на сцене; декорации, реквизит, даже костюмы — все надо изготовить своими руками. Конечно, помогут нам в слесарной мастерской на шахте, и столяр в лагере, и кладовщик, но, когда остальные будут спать, мы будем репетировать, мастерить и кроить до поздней ночи. Но, несмотря ни на что, это радость, большая радость!

Наконец все готово. Оперетта идет с полным успехом. Нас вызывают на сцену по нескольку раз, и, как в настоящем театре, артисты празднуют премьеру. В тот же вечер я написал письмо родителям и брату.

Здесь — выдержки из него.

> *«Дорогие родители, дорогой брат!*
>
> *…На днях была Пасха. Хотя традиционных пасхальных празднеств здесь не было, все же у нас царило праздничное настроение. А самое интересное — это был наш спектакль, оперетта, в которой я играл хозяйку гостиницы.*
>
> *…Здесь заботятся и о нашем отдыхе, бывают концерты, театр, доклады и т. д. Есть и хорошая читальня с соответствующей библиотекой. Так что не беспокойтесь, со мной все хорошо. Увидите сами, когда я*

однажды предстану перед вами.

Дорогой папа, не беспокойся о том, что мне не хватает отеческой руки, которая ведет и направляет. Здесь есть товарищи, которые опекают меня, я бы сказал, воистину по-отечески, поддерживают меня и указывают мне верный путь.

…Мы хорошо зарабатываем, и я могу покупать себе дополнительно масло и особенно сладости; вы знаете, как я их люблю. После того как здесь была проведена денежная реформа, мы можем, как и местное население, покупать всё без карточек или талонов.

Благодаря тому что нам регулярно доставляют газеты из Германии, мы с большим интересом наблюдаем за событиями у вас. Напряженно следим за переговорами о нашей любимой родине… И я хочу призвать вас: не дайте разорвать нашу родину на части! Становитесь в ряды тех, кто выступает и борется за единство Германии. Поддержите их в этой борьбе! Потому что обрести свое место под солнцем заново мы сможем только в том случае, если будем едины!..»

Как родной отец

Вообще-то я уже не хотел лезть в политику. У нас ведь здесь кроме информации из газет каждые два-три дня устраивают политинформации. Вот сегодня первый раз выступал бывший военнопленный — с пламенной речью за единство немецкого отечества. Он работает в каком-то комитете, который хлопочет о том, чтобы из четырех оккупационных зон сделать единую Германию, в которой наконец-то воплотятся повсюду достижения социалистического рабочего движения. Его потому и отпустили из плена досрочно, чтобы он там на родине помогал наметить правильный путь. А те из нас, сказал он, кто желает отдать все силы возрождению Германии на социалистических началах, должны добровольно заявить об этом. Их пошлют на курсы в специальную школу в Москву, где хорошо подготовят к выполнению этой задачи в Германии, которая, правда, пока еще оккупирована…

Заманчивое дело — попасть поскорее домой таким способом! И я впервые всерьез спорю с Максом, когда мы возвращаемся к себе в комнату. Макс пытается объяснить мне, как в Москве будут вколачивать в меня идеологию, воспитывать из меня послушного коммуниста. А я вижу все это по-другому, я просто хочу поскорее домой. К его доводам я остаюсь совершенно глух, а когда к тому же нагло обзываю его закоренелым нацистом, Макс сгребает меня и дает хорошую затрещину. Слава Богу, мы одни в комнате.

Получив оплеуху, я заупрямился еще больше и готов был тут же бежать — подавать заявление, ехать в Москву… А Макс крепко держит меня и умоляет послушать его. «Я обещал твоим родителям заботиться о тебе, а ты что?» Макс совершенно вне себя. В комнату входит Манфред, дирижер оркестра; он, кажется, нашу перебранку услышал. «Послушай, Вилли, не делай глупостей! Если коммунисты тебя раз зацапают, обратно не выберешься. Макс прав, что не пускает тебя в Москву. Останемся все вместе! Вот увидишь, долго держать нас тут Иваны не смогут».

«А может быть, я смогу как-нибудь помочь вам, если буду в Москве, а вы — еще здесь, за колючей проволокой!»

«Эх, Вилли, да ты пойми! Москва манит, я это понимаю, очень даже хорошо понимаю, но ведь это не выход. Ты здесь видел хоть одну газету из английской или американской зоны? Нет! А все, что они нам тут преподносят, это же пропаганда из Восточной Германии. Ты же получаешь почту из дома. Тебе там ничего не бросается в глаза? Верно, мы никогда еще откровенно

об этом не говорили, но уверяю тебя, честно: не хотел бы я, чтобы Иваны верховодили и у нас дома, с меня хватает — здесь…»

Макс положил руку мне на плечи, обнимает меня, как мог бы обнять отец. И я мирюсь с Максом, я забуду, что он дал мне затрещину, может быть, это меня встряхнуло, пробудило от иллюзий. И мы идем на ужин вместе. В мои двадцать годков я ведь иногда воображаю, что все уже знаю сам, но если задуматься всерьез, то без Макса я — никто и одному мне с окружающими меня трудностями не справиться.

И снова — из письма домой:

«…Надежда на скорое возвращение, еще до конца этого года, крепнет! Обо мне не беспокойтесь, я чувствую себя по-прежнему хорошо. Вес уже больше 70 кг, рост 180 сантиметров! Вы просто удивитесь, когда увидите меня таким.

О моем участии в театральной группе вы уже знаете. Я бы очень хотел, чтобы вы могли увидеть меня на сцене, как я пою и играю женскую роль. Теперь мы собираемся поставить «Цыганского барона»…

Когда вернусь домой, никакой работы бояться уже не буду. Я многому научился в Советском Союзе. Прислушивался и глядел в оба, так что хорошо узнал и оценил русский народ. И теперь умею говорить и читать на их языке, хотя, конечно, еще не очень хорошо…

Я уже писал вам о моем товарище по имени Макс Шик, и он передавал вам приветы. Он заботится обо мне и следит, чтобы меня не заносило. Он мне здесь как второй отец. Вы еще познакомитесь с ним…

Ваш Вилли».

А унылая лагерная жизнь продолжается, дни похожи один на другой, только иногда снова приходит тот же слух: может быть, мы все-таки будем дома еще в 1948 году, к Рождеству! Слух вроде бы подкрепляется — человек 200 или 300 не самого крепкого здоровья отправляют из лагеря, в западном направлении! Подозрительно, правда, что нового обмундирования им не выдают, а на их место прибывают пленные из другого лагеря. Нам объясняют, что добыча угля важнее всего, а новичков взяли из колхозов и второстепенных работ.

Это правда, да только мы не верим, что наши товарищи уехали домой, потому новенькие рассказали, что в их «колхозный» лагерь привезли других пленных.

Но в лагере спокойно, никаких волнений, которых так боятся

русские. Начальство снова разрешает футбол; играть будут две команды — одна из живших в Рурской области, другая — из Силезии. И число зрителей не ограничивают — может пойти любой, кто хочет и не занят в смене. Судит матч местный житель из Макеевки. Охранников немного, следят они больше за тем, чтобы к нам не подходили местные жители. И конечно, чтобы кто-нибудь из пленных не собрался «не в ту сторону».

Почти регулярно получаю почту из дому, по два-три письма в месяц, просто замечательно. Правда, письма и открытки идут по месяцу или даже дольше, но я все равно счастлив, когда их получаю. В этом августе у моих родителей будет «серебряная свадьба», я готовлю по этому случаю рисованную открытку; Макс ее, конечно, тоже подписывает.

Неужели — домой?

В воскресенье 22 августа после утреннего супа наша «бригада артистов» собралась в зале, чтобы договориться о сегодняшнем концерте. Стоит прекрасная солнечная погода, а мы уже не раз подумывали, нельзя ли устроить сцену на свежем воздухе, чтобы смотреть наше представление могли все пленные сразу. Политрук уже не раз обещал позаботиться об этом, но дело так и не сдвинулось. Репетируем, Манфред Ройшель, как всегда, уверенно командует. И тут в зале появляется наш «комендант», Макс Зоукоп. Вроде бы в этом нет ничего особенного, он частенько заходит к нам на репетиции, но сегодня он пришел неспроста. У него для нас фантастическая новость.

Вас, артистов, говорит Зоукоп, кухонный персонал и всех, кто последние месяцы хорошо работал в лагере и на шахте, должны освободить в ближайшие дни. Новых людей на кухню уже назначили, их уже вводят в курс дела. Начальство, «надзор» на шахте — немецкого оберштейгера и еще нескольких человек заменят в ближайшие дни, и тогда — поехали! На запад! Мы буквально вне себя от радости, но начальник велит нам помалкивать, чтобы не вызвать паники среди других пленных, чья очередь еще не настала. Ведь русские все еще боятся беспорядков…

Но как бы там ни было, а концерт мы сегодня проводим замечательно. Чтобы как можно больше наших товарищей могли его посмотреть, повторяем представление после обеда и еще раз вечером. Мы так раскованны, что наше настроение передается зрителям. В зале много русских, даже солдат из охраны, и мы немного обеспокоены: наверное, политрук все же нам не очень доверяет. Но все равно — настроение прекрасное.

После второго представления Макс, дирижер Манфред, аккордеонист Вольфганг и я прохаживаемся по дорожке и мечтаем — как мы будем праздновать Рождество дома. Один Вольфганг в печали: он так и не получил ответа из дому ни на одну свою открытку. Он боится, что никого из своих не застанет в живых, ведь в Бреслау были страшные бои, весь город, можно сказать, сровняли с землей. Мы стараемся его утешить, а Макс просто приглашает его — если никого на месте не найдешь, езжай ко мне!

…Дело к полночи, а нам не до сна. Подошел Зоукоп; сказал, что завтра утром никому на работу не идти, русские наконец-то

начинают «мероприятие». Мы с Максом возвращаемся к себе в комнату. Он как лег, так сразу и заснул, а я никак не могу уснуть. Как хорошо, что Макс отговорил меня поступать в политшколу в Москве. Ведь мы теперь прямо отсюда поедем домой. Домой! Наверное, я все же заснул, проснулся от шума. Что там такое? Это громкоговоритель объявляет: утренней смене на работу не идти, в семь часов утра — общее построение на плацу! А сейчас часа четыре. «Можно еще крепко поспать, — рассуждает Макс, — ночная смена раньше восьми с шахты не приходит». И я засыпаю.

Просыпаюсь от запаха — уже утро, кто-то из соседей уже принес с кухни суп. Умываться сегодня не пойду — я же не был вчера на шахте, да и воды в умывальнике вечно не хватает, пусть уж достается ночной смене. Идем с Максом на кухню, приносим завтрак. За столом дискуссия — что там еще скажут на построении?

Часов в восемь ночная смена вернулась в лагерь, и Макс Зоукоп открыл собрание радостным известием: сегодня начинается подготовка к освобождению. Тут же слово берет политрук. Хвалит нас за хорошую работу на шахте, за дисциплину в лагере и вообще. Объясняет, что везти нас через Польшу и всех разом опасно, там на железной дороге бывают нападения вооруженных банд, поэтому ответственные товарищи решили отправлять нас группами по 100–150 человек на судах из портов Черного или Азовского моря. Первая группа отправится уже завтра или послезавтра.

Слушают его спокойно, но, когда вперед выходит наш «комендант» с первым списком в руках, беспокойный гул нарастает. Сначала он объявляет, что следующие списки будут вывешиваться на доске объявлений у конторы, и начинает читать фамилии. Вот и моя — Биркемайер! — ведь буква «Б» в самом начале алфавита… Я готов кричать от радости, но горло перехватило, колени трясутся. А где же Макс Шик, мой верный друг, мой второй отец, которому я стольким обязан? А он стоит в компании ждущих своего жребия и что-то спокойно обсуждает. Бросаюсь к нему, обнимаю его, шепчу: «Тебя сейчас тоже…» — и тут же слышу его громкий спокойный голос: «Да, здесь!»

Значит, едем вместе, больше мне ничего не надо.

Список читали довольно долго. Кто-то говорит, что фамилий больше чем 150, наверное, не меньше двухсот. У тех, кого не вызвали, кому ждать следующей отправки, вытягиваются лица, а у тех, кто поедет с нами, — сияют. Мы просто не в силах совладать с нашим счастьем; человек двадцать из нас только что пришли с ночной смены — так они еще даже не мылись, только

теперь собираются в умывальную.

Сразу видно, что наша группа составлена не случайным образом. Все, кто работал на кухне, все «артисты», специалисты из мастерских. И еще в нашей группе — это сразу бросается в глаза — вспомогательная охрана, пленные, которые были в помощниках при русских солдатах. Это что, «все, кто хорошо работал»? Спрашиваю об этом Макса, никакого объяснения мы не находим, ну и черт с ним! Главное — мы поедем домой!

Еще раз вызвали каждого по фамилии, велели в таком же порядке идти в кладовую, получать обмундирование. Выдают все новое, даже нижнее белье. Интересно, откуда у русских столько немецкого обмундирования? Наверное, захватили при наступлении, вермахту было уже не до балласта…

Мне опять досталась серая униформа, от авиации. Покончили с обмундированием поздно, обед получали вместе с вечерним супом, но многие даже есть не хотят, такой уж это был беспокойный день…

Только начинает темнеть, как опять включается громкоговоритель: нам велят построиться на плацу. Что там еще за новость? Оказывается — еще какая! Нам приказывают взять шинели, у кого есть — личные вещи, и через полчаса, снова по пять человек в ряду. Наш «комендант» Зоукоп и *Starschina* в голове колонны — мы выходим маршем за ворота лагеря. Оставшиеся смотрят с недоумением нам вслед.

Маршируем в темноте, без охраны, без часовых. Макс сказал, что идем на вокзал. На вокзал без охраны? Ну, конечно, мы же едем в Одессу или в какой-то другой порт, где нас ждет корабль, мы поплывем в Германию! Никто, наверное, не маршировал раньше так радостно. Примерно через час приходим в Макеевку на вокзал, он совершенно пуст. Понятно, ночь, на работу еще никто не едет. Ждем на перроне.

Подходит пассажирский поезд, три вагона в нем — специально для нас. Все еще не верим своему счастью — неужели это за наши представления, за хорошую работу и дисциплину мы поедем домой раньше всех! Занимаем места без толкотни, хотя каждому хочется быть рядом со своими. И тут мы видим, что наш «комендант лагеря» не просто привел нас на станцию — нет, он тоже едет домой! Вот уж кто заслужил это, ведь как он о нас заботился, всегда защищал интересы пленных перед русским начальством…

Он садится вместе с нами, дирижер Вольфганг освобождает ему место, а сам он постоит — так лучше ощутишь свободу,

говорит Вольфганг.

Наш вагон отцепляют от поезда, куда-то передвигают, снова прицепляют. Наконец поезд трогается. Он идет без остановок и на рассвете приходит в портовый город.

8. Мариуполь

Наконец выходим из вагонов. Ни моря, ни порта не видно. Неужели Иваны опять сыграли с нами «шутку»? Нет, *Starschina* успокаивает нас и объясняет, как будет дальше. Мы пробудем здесь, в Мариуполе, несколько дней, пока не соберутся пленные из других лагерей — все «пассажиры» корабля, на котором нас отправят домой. Разместимся пока в лагере… Звучит логично. И мы направляемся к полевой кухне перед казармой, где нас ожидает завтрак — пшенный суп с мясом, пайка свежего хлеба и кружка крепкого чая. Кто хочет, может подойти за добавкой, и чая сколько угодно, и русские солдаты радуют нас, повторяя: «*Skoro domoj!*»

С полчаса наша колонна шагает мимо огромного металлургического завода. Наконец лагерь военнопленных, наше временное пристанище. Большая казарма с двухэтажными деревянными нарами. И вот первые недоумения: Макс Шик хотел выйти из казармы во двор, но выход преграждает постовой — нельзя! Тут же выясняется, что это лагерь венгерских военнопленных, что это они ждут отправки домой, а нас привезли им на смену! Макс буквально вне себя, мы не можем поверить, что нас так бессовестно обманули. А что нам обещал в Провиданке офицер-политрук? Свинья, подлец, сволочь такая! Нарастает возмущение, кто-то говорит, что надо бунтовать, но ему напоминают про то, как нас однажды предупреждали: «Охрана применит оружие!» Эх, ощутили мы было немного свободы, вот и хватит. Видно, оставаться нам здесь в плену, на берегу Черного моря… А чего еще нам ждать?

Что Мариуполь на Азовском, а не на Черном море, мы тогда еще не знали. И с нетерпением ждали возвращения нашего старшего, Макса Зоукопа, которого сразу же позвали в контору лагеря.

Владимир Степанович и его лагерь

Проходит еще несколько часов. Наконец нас зовут в зал. Там Макс Зоукоп вместе с венгерским комендантом, потом появляется русский начальник — пожилой человек, ему, наверное, не меньше шестидесяти, и с ним еще два офицера и молодая женщина в офицерской форме. Первым говорит русский начальник лагеря, переводчик-венгр повторяет нам его речь по-немецки. Судя по погонам начальника, он всего лишь лейтенант, но похож на заботливого отца. Извиняется перед нами за то, что прибыли мы к нему в лагерь, наверное, с ложными надеждами. Но это не его вина. Пленных венгров действительно отправляют домой, Советский Союз хочет этим помочь братскому народу поскорее залечить раны от развязанной Гитлером войны. А наше возвращение домой откладывается ненадолго, отпустить всех пленных сразу советская власть не может, это же сотни и сотни лагерей…

Еще он говорит, что рад таким квалифицированным людям, которым предстоит принять лагерь от венгров, когда они уедут. Что он будет заботиться о наших условиях жизни и что мы должны помочь ему сохранить добрую репутацию лагеря. Здесь есть разные мастерские — например, столярная, изделия которой хорошо продаются в городе. И мы не должны удивляться «крестьянскому хозяйству» на территории лагеря — там держат свиней; все это для того, чтобы условия жизни и питание пленных сделать как можно лучше.

Поразительное дело — слышать такое от русского начальника лагеря! Если хотя бы половина из того, что он говорит, правда, то мы и в самом деле на пути к свободе! Пусть это будет после венгров, но ведь почти четыре года плена уже позади, оставшиеся несколько месяцев как-нибудь потерпим! Не могу не поверить такому обходительному начальнику лагеря.

Сегодня для нас предусмотрена только «экскурсия». Идем и удивляемся; нам казалось, что большего порядка и чистоты, чем в Макеевке, и быть не может, но этот лагерь — прямо-таки образцовый. А может, так оно и есть? Разве можно было такое себе представить — вот отгороженный лужок, и там бегают три свиньи! Вот и столярная мастерская, там настоящую мебель делают, наверное, на радость здешним офицерам, но ведь старик лейтенант правду сказал. Ну, а завтра посмотрим, какая нам предстоит работа, куда нас здесь распределят.

Сначала отобрали двенадцать человек на кухню, потом

двадцать с лишним специалистов, в том числе автомехаников, в мастерские при лагере. Тут свои грузовые автомашины и офицерские вездеходы, обслуживают их и ремонтируют здесь же, в лагере. Электриков тоже взяли в бригаду при лагере, ничего подобного в Макеевке не было. Наших штейгеров, горных мастеров с шахты, возьмут на завод, старшими бригад, наверное. Ну, а «вспомогательную охрану» из пленных — понятное дело, к их венгерским коллегам, для них здесь в лагере есть отдельный дом. Для нас они — все равно доносчики, лучше не иметь с ними дела.

А девять человек, меня в том числе, назначили работать при управлении лагеря. Перед этим русский офицер проверил, понимаем ли мы по-русски. Я уже могу читать по-русски и пытаюсь писать, и венгерский начальник берет меня в «отдел труда и нормирования». Дело в том, что заводские цеха должны платить лагерю за работу военнопленных, и задача этого отдела состоит в том, чтобы рассчитывать их заработок. И еще — участвовать в «разнарядке», в распределении пленных по рабочим местам, чтобы квалифицированных рабочих использовали на заводе как можно эффективнее. Совершенно новое дело для меня. Чем я только не занимался за эти четыре года! Рисовал плакаты, обивал кирпичи, был каменщиком и штукатуром, строил дорогу, монтировал фонарные столбы, чистил уборные, работал на шахте забойщиком и подручным слесаря, играл женские роли на сцене — и вот теперь я «нарядчик» в отделе труда; моя новая обязанность — распределять людей по цехам и разным работам.

Венгерские товарищи очень стараются ввести нас в курс дела. Что не так просто — между нами языковой барьер. Мало кто из венгров говорит по-немецки, объясняться друг с другом по-русски мы вообще-то не хотели бы, но ничего другого нам не остается. А я тут же решаю научиться хоть немного венгерскому. Тут же в конторе, в другой комнате, нашел пожилого венгерского пленного Имре, который прекрасно говорит по-немецки. А он рад поучить меня.

Я вернулся в нашу комнату раньше, чем Макс пришел с завода после смены. С нетерпением жду новостей от него. Сначала он рассказывает, что это за огромный завод, *Zawod Imeni Iljitscha,* там работают почти сорок тысяч человек! Пленные из нашего лагеря едут на работу полчаса товарным поездом, по цехам расходятся с заводской станции, «вокзала». Работают на заводе не только военнопленные, там много людей из мест заключения, их охраняют отдельно. Вокруг завода — огромная

стена с многочисленными постами охраны, особенно тщательно охраняют железнодорожные въезды.

Макс был с бригадой, работающей в ремонтном цехе. Собственно говоря, назвать это цехом трудно — это целый завод, там работают 600 или 700 человек. Макс помогал там венгерскому пленному, ведающему кузницей. Русские рабочие ничего не делают, не спросив этого мастера, и Макс должен будет заменить его, если венгров действительно отпустят домой. От заводской станции, куда пришел поезд из лагеря, колонна пленных шла к цеху минут двадцать, если не все полчаса. Макс рассказывает обо всем этом так подробно, чтобы я мог представить себе, что за громадина этот завод.

Когда 3 сентября 1948 года я пишу очередную открытку родителям, я все еще верю, что в этом году встречу Рождество с ними вместе. Наступает осень, последнее тепло еще радует нас, но скоро вся земля здесь укроется белым покрывалом. И с приходом осени все ближе день освобождения. Конечно, я хотел бы попасть домой пораньше, но что-то наш поезд задерживается… Может даже случиться так, что Макс Шик попадет домой раньше, чем я.

Да, Макс подхватил сильный бронхит или даже воспаление легких. И ему никак не становится лучше, а из этого нашего лагеря больных теперь, если они уже могут сами передвигаться, отправляют домой. Я от всей души желаю Максу уехать, но еще я очень хочу, чтобы он был со мной до моего освобождения… И происходит чудо: венгерский врач ставит Макса на ноги, да так здорово, что вскоре Макс уже может вернуться в свой цех. У него ведь железная воля, слава Богу. Может быть, и он не хотел расставаться со мной?

Напоминают о себе неприятности, после которых я оказался в Киеве в лазарете. Как только попадаю в какой-нибудь переплет, начинаю опять заикаться. Правда, репетиции и выступления «театральной бригады» здорово мне помогли. Да еще мои старания научиться говорить по-русски, а теперь вот еще и венгерский язык. И вот что непонятно: заикаюсь только в тех случаях, когда говорю по-немецки. С чего бы это? Не слежу за речью, что ли? Макс тоже не знает, а больше спросить некого. Противная штука это заикание…

А работа в отделе труда доставляет мне огромное удовольствие. Я ведь никогда ничем таким не занимался. А венгерский коллега Ференц так усердно и подробно мне все объясняет, что можно подумать — не боится ли он, что его не

отпустят домой, если я не войду в курс дела на все сто процентов.

Мартеновский цех

Сегодня в первый раз Ференц взял меня с собой на завод, в цех. Едем в товарных вагонах в пять утра, с первой сменой. Езды до завода полчаса, поезд наш не единственный, прибывший до шести часов утра. Тысячи мужчин и женщин вылезают из вагонов; позже я замечаю, что мужчины и женщины строго разделены; вокруг прохаживаются часовые. Ференц объясняет мне, что все эти русские рабочие — заключенные или работают здесь не по своей воле. Смотрю на их лица и не вижу ни единой улыбки, ни малейшей радости. Что за преступления они совершили?

Их ведь насильно угнали в Германию, на принудительные работы, и было им там, наверное, несладко. А теперь у себя на родине — трудиться опять по принуждению? Это ведь жестоко, бесчеловечно. Хотел бы я знать, что они сами о таком обращении думают! Пробую заговорить об этом с Ференцем, но наших языковых познаний для такого разговора не хватает…

Мы пришли в цех мартеновских плавильных печей, сегодня здесь у Ференца дело к бригадиру ремонтников, а я должен пока что просто слушать. Цех громаден, ряды мартенов кажутся бесконечными. Очень жарко, отовсюду бьет пламя, летят искры, повсюду клубы дыма и пыли. Рабочие в защитной одежде орудуют с раскаленным добела, а то и жидким железом. Только и гляди, чтоб не попасть в какую-нибудь канаву с еще не остывшим металлом. Неужели в такой кутерьме получается такая, как нужно, сталь?

Одна из печей на ремонте — меняют огнеупорную кладку у нее внутри. Удаляют старую прогоревшую и кладут новую наши пленные, поэтому мы сюда и пришли. Наконец мы дошли до кабинета начальника; сразу видно, что они с Ференцем хорошо знают друг друга, Ференц представляет и меня — вот он меня сменит. Бородатый хозяин кабинета глядит на меня с явным пренебрежением. Ладно, не каждый же день мне к нему ходить… А с Ференцем они тем временем буквально вцепляются друг в друга. Пленные, доказывает *Natschalnik*, ремонтируют печь медленно, норму не выполнили! Значит, завод лагерю за эту бригаду ничего не должен… Так они орут друг на друга, а я держусь в стороне. И вдруг могучий бас бородатого смолкает: Ференц, оказывается, знает, что тот каждый день «продавал» до десятка пленных из ремонтной бригады на другие работы. Начальник явно не рассчитывал, что Ференц об этом узнает. Они спорят еще некоторое время, но уже потише, и вот — начальник

уже достает из шкафа бутылку водки, чтобы скрепить примирение.

Такой ход дела Ференц явно хорошо освоил, а бородатый проглотил свою порцию так, что я бы мог подумать — тут бутылка и кончится. Мне тоже наливают, и я глотаю водку, чтобы не испортить отношения с первого же дня. По мне, то лучше бы ее сразу выплюнуть, так жжет в горле. А на чем они поладили, Ференц обещает рассказать мне на обратном пути.

Следующая наша встреча — в бараке неподалеку, там работают за письменными столами всего три женщины. Здесь Ференц навещает свою подругу Любу. А мне предлагает до отхода нашего поезда — это примерно через четыре часа — посмотреть завод. «Встретимся у вагона!» А если меня остановят и спросят, что я здесь делаю, показать лагерный пропуск и что-нибудь наплести. Интересно, Ференц — исключение или у всех венгерских военнопленных есть на заводе подруги? Вчера Макс уже что-то такое говорил…

Четыре часа прошли быстрее, чем я думал, вряд ли я успел повидать весь огромный завод. А когда возвращался на станцию, приходилось, вызывая усмешку у идущих со смены, даже спрашивать дорогу. На обратном пути вагон не так уж полон, многие пользуются этим, чтобы немного соснуть в дороге. Ференц принес мне целый кулек яблок от своей подруги Любы, и несколько яблок мы съедаем тут же — я ведь ничего весь день не ел, Ференц забыл мне сказать, что суп в обед надо было получать в том цеху, где мы с ним были утром. Еще он просит не забывать, что у нас с ним теперь секрет, чтобы я никому не проговорился о его свидании. Разумеется, я не стану болтать. Но почему этого надо бояться? Русским не разрешается дружить с пленными и заводить романы? Наверное, за это сажают в тюрьму или отправляют в штрафной лагерь, в Сибирь… И я обещаю — никому ни слова, даже Максу. Ференц доволен.

А в лагере меня ждет сюрприз. У Макса в руках — он вернулся с работы раньше — чуть не пачка почты для меня: письмо и семь открыток, вы только представьте себе — целых семь, от родителей, от друзей и знакомых! И ведь адрес на них — прежний лагерь, в Провиданку. Это же надо — почту для пленного пересылать в другой лагерь! Шапку я должен снимать перед русской почтой…

Надо будет и моим домашним написать про это чудо. Вот только с писчей бумагой дело плохо, не говоря уже о конвертах, их, можно сказать, не существует. Но я добыл на кухне вареную

картофелину и ею намазываю края бумаги — в детстве так клеили «голубей», а здесь получается что-то вроде конверта. И пузырек с разведенной марганцовкой, это вместо чернил еще с шахты, берегу как зеницу ока. А новости из дому мы всегда обсуждаем с соседями по комнате, всем ведь интересно.

На следующее утро мне в завод не идти. Мы с Ференцем остаемся в конторе и пишем отчет про вчерашнее. Ференц докладывает, о чем он договорился с Иваном Федоровичем — так зовут бородатого начальника цеха. Мартеновскую печь начали разбирать слишком рано, она еще не остыла, поэтому огнеупорные «кирпичи» внутренней обмуровки невозможно было сортировать вручную. А на подсобные работы, которые пришлось выполнять, пока обмуровка остыла, нет нормы выработки. Однако с Ивановичем договорено, он их «запишет», так что лагерь свои деньги получит…

Разумеется, Ференц стряпает эту важную чепуху сам, а я пока могу написать письмо домой.

«Советский Союз, 14.11. 1948

«Мои дорогие родители, дорогой брат Фриц!

Получил от вас сегодня семь открыток и письмо. Товарищи завидуют — везет, мол, тебе! И правда, удача мне пока сопутствует, вот только в одном не везет — домой не отпускают.

Здесь была прекрасная осенняя погода, никогда еще не было такой хорошей осени, но в последние дни похолодало, хотя солнце стоит еще высоко. Сегодня утром выпал первый снег. В прошлом году в это время уже давно лежал снег. Если станет совсем холодно, надену меховой полушубок, а пока хватает ватника и толстой шапки на меху. Так что ты, мама, не бойся — я тут не замерзну. И обувь у меня хорошая, и одежда в порядке — за этим следит Макс, я ему за многое должен быть благодарен. И белье у меня всегда чистое, об этом заботится мой друг Гейнц из Бохума, он здесь ведает прачечной.

Сегодня воскресенье. Играет радио, одни читают свежие газеты, кто-то из моих товарищей читает книжку, а другие, как и я, пишут письма на родину, своим близким.

Мамочка, ты пишешь, что вспоминаешь меня маленьким, лежащим в кроватке с румяными щечками и пальцем во рту. Щеки у меня румяные по-прежнему, а вот палец сосать я уже отучился! А что до подружки, то можешь, мама, не беспокоиться. За эти четыре года я

хорошо понял, что такое родители и родной дом. Вот Макс тоже говорит, что когда я узнаю вкус любви по-настоящему, то все остальное пойдет прахом. Нет, нет — уж я-то себя лучше знаю. Хорошо помню то время в Моравской Остраве, когда по воскресеньям я гулял один или ходил с тобой, дорогая мама, в театр. Если теперь я уже вырос, стал молодым человеком, то в смысле моего поведения мало что изменилось.

А теперь обращаюсь к тебе, дорогой братец!.. Вот ты пишешь, что можешь хорошо себе представить, как девчонки пожирают меня глазами, когда я стою на сцене. За эти годы я работал вместе со многими русскими женщинами. С тех пор как я играю в спектаклях и мне разрешено носить прическу, приходится слышать, как они говорят про мои «золотые кудри», — я ведь уже хорошо говорю по-русски и понимаю такие «комментарии». Одна молодая женщина сказала обо мне: «Какое счастье для матери — иметь сына с такими кудрями…»

Как я уже сказал, я теперь хорошо знаю русский и благодаря этому свободно общаюсь с русскими, со всеми рабочими и работницами, и отношения с ними у меня самые хорошие.

Ну, на сегодня хватит. В надежде, что скоро окажусь в поезде, идущем домой, сердечно вас приветствует и целует

Ваш Вилли».

Венгры едут домой

А в лагере вот уже несколько дней неспокойно. Русские ведь пообещали нашим венгерским товарищам по несчастью, что их вот-вот отпустят домой, чтобы они участвовали в восстановлении Венгрии, а теперь говорят, что сначала поедут только те, кто послабее. Это что же значит — Венгрию восстанавливать слабосильным да хворым? Все чувствуют, что вот-вот может что-то произойти, вплоть до беспорядков. Венгрия ведь теперь для Советского Союза братская социалистическая страна, как и Польша, Болгария, Румыния, Югославия и, не забудьте, Восточная Германия. И как-то не очень сходится одно с другим — вот социалистические братья, а держат их в плену.

Наши венгерские товарищи волнуются, собираются в группы и о чем-то шепчутся, спорят, видно, что бурлят страсти. А заводское начальство жалуется, что они уже почти не работают. Но русские офицеры в лагере держатся подчеркнуто спокойно, наверное, так им велено Владимиром Степановичем. Один из венгров сказал мне, что сегодня вечером к начальнику лагеря идет их делегация и будет требовать, чтобы им ответили точно: когда их отпустят домой. А Макс слышал, что если дело с отъездом венгров не сдвинется, то будет забастовка. Боже упаси! Как сказал политрук, когда в Провиданке опасались беспорядков? «Охрана применит огнестрельное оружие!» Ох уж эти венгры с их горячей кровью и цыганской музыкой…

Все с нетерпением ждут вечера. На раздаче ужина все еще спокойно, но мне не нравится, что сегодня почему-то очень уж много здесь офицеров. И никто из нас их не знает. Но вот объявляют по громкоговорителю: всем военнопленным построиться на плацу. Владимир Степанович в сопровождении чуть не целого отряда офицеров поднимается на сцену, где в хорошую погоду устраивают концерты. Венгерский комендант, переводчик и наш Макс Зоукоп — тоже с ними.

Владимир Степанович объявляет коротко и ясно: подготовка к отправке на родину венгерских военнопленных начнется еще сегодня ночью. Просит всех соблюдать спокойствие и надеется, что вагоны будут подготовлены в дальнюю дорогу, чтобы все там было как надо, за три-четыре дня. А нашего Макса и нас всех он просит отнестись с пониманием к тому, что мы сможем оставить лагерь и двинуться в путь на родину только через несколько месяцев. А чтобы металлургический завод мог работать как полагается, наш лагерь пополнят на днях немецкими

военнопленными. И он просит нас, уже старожилов, помочь новичкам освоиться в нашем лагере и на заводе…

И в самом деле, этой ночью в лагерь приходят грузовые машины с новым обмундированием. Выдавать его уезжающим начинают с самого утра, уже к обеду две тысячи человек одеты во все новое; зимние шинели у многих — буквально до пят. Человек сто наших отправляют на железную дорогу, где стоят вагоны для венгров, — их надо оборудовать нарами, печами и всем прочим — из расчета сорок человек в каждый вагон. На следующий день туда посылают уже чуть не всех немцев, нас с Максом Шиком, разумеется, тоже. Вот это работа в удовольствие! И за три дня — все сделано. Пусть это еще не для нас, но ведь что-то уже происходит! Значит, когда русские повторяют: *skoro domoj*! — это они серьезно!

Мы с Максом устанавливаем печки — такие же, как были в вагонах, когда нас везли из Киева в Сталино. Все надо было по плану закончить сегодня, мы бы и управились, если бы материалы подвезли вовремя… Первая колонна венгров уже подходит к поезду, а несколько вагонов еще не готовы. И главное — нет вагона-кухни, его почему-то не доставили. Как же отъезжающие будут питаться? Ну, сегодня можно привезти еду из лагерной кухни, а что потом?

Ничего! Русские солдаты находят выход, они ведь чемпионы мира по таким импровизациям — тянут сюда тягачом полевые кухни, их затащат в отдельный вагон… Одна из кухонь теряет колесо, но и это не беда — солдаты тут же мастерят каток из какого-то пня, и дело заканчивается благополучно. Всё! Вагоны оборудованы, венгры грузятся в них и наконец-то отбывают к себе на родину.

Прежде чем в наш лагерь снова прибудут, как объявлено, пленные немцы, мы, остающиеся, целых две недели приводим помещения в порядок. Могли бы, конечно, убрать и сами венгры, но кто же попрекнет их теперь, когда отпустили домой после стольких лет плена.

И вот я стою один в «отделе труда и нормирования», вокруг десять пустых столов и стол начальника отдела. Ференц еще успел перед отъездом передать мне целую гору папок с документами, пытался что-то объяснять, но мысли его были уже не здесь… А где — дома или с подругой Любой? Ведь когда объявили об отъезде, он мог побывать на заводе еще раз, с его пропуском можно поехать туда из лагеря без сопровождения. Наверное, я об этом еще узнаю, когда буду там работать.

А пока что стою перед горой бумаги, что-то на полках, что-то в шкафах, а что в этих папках? Раскрываю одну из них — все бумаги в ней на русском, рукописные пометки на них — явно венгерские. Что мне с ними делать? Сижу и размышляю, с чего начать, чтобы хоть наполовину разобраться во всем этом. Неожиданно появляются Макс Зоукоп и Владимир Степанович — они обходят лагерь, зашли и сюда. Пытаюсь объяснить ситуацию — это же важный отдел, он ведает поступлением денег для лагеря. Тут же выясняется: Владимир Степанович не знал, что венгры просто так мне всё оставили. А что же делать? Нужен же кто-то, кто не только читает, но может и писать по-русски. Начальник лагеря соглашается и говорит, что мне помогут. А пока что…

Они ушли, а я уселся за стол начальника отдела и стал смотреть его бумаги. Тут, слава Богу, больше порядка, нахожу главное для меня сейчас — перечислены все цеха и участки, куда мы должны посылать людей. Есть и фамилии соответствующих русских начальников, номера их телефонов. Листаю бумаги дальше, смотрю, что в папках, и постепенно прихожу к выводу: всю гору бумаг оставить как есть и начать все заново. Составил черновой план — что мне надо делать, и пошел к Максу советоваться.

Макс в слесарной мастерской — гнет водопроводную трубу для русского офицера, она ему нужна дома. Рассказал, с чем пришел. Макс не читает и не пишет по-русски, но совет может дать по любому делу. Так и на этот раз. «Пока не прибыли новые пленные, — говорит Макс, — обойди на заводе все цеха и участки, постарайся познакомиться с каждым *Natschalnik* лично, и пусть он тебе скажет, сколько ему нужно людей из нового пополнения».

Верно, как завод должен будет платить, этим можно заняться потом, а сейчас надо точно знать, сколько и куда потребуется людей. Но надо еще узнать, как я попаду на завод, — поезда пойдут теперь только после прибытия пополнения. И ведь две тысячи человек в один день не приедут. Я с интересом смотрю, как Макс орудует с раскаленным железом, остался бы посмотреть еще, да нельзя — надо позаботиться о поездке на завод.

Пошел к коменданту Зоукопу в его кабинет, рассказал, в чем дело. Он повел меня к Владимиру Степановичу, тот сразу понял, позвонил по телефону, позвал старшину; раз-два, и все улажено: завтра утром машина отвезет меня на завод, а после обеда заберет обратно в лагерь. Вот, Владимир Степанович отнесся ко мне по-отечески, обращался ко мне — Витька, или *Maltschik*.

Сказал — если что не выходит, обращайся сразу ко мне. У него здесь можно и забыть, что ты в плену, так все здорово получается. *Starschina* напоминает — завтра в шесть утра у лагерных ворот.

А после вечернего супа мы еще долго беседуем с Максом. И он повторяет снова и снова: не забывай записывать все, о чем будешь договариваться с русскими начальниками. Договоры ведь заключают позже, и все должно быть выяснено заранее. А я так возбужден, что не могу заснуть. Сумею ли справиться с такой работой?

Нина

Еще нет шести утра, а я уже жду у ворот лагеря. Под мышкой папка с запасом бумаги. Машина пришла минута в минуту. Водитель — совсем молодой солдат, из-под шапки, одетой набекрень, видны вьющиеся волосы. Поняли мы друг друга с первого слова. Он спросил, как меня зовут, назвал себя — Дмитрий, и — поехали! Хорошо, что на мне меховая шапка и полушубок, в военной машине холодно, ветер свистит сквозь щели. Дмитрий рад моему русскому, он-то думал, что объясняться придется на пальцах. Он родом из Новосибирска, рассказывает, что там бывают морозы до 45 градусов, но воздух такой сухой, что это лучше, чем здешние семь или десять… Подъехали к главному входу в завод. Сейчас около семи, мы договариваемся, что Дмитрий приедет за мной в 16 часов. Я показал пропуск и свободно вошел. Возможно, охранник и не знает, что я пленный — на полушубках букв «В.П.» — военнопленный — нет.

Прежде всего я иду к бородатому начальнику цеха, у которого уже был с Ференцем. Встретил его возле кабинета, стараюсь объяснить, зачем пришел, а он злится — почему всю неделю к нему не присылали пленных? Объясняю, что венгры уехали домой, а вместо них еще никого нет. Оказывается, Иван Федорович ничего об этом не знал и теперь негодует, что его не предупредили. И как он теперь должен выполнять план? Я записал все его пожелания и пообещал, что как только в лагерь прибудет пополнение, он первым получит рабочих. И тут он спросил, сколько мне лет. Я ответил, что скоро будет двадцать один год, и спросил — зачем ему это?

«Просто так, — отвечает. — А давно ты в плену?»

«Почти четыре года».

«Значит, тогда тебе было всего шестнадцать. Смотри, а здесь ты уже начальник! — Он громко смеется, хлопает меня по плечу: — А ты мне нравишься!»

Иван пожимает мне руку и напоминает, что рабочие в ремонтную бригаду нужны ему как можно скорее.

Опять на холод — иду из мартеновского цеха на заводскую электростанцию; там почти всегда работали человек двести пленных, в основном на разгрузке угля. Начальника нашел в энергодиспетчерской — в комнате, где сидят две молодые женщины, они записывают показатели со щита в какие-то

формуляры. Тут мне в первый раз предложили снять полушубок, усадили за стол, за которым работают женщины, дали чашку крепкого чая. Начальника Михаила Михайловича называют просто Мишей, про отъезд венгерских пленных он знает, ему присылали в помощь людей из лагеря заключенных, но их работой он недоволен. Миша подробно перечисляет, кто ему нужен. Прежде всего — электрики по силовому оборудованию, он хотел бы — человек 7–8; еще нужны слесари в турбинный зал и, конечно, крепкие парни — грузить уголь лопатами.

Пока я записываю, Миша беседует с женщинами, и я слышу, что их зовут Нина и Нелли. У Нины темные волосы с медным отливом, очень красивое лицо и ясные голубые глаза. Ничего, что я на нее так часто смотрю? Со мной что-то происходит, я ощущаю какую-то никогда не испытанную прежде симпатию к ней. Как там говорил Макс? «Когда узнаю вкус любви по-настоящему, все остальное пойдет прахом…» Что еще за чушь! Однако снова и снова стараюсь поймать ее взгляд, когда она отворачивается от пульта. Интересно, Миша заметил что-нибудь?

Он встает из-за стола, вопросов у него больше нет, и я могу идти в следующий цех. Я вежливо благодарю за чай, надеваю полушубок, шапку и выхожу. И тут же возвращаюсь, чтобы спросить, который час. Оказалось, скоро уже обед, а я ведь побывал только в двух цехах! Зато пока спрашивал время, еще раз увидел лицо Нины, такое красивое. Не выходит она у меня из головы, я уже размышляю, как мне попасть сюда еще раз, чтобы не бросалось в глаза, что это только из-за Нины. Это любовь меня поразила, что ли? Надо будет рассказать вечером Максу. А теперь — кто у меня там дальше по списку?

Следующий цех называется *Silikatny*. Здесь из кварцевого песка и добавок формуют и обжигают специальные «кирпичи» — огнеупорные плиты, которыми выложена внутренняя поверхность мартеновских печей. Они могут выдержать температуру до 1800 градусов и давление до 400 атмосфер. В этом цеху тоже работали человек 200–300 пленных. Начальника цеха нет, нашел я только бригадира; он сказал, что Петра Ивановича можно будет застать сегодня только в ночную смену. А у самого бригадира забот полон рот с заключенными, которых ему прислали вместо военнопленных. Еще он сказал, что Петр Иванович бушевал, когда двое суток ни в одну смену не вышли пленные и никто не мог сказать, что случилось. Организация работы по-славянски…

Начинаю ощущать голод. А в очередь на чужую раздачу стать нельзя, да и котелка или хотя бы консервной банки у меня с

собой нет. И я отправился в механический цех и кузницу, где с самого начала работал Макс. Там встретил Игоря Григорьевича, с ним я познакомился, еще когда приходил с Ференцем. Он как раз собирался обедать, принес и мне суп и пайку хлеба. В этом цеху работает не так уж много пленных, так что их отсутствие в течение нескольких дней начальника не очень обеспокоило.

До конца рабочего дня я пробыл у него. За горячим чаем с порцией водки время прошло быстро. Записал, сколько каких специалистов нужны в этом цеху. Здесь, между прочим, тоже работает немало женщин. Узнать издали можно их только по платкам, потому что мужчины носят шапки. А ватники и ватные брюки у всех одинаковые.

В условленное время Дмитрий уже ждал меня у ворот со своим экипажем, и мы поехали. «Ну, — спрашивает шофер, — хорошо провел день?» Сам он ездил к своей невесте и все это время был у нее. По его жестам легко догадаться, что он с ней спал. Нет, я про Нину ничего говорить не буду. Странно я себя сейчас чувствую. Кажется, влюбился в эту украинскую красавицу. А он, не умолкая, рассказывает про Сибирь, про то, что служить ему остается еще целый год. Нашел о чем горевать, я вот уже четыре года, как не был дома, слава Богу, хоть письма от родных получаю!

Приехали в лагерь, я — бегом к себе, чтобы рассказать Максу про Нину. А там — пустые лежаки, никого нет. Отыскал Манфреда, нашего «профессора» музыки. И он мне все быстро объяснил. По приказанию начальника лагеря наша концертная бригада опять должна давать представления. И мой Макс вместе с нашим комендантом Максом целый день занимаются этим делом. У венгров тоже был свой театр, артисты жили все вместе в отдельной комнате, и нам разрешили переселяться туда. Манфред взял меня с собой, а там наши артисты уже устраиваются. Кровати здесь отдельные, никаких двухэтажных, вот это да, еще лучше, чем в Провиданке. Настоящая роскошь — есть даже два кресла! Вообще-то они для сцены, но пусть стоят здесь, понадобятся на сцене — отнесем туда… А рядом, в соседней комнате, — длинный стол и скамейки по обе стороны, человек на двадцать. Это наш «класс» для работы. А за сценой нашлась кладовая со всевозможным театральным реквизитом и костюмами. Чего только не наготовил этот здешний начальник лагеря, Владимир Степанович!

Столько приятных неожиданностей, столько дел, что я никак

не могу отвести Макса в сторонку, чтобы рассказать о Нине — только ему одному. Наконец вышли с ним в коридор. Он ждал каких-нибудь неприятностей, а я ему про любовь, да, да, про любовь, про единственную! Макс ужасно обрадовался, обнял меня, говорит: «Я так желал этого тебе, мой мальчик, так ждал этого!»

И тут же стал давать мне советы — как бережно я должен с этим обращаться. Чтобы я не впадал в разочарование, если Нина не ответит или не сможет ответить на мои чувства, независимо от причин. Но важнее всего — чтобы никто ничего об этом не знал. Венгры рассказывали ему, Максу, что русские с такими вещами шутить не любят. Однако у многих венгров были здесь подруги, были и такие, что забеременели.

Что это Макс мне говорит? Я ведь еще не перемолвился с Ниной ни единым словом! Но видно, Макс хорошо меня знает, чтобы понимать: если я вбил себе что-то в голову, то буду добиваться своего, что бы там ни было. А я вспоминаю, как собрался было поступать в партийную школу в Москве, и скольких сил стоило Максу отговорить меня, и что ему пришлось даже дать мне затрещину. Я должен быть ему вечно за нее благодарен…

И я обещаю Максу не предпринимать ничего необдуманно, а пока что — ложиться спать. Но как мне заснуть? Ломаю себе голову, как устроить так, чтобы поскорее увидеть Нину снова. Ну, а как это было дома, когда я был влюблен в маленькую балерину? Нет, тогда было совсем другое. Ну, провожал из театра. Дороги от театра до дома ее родителей было полтора часа на трамвае. Кроме робких прикосновений и поцелуя: «Спокойной ночи!» — перед дверью на прощанье, ничего и не было. Дома мама не уставала меня бранить — где это я пропадаю по ночам? А в пять утра мне уже надо было вставать, ехать на работу, где я был в учениках…

Нет, это тоже была любовь, как я ее тогда понимал, но теперь с Ниной — совсем другое!

У Наташи, невесты Дмитрия

Думал — не смогу заснуть, и ошибся: после стольких новых впечатлений уснул как убитый. С трудом проснулся, убрал постель, умылся на скорую руку, оделся, получил и съел суп, а хлеб захватил с собой — кто же знает, достанется ли мне на заводе обед. Дмитрий подъехал к воротам вовремя. Спрашивает — собираюсь ли я быть на заводе весь день, как вчера? Если, мол, управишься поскорее, я бы тебя познакомил с моей невестой…

Еще бы! Я же никогда не был в русской или украинской семье, как же пропустить такое. Дмитрий велит быть у ворот завода к 12 часам — нам оттуда ехать почти час. Он уехал, а меня стали одолевать сомнения. А что, если узнают? Боюсь потерять свою теперешнюю «должность». Ну, хорошо, а что я могу сделать, если Дмитрий меня куда-то везет? Погрозить ему, что пожалуюсь начальнику лагеря? Да ну, Дмитрий такой славный парень и обращается со мной так, словно я никакой не пленный, не стану же я грозить ему! И я ведь со вчерашнего дня влюблен в Нину. Мало ли на что способны влюбленные! И если Дмитрий хочет показать мне свою невесту, значит, он мне доверяет. Всё, поедем!

Поскорее в силикатный цех — может быть, Петр Иванович еще не ушел домой после ночной смены. Он и в самом деле на месте, но встречает меня руганью, чуть не выгоняет из кабинета. Я стою у двери и молчу, жду, пока он кончит браниться. Наконец он командует: «Раздевайся, садись!» Звонит кому-то по телефону, ругается еще громче, потом швыряет трубку так, что она летит через стол. «Какой дурень присылает мне мальчишек? Здесь нужны крепкие парни, чтобы руки у них не отваливались от работы, она здесь не для слабаков!»

Я пока не произнес ни слова, теперь делаю первую попытку. Наверное, его озадачил мой русский, и вот — чудо, он меня слушает. Стараюсь объяснить, что ему обязательно дадут немецких пленных, они уже скоро приедут! Обещаю ему, как раньше обещал Ивану Федоровичу в мартеновском цеху, что новых рабочих он получит одним из первых. И…

Петр выходит из кабинета и тут же возвращается с бутылкой водки. За ним следом секретарша, она кладет на письменный стол сало, колбасу, хлеб. Петр достает из шкафа два стакана, наполняет их до краев. Если я это выпью, буду совершенно пьян… А он произносит несколько слов, что-то про «здоровье!» и чуть ли не одним глотком выпивает свой стакан. Я так, разумеется, не могу, и Петр сочувствует: «Ты же еще *Maltschischka*, не беспокойся!

Я еще сделаю из тебя мужчину!»

Секретарша принесла чай. Наверное, Петр заметил, как я на нее посмотрел; он спрашивает, делая неприличный жест, спал ли я уже с женщиной. Наверное, я здорово покраснел, потому что Петр кивает: «Этому я тебя тоже научу. А теперь садись и ешь!» Режет сало, протягивает мне кусок, пододвигает хлеб и стакан с водкой. Я слушаюсь. Наверное, я пришелся ему по душе, и мне он нравится, он прямо излучает доверие, этакий добрый медведь.

«Запиши, Витька, все, что мне требуется, — тут же возвращается Петр Иванович к делу. — Крепкие парни мне нужны, которые умеют трудиться. Как можно больше! Всех остальных козлов прогоню!»

Петр уже дважды доливал свой стакан, а мне объясняет — когда пьешь водку, надо плотно закусывать, лучше всего — *Salo* с хлебом. А я пить больше не хочу, у меня и так уже голова начинает кружиться от водки, а ведь в 12 часов меня будет ждать Дмитрий…

«Пошли! — говорит Петр. — Выйдем в цех, сам посмотришь, с какой швалью мне надо план выполнять».

Мы надели полушубки и вышли. Люди в цеху — как тени. Изможденные, с запавшими глазами, одеты в худые шинели, многие без теплой шапки и рукавиц. Чего же ждать от них, они же, наверное, все больные! За какие преступления им такая каторга, спрашиваю я Петра.

«Откуда я знаю, ну, паразиты рабочего класса — мне-то как с ними быть? Меня никто не спрашивает, могут ли они здесь работать, с меня спрашивают продукцию — огнеупорные плиты, выполнение плана! Ну, пришлют триста человек вместо двухсот, да что от них толку? Вот когда у меня работали немецкие пленные… Нормы всегда перевыполняли, значит, заработок мой и моих русских рабочих был больше. А какой был у них бригадир! Если Фриц на месте — все будет в порядке, мне не о чем беспокоиться, а что теперь?»

Мы возвращаемся в кабинет, я хочу забрать мои записи и идти, но хозяин не отпускает. «Нет, Витька, надо еще по маленькой, по русскому обычаю — на посошок». Неужели я должен напиться допьяна? Нет, Петр меня жалеет — наливает мне самую малость, а себе — опять стакан. Теперь можно и уходить. Скоро двенадцать, но я поспеваю к воротам вовремя. Дмитрий уже ждет. «Ну, Витька, а я уже думал, ты не придешь. Теперь все в порядке, поехали!»

Вокруг лежит снег, но дорога, по которой мы едем, в порядке.

Дмитрий рассказывает, что невеста и ее семья ждут нас с нетерпением. Немецкого военнопленного у них в доме никогда еще не было. Я тоже в напряжении, и Дмитрий сегодня что-то помалкивает. Может, и он побаивается, что везет меня к ним в дом? Молчим оба.

Через полчаса сворачиваем с хорошей дороги; дальше петляет покрытая снегом и льдом узкая дорожка, слева и справа — только заснеженные поля. Так проезжаем одну деревню, другую — и вот мы у цели. Это красивый деревянный дом под соломенной крышей, огороженный выкрашенным в белый и синий цвет деревянным забором. Я вылез из машины, Дмитрий отвел ее за дом, иначе мы загородили бы всю улочку. А может, не хочет, чтобы его машину здесь видели. Наташа уже ждет нас у дверей. Протянула мне руку и улыбнулась: *«Privet!»* Сразу за дверью стягиваем сапоги и получаем домашние туфли; мне приходится примотать портянки так, чтобы они не размотались у всех на виду. Наташины отец и мать тоже подали мне руку, а *Babuschka*, сидя у печки, притянула меня к себе и поцеловала в голову. «*Maltschischka, ty takoj maltschischka!*» — повторяет она.

Наташа отнесла куда-то мою шинель. В доме — запах еды и топящейся печки. Наташин отец спросил, как меня зовут, а мать позвала нас в другую комнату. Там стол, накрыт на двоих; хозяева, наверное, уже пообедали. Бабушка осталась на кухне, там к тому же теплее, а мама наливает нам в тарелки *Borschtsch*, это такой суп с капустой и красной свеклой, в нем много мяса; и еще нам дают свежий хлеб. Несмотря на закуску у Петра Ивановича, я отдаю обеду должное. Мы едим, а остальные трое, Наташа с родителями, смотрят на нас. Когда моя тарелка опустела, Наташина мама хотела налить мне еще, но пришлось отказаться — больше не могу; *Borschtsch* был замечательно вкусный, совсем не то, что суп в лагере. А потом — чай, крепкий, совсем черный, то, что надо сегодня для моей головы после водки в силикатном цеху…

Меня просят рассказать, когда и где я попал в плен, что со мной за эти годы случалось. Я с удовольствием рассказываю, ведь до сих пор никому, кроме молодых женщин в насосной на шахте, не было до меня дела. Рассказываю и про нашу театральную бригаду, а хозяева удивляются, что я не острижен наголо; ведь даже русских солдат так стригут. Наверное, потому, что русские ужасно боятся вшей, которые могут распространять эпидемию. Наташины родители удивляются, что я говорю с ними по-русски, а я рад, что уже могу говорить на разные темы.

Зашла соседка — что-то одолжить. Получается, что увидела здесь немецкого пленного. Нехорошо это, говорит Наташин отец, и верно — соседка возвращается, теперь уже с мужем и тремя детьми. Все хотят посмотреть на немецкого пленного, на Фрица. Вот такое русское гостеприимство — пришедших нельзя не пригласить в комнату. Так что пока здесь не собралась вся деревня, мы с Дмитрием решаем ехать поскорее обратно в лагерь. И Наташина мама желает мне на прощанье, чтобы я поскорее мог вернуться в свою семью, в Германию.

Когда машина трогается и мы проезжаем мимо окон, вся семья машет нам руками. А бабушка, когда прощалась со мной, все повторяла: «Мальчик, мальчик, храни тебя Бог!» — и крестила мне лоб. Растрогался я чуть не до слез; никогда этого прощанья не забуду.

Теперь у меня впереди два часа, чтобы собраться с мыслями. До чего же уютно мне было в этой маленькой комнате. Везде там ковры, не только на полу, на стенах тоже, наверное, персидские. А в углу на маленьком буфете стояла толстая свеча, оплывшая воском. И за ней, повыше — икона. Я уверен, что бабушка там молится. А над столом висела лампа на искусно выкованных цепях, а сбоку был диван… Рядом с той комнатой, наверное, еще одна — спальня, а больше, кроме кухоньки, ничего, дом ведь такой маленький. Снова и снова всплывают из памяти эти милые картины. Кто знает, смогу ли я когда-нибудь приехать сюда с Дмитрием опять.

Жаль Дмитрия, что ему за радость от такой поездки к Наташе! Да нет, ему важно знать, как мне его Наташа понравилась. Отвечаю, что даже очень. Такая славная украинская блондинка, стройная, кругленькая там где надо… И вот еще что было сегодня интересно: мы же были в гостях в украинской семье, но они говорят и по-русски, а вот *Babuschka* говорит только по-украински, потому-то я ее едва понимал.

Дмитрий жалеет, что соседи нам так помешали. На ужин, говорит он, было бы еще кое-что вкусное. И можно было поиграть на баяне; *Bajan* — это вроде аккордеона.

Уже почти темно, когда мы приезжаем в лагерь. Макс уже беспокоился, не случилось ли чего со мной. Я рассказываю ему сначала про *Silikatny* и начальника Петра Ивановича, у которого мне пришлось пить стакан водки. А потом мы сидим на моей кровати, и я рассказываю Максу про поездку с Дмитрием к его Наташе. А Макс сказал, что лучше бы такое не повторялось,

потому что могут узнать, а риск слишком велик: доносчики есть повсюду, даже в маленькой деревне.

Что ж, совет Макса всегда по делу. Ведь из-за вылазки с Дмитрием поговорил я по делу только с одним начальником цеха. Хорошо еще, что нет пока *Natschalnik,* перед которым я должен отчитываться за работу.

Самоуправление пленных

Сегодня прибыли первые пленные из другого лагеря. Их человек 500, предстоит как можно скорее распределить их по цехам и бригадам, прохлаждаться им русские не дадут. Мне еще повезло — удалось найти в бумагах список бригад венгерских пленных, это уже хоть какой-то ориентир. А Макс советует запросить у завода письменную разнарядку — сколько людей и в какие цеха им нужно.

Но чувствую, что со всеми этими делами и бумагами мне не справиться — распределить вот так, с бухты-барахты, две тысячи человек на работы, в которых не разбираешься, невозможно. Макс ведь предупреждал меня, а я не послушался, очень уж захотелось свободно ходить по заводу да еще ездить туда и сюда. Может, среди новеньких найдутся умеющие читать по-русски, это здорово помогло бы…

В семь утра я пришел к нашему коменданту Зоукопу; он со своими помощниками уже обсуждает, как быть с пополнением. Меня послали к ним в барак, искать нужных людей. Пришел туда, объяснил, в чем дело. Сразу откликнулись трое; в лагере, откуда они прибыли, они уже занимались тем же. Они сами нашли еще двоих, и мы пошли в контору, в «отдел труда и нормирования». Можно занимать столы, стол начальника тоже. Все пятеро новичков старше меня, а Вальтеру, самому старшему, уже исполнилось 50, он с 1943 года в плену. Я рассказал, какой здесь завод, сказал, что там работают сорок тысяч человек. Новички прибыли к нам из лагеря, где большинство пленных работали в колхозах. Еще строили дороги, и мастера среди них тоже есть — ремонтировали колхозные тракторы и другие машины. Вальтер предлагает — прежде всего искать в документах: сколько где работало пленных и сколько завод за них платил.

И после долгих поисков — нашли нужные бумаги! Совещаемся, с кого начинать распределение. Мои новые коллеги страшно удивлены, что нам самим надо что-то решать, что русские передоверили эти дела нам. У них в лагере ничего подобного не было. Да, это здешний начальник лагеря Владимир Степанович завел такой порядок — пленные должны управляться самостоятельно, с венграми у него было то же самое, и все ладилось. Новички просто потрясены, как это так — пленный хвалит начальника лагеря? Они знают по собственному опыту, что должно быть наоборот: начальник лагеря — бессердечный злодей, ненавидящий немцев. Что ж, наверно, Владимир

Степанович — исключение, я тоже так думаю.

Немного разобрались с бумагами, в обед ходили за супом. Узнали, что снова прибыло пополнение. Значит, скоро всем на работу, и жизнь в лагере пойдет прежним порядком: работать, есть, спать.

После обеда к нам гость — комендант Макс Зоукоп пришел проверить, что у нас делается. Ведь завтра уже надо всем идти на завод на работу. Мы ему доложили, что окончательную разбивку сделать пока не можем — мы еще не знаем, какие специальности есть среди прибывших. Так что пока бригады составляем только по числу людей, а через день-другой, когда подберем специалистов, придется кого-то поменять. Бригадирами будут наши люди из Провиданки — они уже хоть немного знают завод. Ну, а помощников в охрану — это дело самого Зоукопа, среди новичков они ведь тоже есть. Не зря Макс Шик сказал, что доносчики есть и в любой деревушке, а уж здесь… Догадаться не так уж трудно…

На следующее утро я отправился на завод с бригадой, назначенной на электростанцию. С тайной надеждой, что понадобится искать начальника Мишу, а он будет у пультов, где работают Нина и Нелли. А в другие цеха пойду потом…

Пришли на станцию, русский бригадир уже знает, что сегодня у него пополнение из военнопленных. Спросил его, где Миша, и он, слава Богу, послал меня в энергодиспетчерскую. Мишу-то я там сразу нашел, а вот Нины нет — женщины, оказывается, работают здесь посменно. Как же мне узнать, когда будет Нина? Как и в тот раз, Миша пригласил меня выпить чаю. Мы разделись, сели к столу. И только я собрался рассказать ему, что с сегодняшнего дня у него опять будут работать немецкие пленные, как его позвали к телефону. И он сказал, чтобы я спокойно пил чай, а сам ушел.

Чего же мне еще? Здесь, как и в тот раз, работают две женщины, я затеваю разговор с ними и невзначай спрашиваю, как они сменяются. Система довольно сложная, но, кажется, я понял: два дня подряд с утра, по 12 часов, потом два выходных, а на третий день — выходить во вторую смену. В воскресенье работают как обычно. Одна из женщин даже показала мне график, чтобы я лучше понял. Так я узнал, что Нина будет на работе через два дня, во второй смене. Я ужасно обрадовался, что не надо будет гадать, а в какую смену мне идти по цехам, это я сам улажу.

Поблагодарил женщин за чай и собрался уходить. Они еще

посоветовали — если замерзнешь на заводе, приходи сюда греться. Здесь и чай всегда есть. Интересно, они что-нибудь заметили?

Вареники

Теперь надо идти в другие цеха, в которые распределили наших пленных, — силикатный и мартеновский. В мартеновском я застал Ивана Федоровича у разобранной печи; вокруг него человек двадцать пленных, и он объясняет им, что надо делать. Одного из них, хорошо понимающего русский, тут же назначает бригадиром.

Начальник цеха увидел меня. «Витька, — раздается его могучий голос, — пошли со мной. Ты молодец, слово сдержал!» Он отдает последние распоряжения бригаде и ведет меня к себе в кабинет. Предвижу продолжение, так оно и есть: на столе полбуханки хлеба и сало, а водку начальник приносит с холода, значит, не любит теплую. И все начинается сначала — надо есть и пить водку, пить — это главное. А Иван нахваливает меня за то, что ему прислали подходящих рабочих.

Про то, что последнее от меня никак не зависело, я помалкиваю; это же чистая случайность, кого в какой цех распределили. Но все равно я благодарю Бога за то, что получаю почту из дому, и за то, что встретил Макса Шика, который меня так опекает, и за то, что теперь я на хорошем счету у начальника цеха. Наверное, мама за меня молится дома каждый день… А Иван требует, чтобы я допил стопку, и уверяет, что доливать в недопитую у русских не полагается. «Останешься сегодня у меня, потом будет еще борщ с мясом и вареники со сметаной». Я спросил, что такое *Wareniki*. «Увидишь. То, что требуется мужчине, и очень вкусно!» Мне ничего не остается, как допить водку, хорошо еще, что стопка небольшая. Ничего, все обошлось. Видно, сало помогает, да и водка очень холодная, бутылка вся обмерзла.

Потом Иван Федорович позвал меня с собой, и мы пошли обходить огромный цех. Чего тут только нет; тут льется из печи жидкий металл, там грохочут дробилки — мелют графит; под крышей висят кабины кранов, которыми переносят тяжести с места на место. Хорошо видно, что наверху пыль стоит тучей, и там особенно жарко, а управляют кранами женщины, у них рабочая смена тоже 12 часов. Иван останавливается в разных местах, кому-то отдает распоряжения, с кем-то просто перебрасывается словом. Иногда он представляет меня собеседнику, иногда — нет. Когда идем обратно к нему в кабинет, в цеху уже раздают обеденный суп нашим. Значит, и нас ждет *Borschtsch*. Верно, там уже секретарша Лидия накрыла стол на

шестерых, пришли сотрудники Ивана, три мужчины и женщина. Стопки у каждой тарелки, Иван опять принес бутылку водки. И произнес тост: «Выпьем за Витьку, нашего мальчика! Он прислал нам людей, чтобы помочь выполнять план».

Я уже начинаю сомневаться — неужели это в самом деле в советском плену? Тарелки полны, разливная ложка идет по кругу, а куски мяса и свиные ребрышки берут прямо руками. И нарезанный кусками хлеб в корзине — сколько хочешь. Секретарша Лидия вносит огромную миску со сметаной, ставит ее посередине стола. И следом — две миски с этими самыми *Wareniki.* Иван мне объясняет, что в эти штуки из теста заворачивают когда мясной фарш, когда творог, а то кислую капусту.

Каждый берет своей вилкой из миски вареник, окунает его в сметану… Вообще-то я уже сыт, но нельзя же отказаться от знаменитых вареников! Они замечательно вкусные, трапеза между тем сопровождается водкой, но есть и минеральная вода, очень соленая. А голова у меня уже кружится.

В 16 часов смена заканчивает работу, Иван зовет меня, и мы опять выходим в цех — он хочет видеть, что сделано за сегодня. Бригадой наших пленных он очень доволен, сразу видно, что они хорошо поработали. Ждем, пока все соберутся, пересчитываемся и — топаем полчаса по лютому холоду на станцию. Меня немного пошатывает, наверное, это от разбитой дороги… С трудом залез в вагон, забился в угол и тут же заснул. Проснулся, только когда вагон остановился и дернулся. Опять вылезать на холод, будь она неладна, эта водка!

Только пришел в комнату — зовут к коменданту Максу. Оказывается, мы еще не успели вернуться с завода, как начальник лагеря Владимир Степанович уже сказал ему, что я провел весь день у Ивана в мартеновском и выпивал там с русскими, да еще с женщинами! Я стал ему объяснять, как это получилось, и что Иван Федорович так был доволен, что из лагеря ему прислали хороших рабочих, и вот на радостях… Макс понятия не имеет, кто на меня донес; скажи, мол, еще спасибо, что здесь такой начальник лагеря, другой бы тебе так задал! А этот только что велел отругать тебя да сказать, чтоб в другой раз был поосторожнее. Я готов был тут же бежать к начальнику лагеря благодарить его, но комендант Макс сказал, чтоб я не совался. Еще, мол, успеешь при случае. Кстати, вашей театральной группе велено готовиться выступать, еще до Рождества…

А в бараке Макс Шик, которому я, конечно, все рассказал во

всех подробностях, только головой качал: «Эх, Вилли, если бы я только мог следить за тобой получше!»

Конечно, они правы. Постараюсь не попадать больше в такие ситуации. А Нину постараюсь найти во что бы то ни стало! Она через два дня выходит во вторую смену, значит, мне надо найти повод попасть в это время на электростанцию. Ведь Миша, тамошний начальник, хотел, чтобы ему нашли электриков. Вот я и постараюсь. Завтра на завод не поеду, останусь в отделе, может быть, там можно будет найти в документах — есть ли кто с такой специальностью…

И с мыслями о Нине, о том, как и где я ее увижу, я уснул.

Словно договорились — вся наша группа сегодня на месте в отделе. И Герберт знает о троих или четверых, которые работали электриками в их прежнем лагере. Когда утренняя смена вернется с работы, он их попробует найти.

Это ему удается. Три электрика оказались в бригаде силикатного цеха, на тяжелой работе. Ясное дело, они рады, если их переведут на работу по специальности. Конечно, сперва надо спросить у начальника Миши — может ли он принять их.

На следующее утро еду в завод с первым поездом, в пять утра. Тороплюсь, надеясь застать Мишу пораньше. К сожалению, напрасно: он ушел с электростанции только поздно ночью, так что сегодня придет не раньше обеда. Так ведь и Нина будет сегодня во второй смене! Значит, можно теперь вернуться с каким-нибудь поездом в лагерь, а после обеда — снова на завод. Хорошо, что с моим пропуском это можно, надо только записаться на посту у главных ворот.

А до обеда напишу письмо домой. Надо ведь как-то объяснить родителям, что к Рождеству мне домой не попасть. Я бы написал про первую встречу с Ниной, но лучше уж подождать с этим, пока вернусь домой. Письма ведь наверняка читает цензура, может быть, не каждое, но кто же угадает. И не зря Макс говорил — ни в коем случае не писать ничего плохого про лагерь или про русских.

Из письма домой 10 декабря 1948 г.

> *«…Конечно, освобождение было бы для меня самым замечательным подарком. Но приходится смириться с тем грустным фактом, что нам придется пробыть еще некоторое время здесь. Я хотел бы когда-нибудь узнать, что, собственно, думают на родине о нашем возвращении.*

Я знаю, что после того, как все государства обязались освободить всех пленных в течение года, все твердо верили, что на Рождество их любимые сыновья и мужья будут с ними, у рождественской елки. Ну, хорошо, до Нового года еще сколько-то дней, так, может быть, мы поедем уже завтра? Никто не может знать этого…

Вот уже год, как я вешу свои 75 кг. Наверное, я уже немого выше, чем папа. Вы удивитесь, дорогие родители, когда однажды я предстану перед вами — здоровый, крепкий молодой человек!

…Я снова играю на сцене, и мне опять достались женские роли В прошлое воскресенье наш парикмахер завил мне такие локоны, что меня и впрямь можно было принять за девушку.

Всеми мыслями я с вами. Мои добрые пожелания и сердечные поцелуи спешат к вам через заснеженные поля чужого края. И хотя я все еще на чужбине, пусть будет праздник Рождества для вас праздником радости и любви.

Сердечно целует вас

Ваш Вилли»

Рукавицы и швейные машины

Так спешил, что мог бы, наверное, побежать к поезду раздетый. Ничего, мороз такой, что быстро остудит. А на самом деле у меня еще есть время до отъезда в завод второй смены. Ложусь на кровать и гляжу в потолок. Я один в комнате, и никто не мешает думать. Как же мне увидеть Нину? Если начальника электростанции Миши не будет в кабинете, возьму и пройду в энергодиспетчерскую! А что мне могут сделать? Я ведь ищу начальника…

Чуть не проспал… Разбудила сирена, я схватился и побежал к воротам. Отметился на вахте, стал в колонну. Кто-то узнал меня: «Это же наша дива, он во время концерта был на сцене!» Другой спросил: «И тебе работать приходится, как нам?» По дороге я им рассказал про отдел труда и зарплаты в лагере и в чем состоит наша работа. Что завод должен платить управлению лагеря за работу пленных, но это их не очень заинтересовало. А вот куда идут деньги — это всем интересно. Но этого я и сам, по правде говоря, толком не знаю, но надеюсь узнать. Новые пленные хвалят наш лагерь; там, где они были раньше, было гораздо хуже. Немецкое начальство никаких прав не имело, охранники из пленных были с дубинками, питание — хуже некуда.

На заводской станции расстаемся, я иду на электростанцию искать Мишу. Все отвечают, что он где-то здесь, но где именно — никто не знает, станция большая… И я направляюсь в энергодиспетчерскую. Подхожу к двери, сердце колотится так, что вот-вот выскочит. Господи Боже, сделай так, чтобы Нина была здесь и чтобы она заметила мои чувства! Стучу в дверь, никто не отвечает. Открываю дверь и вхожу; Нина и Нелли там! От растерянности и возбуждения едва бормочу, что ищу их начальника. А сам смотрю только в глаза Нине и с трудом понимаю, что она предлагает подождать здесь. Она попробует найти его по телефону.

Нелли сказала, чтобы я сел — вот табурет. Это рядом со столом, за которым они работают. Шапку я держу в руках, расстегнул полушубок, а сам украдкой смотрю на Нину. Она звонит по телефону, листает книжку, где номера записаны от руки, — и нигде начальника не находит. Нашла заместителя, но тот ответил, что сколько нужно людей и на какие места — об этом надо говорить только с Мишей. Робко спрашиваю, можно ли ждать здесь, в тепле, дальше. Конечно, можно. Боже мой, какое

счастье!

Нелли уже включила кипятильник, чтобы заварить чай, а Нина стала расспрашивать про меня и про лагерь. Сколько мне лет, когда попал в плен, знаю ли, что с семьей. Я охотно рассказываю, она с интересом слушает. И про брата, которого уже давно отпустили из американского плена, и про переписку с родителями и друзьями. Так мы разговариваем, и вдруг, буквально на полуслове, врывается Миша.

«Как вам это нравится? — вопрошает иронически. — Я там ношусь по жуткому холоду, а они тут уютно устроились! Витька, что нового?»

Отвечаю, что нашли пятерых электриков. Завтра могли бы работать уже здесь.

«Они электрики? Тогда приводи их сюда, прямо завтра. Я скажу Саше, чтобы поставил их заниматься делом, а не уголь лопатой грузить!»

Я встаю и начинаю одеваться, хотя очень хочу задержаться здесь.

«Куда ты идешь, Витька?» — спрашивает Миша удивленно.

Отвечаю, что в силикатный цех, где тоже нужны люди — крепкие парни.

«Черт с ними! Выпей с нами чаю, Нелли или Нина заварят».

Как я ему благодарен! Побыть еще немного рядом с Ниной, смотреть в ее лучистые глаза, впитывать каждое ее слово. А Миша извлекает из сумки бутылку и, прежде чем Нина приносит чай, наливает в чашки по хорошей порции крепко пахнущего коричневого напитка.

«Армянский коньяк, — сообщает Миша. — *Otschen charascho, otschen wkusno!*»

Напиток и в самом деле хорош, тепло от выпитого растекается по всему телу. Ох, а что говорил мне Макс? Он сказал, чтобы я выбросил из головы эти выпивки на работе. Так что уж лучше я от следующей порции откажусь, как бы мне ни хотелось подольше побыть с Ниной; ведь доносчики есть везде. Того и гляди, попадешь в карцер, а то и в штрафной лагерь, у русских это просто, хоть сами они и пьют водку почем зря.

Я объяснил Мише, что мне нельзя пить, я же военнопленный. Он протестовал, обещал, что сам отвезет меня потом в лагерь, но я встал и начал одеваться. И Нина тоже встала и пошла провожать меня к двери. И тихо сказала: *«Do poslezawtra!»*

Послезавтра! Неужели она заметила, как я на нее смотрел, как буквально ловил каждый звук ее слов? Это замечательно, я

счастлив, я хочу обнять каждого, хочу кричать на весь мир: «Нина, дорогая Нина, я тебя люблю!»

Сколько же времени я пробыл на электростанции? Видно, от счастья совсем забыл про время: по дороге к силикатному цеху встречаю рабочих, идущих со смены. Я заторопился — силикатный цех ведь недалеко, и мне повезло, начальника смены Володю я там застал. Он тоже жалуется — нужны, мол, парни покрепче, здесь тяжелая работа.

Рядом с цехом, на морозе, материал выгружают лопатами из железнодорожных вагонов в вагонетки. И тянут их в цех, к дробилкам и смесителям. Конечно, тем, кто на разгрузке, гораздо труднее, они же всю смену на холоде, какая уж тут производительность. И я предложил Володе — а вы сменяйте рабочих через каждые два часа — два часа на разгрузке, на морозе, а потом два — в цеху; так дело пойдет быстрее. Поговорили и с бригадиром из пленных, он согласился. Ему важно, что если норму будут выполнять, то его люди получат больше хлеба.

К поезду в лагерь пошли с ним вместе, он тут же поговорил со своими людьми. Согласны даже те, кто работал в цеху, где теплее, — получить прибавку к хлебной пайке хотят все. А с Володей я договорился, что он подтвердит выполнение норм уже в этом месяце. С Петром Ивановичем, начальником цеха, у него добрые отношения, и Володя уверен, что тот возражать не станет.

А мне так не терпится рассказать Максу про сегодняшний день и про Нину, что я чуть не забыл отметиться на вахте. Макс уже спит, но ничего не поделаешь, сегодня я его разбужу. Я ведь никому другому не могу сказать про Нину, про мою первую любовь; как я хочу быть рядом с ней, нежно прикоснуться к ней, обнять ее! И он ведь сказала — послезавтра! Неужели она мне ответит? Ну конечно, не ошибся же я — с чего бы еще она такое говорила, если бы не хотела увидеться со мной?

«Макс, Макс, послушай, я сегодня был у Нины, целый час! И она сказала — до послезавтра!» Слава Богу, Макс легко просыпается, можно разговаривать, кровати наши совсем рядом. «Иди сперва разденься, потом спокойно расскажешь», — бормочет Макс. Как это так — «спокойно»? У меня любовь, а он меня успокаивает! Впрочем, Макс ведь прав: поосторожнее надо быть у нас в комнате с рассказами. Уже бывало, что русским почему-то становилось известно то, что говорилось без них… И мы решаем, что поговорим лучше завтра в поезде, по дороге на завод. Макс работает в первой смене, а мне надо ехать с электриками.

И вот мы в первом поезде, в пять утра. Устроились в углу вагона, и я рассказываю, рассказываю… Макс сердечно обнимает меня, как мог бы обнять отец; он ведь понимает мое счастье. Но не скупится и на советы: я не должен забываться, надо вести себя осторожно, чтобы не попасть в беду.

Макс сворачивает к своему цеху, а мы с четырьмя электриками идем на электростанцию. Приближаемся к энергодиспетчерской, а нам навстречу — Нина и Нелли, они идут домой после своей сдвоенной смены. Я ужасно счастлив. Вежливо их приветствую, а Нина лукаво улыбается мне и приветливо машет рукой. Объяснил моим попутчикам, где эти женщины работают и что они с ними, наверное, тоже познакомятся. Сашу застали в его кабинете, сразу выяснилось, что один из новичков немного говорит по-русски, так что переводить не нужно. Теперь — к Максу, он же еще не знает, что я только что встретил Нину и она мне так мило помахала рукой!

Механический цех отсюда не близко, но это теперь ничего не значит! «Ты, конечно, встретил утром Нину?» — сразу спрашивает Макс, словно он прочел мои мысли.

«Да, да, и она улыбалась мне, она… Макс, как же мне теперь быть?»

«Прежде всего, успокойся, а то любому видно, что с тобой. Иди из цеха, пройдись по свежему воздуху, там пока темным-темно. А то у тебя на лице всё написано!»

Он прав, как всегда, и я иду бесцельно шататься между цехами. Смотрю на усеянное звездами небо и благодарю Бога за то, что Он послал мне такое счастье.

Постепенно светлеет, и я обнаруживаю, что нахожусь рядом с мартеновским цехом. Застану ли я Ивана, мы ведь не виделись со времени той «пьянки». Обхожу здание кругом, чтобы не идти через весь цех, а войти поближе к его кабинету, очень уж удушливый воздух в этом цеху. Иван сидит за своим столом. Он встал мне навстречу, обнял и поцеловал словно старого друга. «Витька, спасибо! У меня теперь хорошие парни, твои немцы работают очень, очень хорошо! Ты где был так долго?» Сказать ему, что в тот раз было? А почему, собственно говоря, нет?

Иван хочет опять выпить со мной, но я прошу его обождать и рассказываю, что в прошлый раз про наше пиршество у него в кабинете стало известно начальнику лагеря. Иван вне себя от злости. «Я этого сукина сына прибью, я его в печь кину!» Он кричит это так громко, что тут же появляется в кабинете его верная секретарша. Я стараюсь его, как могу, успокоить, но он

продолжает шуметь: «Этот сучий сын, будь он проклят, попадись он мне только, я ему…» Уговариваю его: я так рад, что он мне сердечный друг, но я ведь немецкий военнопленный, и для меня другие законы — как для врага.

«Когда кончилась война, *Bratischka?* — сердится Иван. — Четыре года, пять лет? Пора уже стать друзьями!» И снова крепко обнимает меня и целует. «Вот такого сына, как ты, я давно хочу, а что моя Наташа? Сбежала с каким-то типом; знать их больше не хочу, этих баб! Нет уж, Витька, по одной нам можно выпить…» Я сдаюсь, и мы пьем ледяную водку, бутылка прямо из сугроба. Умоляю его на том остановиться.

Мы вышли с ним в цех, пошли к печи, на ремонте которой работают наши пленные, — обкладывают внутреннюю поверхность огнеупорными плитами. Иван позвал бригадира, сказал ему, что доволен их работой и что велит сказать об этом в лагере. Там ведь тоже, как и в цехах, есть доска, на которой пишут фамилии отличившихся.

А бригадир Вилли сказал мне, что хоть работа здесь тяжелая, они никуда в другое место не хотят. И пошутил: «Вот разве что домой!» Здесь *Natschalnik* не только выписывает им дополнительный хлебный паек, но еще, бывает, привозит откуда-то целый котел настоящего хорошего супа. Иван переспрашивает: что он тебе сказал? И, услышав ответ, явно рад, что пленным рабочим он нравится. Вот опять я вижу оазис человеческих отношений…

Прощаясь, Иван обнимает меня и по-братски целует. Вилли и его бригада смотрят на нас с изумлением — это же просто немыслимо! Надеюсь, какой-нибудь доносчик не устроит дела из этого.

Перед уходом из мартеновского цеха вспоминаю, что обещал в силикатном позаботиться о рукавицах для пленных рабочих. Подняв воротник повыше — холод сегодня совсем лютый, — добрался туда. Секретарша Петра Ивановича со мной поздоровалась и доложила начальнику. Он меня выслушал, а она принесла два стакана и налила в них пахучий черный чай. Петр сказал, что это ясно — в такой мороз работать на воздухе без рукавиц вообще запрещается. Да только где их взять столько? Теперь ведь все только в обмен. А что мы можем за них предложить? Нашу работу?

Он взялся за телефон и стал звонить разным людям. Наконец нашел кого-то, с кем можно говорить о рукавицах и за деньги. Вот какая у него идея: лагерь должен отказаться от части

причитающейся оплаты цеха за работу пленных и на эти деньги он постарается закупить рукавицы. Я, конечно, сказать ничего не могу; это надо передать нашему коменданту чтобы обсудить с начальником лагеря, Владимиром Степановичем.

«Скажи-ка, Витька, — спрашивает Петр между делом, — а что могут у вас в лагерной мастерской отремонтировать?»

«Если будут нужные материалы, то, наверное, что угодно. А зачем это нужно?»

«Затем, что на фабрике, где шьют рукавицы, постоянно ломаются швейные машины. Если бы у вас их ремонтировали, они бы вас снабжали рукавицами».

Обещаю Петру, что постараюсь все узнать, и сразу прощаюсь.

Я зашел за Максом в кузницу, чтобы ехать в лагерь вместе. Рассказал ему про рукавицы и швейные машины на фабрике. В лагере мы сначала нашли Эрвина, заведующего мастерской. Он сказал, что если будут запасные части или нужный для их изготовления металл, то проблем не будет. И мы пошли к коменданту Максу Зоукопу.

«Ну, — говорит он, — на это дело надо начальника, «старика», подвигнуть обязательно! А то ведь все равно неизвестно, куда наш заработок девается».

Сказано — сделано, тут же идем к Владимиру Степановичу. Комендант ему докладывает, я рассказываю про начальника цеха, и начальник лагеря тут же соглашается. Приказывает шоферу Дмитрию, который уже возил меня на завод, завтра же свезти Эрвина и меня на фабрику, где шьют рукавицы. А он, Владимир Степанович, еще сам переговорит с начальником той фабрики и с Петром Ивановичем.

Вот тебе на, из-за суматохи с рукавицами я совсем забыл про Нину! Ну, ладно, постараюсь как-нибудь попасть завтра на завод; надеюсь, что Дмитрий меня не подведет.

Вернулся в комнату, Макс уже принес суп и для меня. И тут я вспомнил, что с самого утра за весь день ничего не ел. Сначала был с электриками на станции, видел Нину, потом в мартеновском цеху, потом это дело с рукавицами…

Ничего себе военнопленный, про кормежку забыл от трудового энтузиазма! Я что — рехнулся? А сегодня еще репетиция в театральной бригаде. Макс строго велит не отлынивать, и я иду туда. Мы репетируем, и под музыку и пение я почти забываю об усталости.

В начале седьмого утра, как договорились, встретились с

Эрвином и Дмитрием. Уселись, тронулись, и только тогда Дмитрий приветливо со мной здоровается — крепко жмет руку. И объясняет: здороваться с пленными запрещается. Сумасшедший мир! Только вчера в цеху Иван при всех поцеловался со мной, прощаясь. И еще Дмитрий сказал мне, что наша экскурсия к его Наташе незамеченной не осталась. Но ничего страшного, он выкрутился. Кто выполняет поручения Владимира Степановича, может за себя не беспокоиться…

И вот что рассказал Дмитрий. Владимир Степанович был в Красной Армии большим начальником. Когда эта местность была оккупирована немецкой армией, Владимир Степанович попал в плен. И немцы назначили его на высокую должность: он стал здесь вторым после немецкого *Natschalnik'a* человеком на металлургическом заводе. А когда немцы отсюда бежали, Владимир Степанович сумел сделать так, чтобы завод не взорвали, и он достался Красной Армии невредимым. Вот поэтому Владимира Степановича не отправили в штрафной лагерь за сотрудничество с немцами, а только понизили в звании до лейтенанта… «Поверь мне, Витька, все так и есть. И для многих русских военных Владимир Степанович по-прежнему генерал!»

Ехали почти два часа, за ночь намело много снега. На фабрике встретились с директором и заведующим производства. Судя по размерам фабрики, она должна бы шить рукавицы на всю Россию, однако многие машины бездействуют. Заведующий производством Игорь Иванович объяснил, что не хватает ткани и многим швейным машинам нужен ремонт. И прежде чем идти к директору, повел нас на склад и показал, сколько там таких машин. А на фабрике нет ни специалистов, ни запасных частей, чтобы их отремонтировать.

Швейные машины оказались немецкими; остались они здесь от оккупации или их привезли из Германии после войны, не знаю. Наш Эрвин осмотрел их внимательно и сказал, что хорошо бы взять штук пять и две из них разобрать на нужные для ремонта детали. И все пошли в кабинет директора договариваться. А там уже накрыт стол — опять угощение, и, на мое счастье, бутылок с водкой не видно. *Natschalnik,* директор фабрики Анатолий Сергеевич, приглашает нас за стол, секретарша принесла дымящийся чай.

Хозяева объясняют, что неисправные швейные машины, которые мы видели, можно забирать хоть сейчас. На складе есть, оказывается, еще какие-то запасные части, только неизвестно,

какие именно. Присылайте грузовую машину и забирайте к себе в лагерь всё! Конечно, мы с Эрвином к такому повороту событий не были готовы — нам бы прежде всего получить поскорее, лучше всего сегодня, хоть сколько-нибудь рукавиц. Когда смотрели фабрику, видели их целую кучу. А Игорь Иванович будто прочел наши мысли и говорит: «А если хотите взять рукавицы сегодня, так берите их, сколько влезет в вашу машину». Не знаем, как уж его благодарить, ведь нашим товарищам приходится обматывать руки тряпками, на таком морозе невозможно работать голыми руками…

Разумеется, мы согласились, и к тому же отдали должное вкусным вещам на столе. Тостов и выпивки, слава Богу, не было. А шофер Дмитрий все это время ждал в комнате у секретарши. Наверное, здесь так принято. Но его тоже покормили.

Потом пошли на склад продукции, Дмитрий подогнал машину к воротам, и ее нагрузили рукавицами — прямо так, навалом; ящиков или коробок здесь нет. Я уверен, что рукавиц натолкали в машину не одну сотню пар. А Игорь Иванович посоветовал приезжать в следующий раз с мешками. Вот только как же это все запишут? Мы же ничего не платили!

«Ruka ruku mojet!» — сказал Игорь. Ладно, будем надеяться, что Эрвину с его мастерами удастся починить им швейные машины. Тогда, может быть, всем пленным в лагере достанутся рукавицы…

Пока ждали грузовик для неисправных швейных машин, мы с Эрвином еще раз осмотрели склад швейных машин и кое-какие запасные части нашли. По упаковкам видно, что все это привезено из Германии. Видно, демонтировали такую же фабрику и грузили все вперемешку, как попало. Пришла большая машина, часа три грузили в нее вместе с двумя здешними рабочими тяжеленные швейные машины, их было пятьдесят две. Было уже темно, когда попрощались с хозяевами и поехали на машине Дмитрия домой в лагерь. А грузовик со швейными машинами придет уже завтра.

В лагерь вернулись, когда было уже совсем поздно. Я побежал к коменданту Максу — рассказать, что мы привезли полную машину настоящих рабочих рукавиц. Он обрадовался и послал поскорее разгрузить их, чтобы рукавицы достались завтра рабочим силикатного цеха, а не кому попало.

Когда все это было сделано, Дмитрий попрощался и уехал, а комендант Макс Зоукоп повел Эрвина и меня к себе, чтобы мы ему рассказали о нашем «приключении» во всех подробностях. И

еще я ему рассказал, что говорил шофер Дмитрий про начальника лагеря. Оказалось, Макс все это и без меня знал; а мне велел помалкивать: Владимир Степанович не любит, чтобы вспоминали о его прошлом.

Я, конечно, вспомнил, что сегодня — то самое «*poslezawtra*», когда Нина на электростанции, но ехать туда с ночной сменой не решился, очень уж странно это бы выглядело. Ну, ничего, я же не последний день на заводе!

Вернулся в нашу комнату, а там пусто — все на репетиции. Кто-то съязвил: «Эге, вот и наша Дива пожаловала!» А я, раздевшись, рассказал им о нашей экспедиции за рукавицами. И мы с удовольствием репетировали допоздна наш рождественский концерт. А главный повар велел принести нам на ужин лишнюю кастрюлю супа.

Вот можно и забыть на час-другой, что мы все еще в плену…

Распределять и раздавать рукавицы — это уже не мое дело, все организовали наш комендант и бригадир силикатного цеха. А я, конечно, заранее отложил пару для Макса Шика. Сегодня остаюсь в лагере, чтобы быть в курсе дела — как это будет с ремонтом швейных машин. Пошел в мастерскую к Эрвину, а он, оказывается, уже и место для них приготовил. И его помощник Курт, умеющий справиться с любым делом, требующим терпения и точности, заранее радуется такой интересной работе.

Прождали, можно сказать, целый день. Наконец, когда уже давно стемнело, пришел грузовик с швейными машинами. Водитель говорит — такая гололедица, что ехал сюда все восемь часов. Пока машины разгружали, водителя покормили на кухне, а как быть дальше — ехать ему обратно ночью? Пошли к начальнику лагеря, он уже знал про рукавицы и похвалил нас: «Ох, вы, немцы! Все-то вы умеете организовать с толком». И разрешил устроить водителя на ночлег в лагере — у охранников.

Ну, а с швейными машинами Эрвин и Курт будут разбираться уже завтра. Еще неизвестно, сколько там таких, что их еще можно отремонтировать. Может, найдем еще среди пленных специалиста-механика, а то и портного — портные ведь тоже должны разбираться, что там в машине неисправно.

Написали такое объявление, повесили на стенд «пропаганды». И дня не прошло, как объявились трое, один из них работал даже на заводе швейных машин. Я, наверное, больше не верю в случайности…

Рождество 1948 года и новый 1949 год

До Рождества остается пять дней, и в лагере неспокойно. Нас, «постоянный состав», тех, у кого есть пропуск на выход из лагеря по служебной необходимости без охраны, теперь за ворота не выпускают. Какая в этом логика, я ведь все равно могу выйти из лагеря — с колонной едущих на завод. Русские боятся волнений, потому что знают, какой это важный для немцев праздник — Рождество? Отношения-то с начальством добрые, а все же, видно, не доверяют нам…

Ну, и я спокойно становлюсь в колонну едущих на работу в силикатный цех. Тут я не чужой, меня знают, не зря же я рукавицами занимался… По правде говоря, дел у меня на заводе сегодня нет. И вообще комендант Макс велел нам, отделу труда и зарплаты, себя там особенно не афишировать. Нины сегодня на работе не будет, значит, на электростанцию идти незачем, и почти весь день я провел с Максом у него в кузнице. Поговорили и про строгости перед Рождеством, и про то, что никаких признаков бунта у нас в лагере нет и в помине; может быть, где-то в других лагерях? Макс считает даже, что благодаря Владимиру Степановичу у нас питание лучше, чем полагается пленным.

И еще Макс — это в первый раз! — рассказал мне, что у него здесь есть подруга; это высокая блондинка из инструментальной кладовой механического цеха. Ее зовут Людмила, я ее уже видел. Мне это очень интересно и хочется узнать побольше, но Макс ничего сказать не может. Он ведь хуже меня понимает русский, а Людмила совсем не знает немецкого. Перед самым концом рабочего дня я ее увидел в цеху, она как раз сняла платок, у нее светлые волосы до плеч, но она тут же упрятала их под меховую шапку. Потом она нас встретила — у них с Максом договорено место — по дороге на станцию, и Людмила не так уж молода, наверное, примерно того же возраста, что и Макс. Он стал объяснять ей, кто я такой и что мы с ним как отец и сын. Чтобы было понятнее, я переводил. Она, конечно, тут же спросила, почему это я говорю по-русски, а Макс нет. Сколько раз уже меня вот так спрашивали, а я и сам не знаю верного ответа.

Время идет незаметно, мы сегодня поспеем к первому поезду. Макс и Людмила прощаются, а я стараюсь представить себе, как это было бы с Ниной. Мне все больше хочется поскорее ее встретить. Вот возьму и пойду завтра прямо к ним на электростанцию. Должен же я узнать, нравлюсь я ей или нет! Но Максу я об этом ничего не сказал. Чтобы зря его не беспокоить.

И на следующее утро я отправился на завод с утренней сменой. Хотел сначала зайти в силикатный цех, только потом на электростанцию, но очень уж мне не терпелось поскорее увидеть Нину… Когда наконец дошел к дверям энергодиспетчерской, сердце так колотилось, что чуть не выскочило…

А там у стола, за которым должна быть Нина, сидят две незнакомые женщины. Спросить о ней не решился, сделал вид, будто ищу Михаила Михайловича, начальника станции. Они сказали, что сегодня его на станции не будет. Может быть, узнаю что-нибудь у секретарши начальника? Но ведь прямо спрашивать про Нину нельзя, какие такие дела могут быть у нее с военнопленным! Если я это сообразил, значит, еще не совсем потерял голову. А сейчас только восемь утра, что же мне делать на заводе до конца смены, до четырех? Побежал поскорее на станцию: вдруг пойдет поезд за чем-нибудь в лагерь. Но нет, надежда была напрасной. Значит, надо идти в кузницу, заняться там у Макса хоть чем-нибудь.

«Тебе что, делать нечего? — спросил он сразу как увидел меня. — Поможешь мне тут кое-что распилить». Ладно, мне все равно, лишь бы не слоняться без дела, если нет Нины.

Оказалось, Макс делает железную ограду для кого-то из заводского начальства. Концы железных стоек он отковывает, а мне надо нарезать их электропилой по заданному размеру. Занялся этим с удовольствием, я ведь со времени лагеря в Макеевке не занимался физической работой. А полушубок мой Макс надежно припрятал у Людмилы, чтобы не украли.

Длина стоек один метр, Максу нужно их больше ста, а дело с пилой идет медленно — всего одно полотно, уже затупившееся, оставшееся со времен немецкой оккупации. Однако к обеденному перерыву я напилил изрядную кучу этих стоек. А Макс уходил в кладовую к Людмиле, глянуть, как там мой полушубок. Наверное, она его хорошо запрятала, потому что Макс отсутствовал довольно долго. А вернулся он с яблоком для меня от Людмилы…

Часа в два дня котел и бачки с едой привозят и в этот цех. Откуда, интересно, у русских столько перловой крупы? Мне перловый суп нравится, но все же — трех раз в неделю было бы достаточно… Хлеб дали свежий, даже чересчур свежий, пухлый. Пекарня, наверно, старалась план перевыполнить, вообще же хлеб здесь чаще всего хороший.

Пообедали, Макс кует стойки и рассказывает: он слышал от коменданта Зоукопа, что наше представление, рождественский концерт — не разрешен. Потому что русские опять опасаются

каких-то «антисоветских проявлений». Макс тоже не видит смысла в такой подозрительности, но, как сказано, при всем хорошем отношении к нам, в конечно счете русские нам, немцам, не доверяют. Один русский офицер сказал как-то: «С вами, немцами, так просто не справиться. Каждую неделю отнимаем эти ваши самодельные ножи, а на следующей проверке — у каждого опять новый нож».

У Макса на огне в горне еще четыре или пять стоек, он их хочет отковать, и тогда мы работу закончим. Когда уходили из цеха, было уже начало седьмого, темно. Приходят сюда на работу затемно и уходят с работы в темноте. Людмила уже ждет нас на прежнем месте, мне достается еще одно яблоко. Она смотрела, как мы работали, и говорит, что мы — хорошая упряжка. А я прощаюсь и ускоряю шаг — скорей на станцию, пусть они еще немного побудут вдвоем.

Когда мы с Максом вернулись в нашу комнату, там уже шел «военный совет» — из-за отмены нашего концерта на Рождество. Вся подготовка, столько труда все репетиции — коту под хвост. Что ж тут обсуждать, может быть, и в самом деле кто-то уже «рвется на баррикады». Две с половиной тысячи человек, тут уж не каждого узнаешь, мало ли кто может на такое решиться. Особенно злится наш руководитель, дирижер Манфред. Он ведь столько нот переписал от руки, и все это к Рождеству, а в январе эти мелодии будут уже ни к селу ни к городу. Бросить бы все это к чертям, ведь в который раз русские нам всё портят… Но ведь не только! Нельзя не признать, что мы пользуемся немалой свободой, и ведь все музыкальные инструменты добыл для нас политрук. Ну, пройдет Рождество, и с русскими опять будет все нормально…

Сегодня сочельник, я остался в лагере и занимаюсь делами в конторе, в нашем отделе. Разговор у нас там общий, и мысли у всех одни и те же: что будет в Новом году. Будут ли нас выпускать из лагеря по нашим пропускам или нынешние строгости останутся? От нас тут ничего не зависит, как решат русские начальники, так и будет. Но конечно, это зависит и от того, все ли будет спокойно в лагере. Коллеги хотят услышать, как это нам удалось с рукавицами; я рассказываю. А потом мы все вместе идем к Эрвину, чтобы посмотреть, удается ли им в мастерской ремонт швейных машин.

При виде такого нашествия Эрвин пугается. «Вы что, на швейные машины смотреть явились?» — «Конечно! Зима ведь простоит еще два или три месяца, так что рукавицы всем нашим

пленным будут нужны». — «Дело непростое, — объясняет Эрвин. — Надо выбирать стратегию. Когда машины хорошенько почистили, заменили оборванные кабели, кое-то подогнули, проверили, оказалось — многие исправны. Ну, при демонтаже обходились с ними не слишком бережно. Так что, пожалуй, не надо торопиться».

Хорошее известие! Мы теперь подождем, пока пройдет Новый год, а потом сообщим Игорю Ивановичу на фабрику, где шьют рукавицы, что пять или шесть швейных машин они могут забрать. И поторговаться, сколько они нам дадут рукавиц за каждую. Я не думаю, что с этим будут сложности, нам ведь достаточно будут двух-трех тысяч пар.

После обеденного супа я вернулся в нашу комнату и прилег. Вот тебе на! Макс меня будит, вернувшись с работы, значит, уже семь или восемь вечера. Я мало спал последнее время, вот меня и сморило. Макс принес мне опять два яблока и привет от Людмилы.

А после ужина мы устроились в нашей «театральной» комнате. Макс читал книжку, а я сел писать письмо родителям и брату.

Из письма 24 декабря 1948 г.:

> *«…Сегодняшний день здесь ничем не отличается от вчерашнего или завтрашнего, от любого другого. Но у меня все равно рождественское настроение, хотя каждому из нас трудно не терять мужества. Мы же все так надеялись попасть домой до Нового года! Какой следующий срок назовут нам теперь? Но я очень прошу вас: не теряйте надежды, как мы здесь не теряем ее, и терпеливо ждите нашего возвращения. И не беспокойтесь обо мне, я справлюсь со своими заботами и сам. А вот что меня беспокоит больше всего, так это здоровье папы, оно ведь не совсем в порядке.*
>
> *Дорогой брат, не надо откладывать твою свадьбу до моего возвращения. А я буду надеяться, что мне выпадет счастье попасть домой к двадцать первому дню рождения.*
>
> *…Когда читаю газеты, я постоянно спрашиваю себя: почему эти вечные раздоры? Почему не все за мир и за единую Германию? Что, Германию, или, правильнее сказать, немецкий народ, так ничему и не научила эта ужасающая катастрофа? Неужели мы хотим снова*

принести себя в жертву?

Дорогие родители, дорогой брат, я заканчиваю это рождественское письмо. Будем же молить Отца небесного, чтобы Он даровал нам милость скорого возвращения домой. Самые сердечные рождественские пожелания шлет вам и целует вас

Ваш Вилли».

Я давно не получал писем, наверное, это связано со всей ситуацией, со страхами русских — а вдруг произойдут беспорядки. Ведь мама всегда отвечает на мои письма сразу, а то и пишет еще одно письмо, не дожидаясь моего следующего. Видно, письма где-то задержали…

Сегодня сразу после подъема всех нас, девять человек из отдела труда, позвали к коменданту Максу Зоукопу. Там уже ждали два русских офицера. И стали объяснять, какое нам теперь поручается новое задание. С оплатой лагерю за труд пленных сейчас все в порядке, рассчитывать новые расценки не нужно, а надо побеспокоиться о том, чтобы каждый пленный получше работал. А кто не хочет, тому надо разъяснять, какие могут быть последствия. И чтобы не занимались разговорами во время работы, и чтобы о любом нарушении немедленно сообщалось руководству лагеря. А еще мы должны помогать лагерной вспомогательной охране (вот обрадовали — еще и этим доносчикам помогать!). И всю свою работу на заводе записывать в специальную книгу. Распределение по цехам и сменам остается; едущих на завод в ночную смену должен сопровождать человек из нашего отдела; кто и когда — договоритесь сами…

Ну и сюрприз на Рождество! Только я сразу знаю, что ни о ком из наших пленных ничего плохого говорить не буду, этого мне только не хватало! Может быть, у русских есть конкретные подозрения, что в лагере что-то назревает? Не могу себе такого представить. У каждого своих забот хватает, но кто знает, везде бывают горячие головы, не только за колючей проволокой…

После этого нас отпустили. Про эту накачку рассказал я только Максу.

Дни после Рождества бегут как обычно. Сегодня попытаю счастья — зайду на электростанцию, в энергодиспетчерскую.

Когда открывал дверь, сердце стучало, но уже не сильно, как в прошлый раз, когда Нину не застал. Она на месте! Увидела

меня, вскочила, подбежала ко мне и, обняв, поцеловала в губы. Схватила за руку, потянула мимо улыбающейся Нелли в укромный угол и стала меня целовать…

«Как я рада, что ты пришел, я ждала, ждала тебя, Витюша, я так рада!» Я ответил на поцелуй как сумел, этому же учиться не нужно. Бормочу, что я тоже счастлив, и мы все целуемся и целуемся, а полушубка я так и не снял. Плохо соображаю, что это со мной происходит. Столько ждал этого момента, так мечтал, а теперь, на самом деле, все гораздо сильней, лучше!

Нина кладет мне голову на плечо, еще раз целует, прижимает к себе и отпускает. Показывает — вот большой железный шкаф. Туда можно спрятать полушубок, а то и спрятаться самому, если неожиданно придет кто-то посторонний. Я все хорошо и сразу понимаю; нам ведь нельзя бросаться в глаза, это было бы очень плохо и для Нины, и для меня, для нашей любви. И мы договариваемся о «сигналах». Уронить камень, например, подходя к двери, так чтобы Нина могла услышать. И если воздух чист, Нина мне откроет, а если дверь останется закрытой, значит, они с Нелли не одни.

Нелли тем временем заварила свежий чай, и мы сидим за столом совсем рядом, держась за руки. Не могу описать свои чувства, я просто счастлив, очень счастлив, ужасно счастлив!

Да, это любовь; двое нашли друг друга, нашли в непростой ситуации, когда надо прятать любовь, не то все кончится, еще по-настоящему не начавшись. Ведь я военнопленный, а Нина добропорядочная украинская гражданка. Но я так переполнен чувством, что рад бы закричать на весь мир: я люблю Нину, я нашел мою любовь, мою первую любовь! Все же мне, слава Богу, хватило благоразумия остановиться. И я даю себе слово, не делать ничего, что повредило бы Нине. Если бы я был сейчас свободным человеком, я бы ни за что не отпустил Нину, а на самом деле что? Страх, что о нас узнают. Слава Богу, у меня есть Макс, а у Нины — Нелли. И как же быть дальше? Сначала посмотрим, как нам устроить следующую встречу, при Нинином графике это не так просто…

Мы с Ниной скрываемся еще раз в том же закутке, страстно обнимаемся, а затем — хватаю полушубок; еще один последний поцелуй, и я за дверью. У самой двери Нина еще раз меня чмокнула. А теперь я должен остаться один, совсем один — и ощущать вкус Нининых поцелуев на губах. И я без дела слоняюсь между цехами.

Потом вернулся — надо же испытать наш сигнал! Камень нашел сразу, подошел поближе к двери, бросил его раз, другой…

Наконец дверь приоткрылась, выглянула Нина. Я ей объяснил, почему вернулся. Нина рассмеялась, и мне достался еще один торопливый поцелуй. Боже мой, как она улыбается, будто принцесса своему принцу! А камень я сунул в карман — пусть будет талисман на счастье. Кажется, я все-таки немного обалдел. Если бы была здесь церковь, пошел бы туда и на коленях благодарил Бога за этот дар судьбы. Но церкви нет, я обращаю молитву прямо к небу.

Я хотел бы теперь поскорее бежать к Максу, рассказать ему обо всем, но сдержал себя и отправился по цехам, к старшим наших смен, чтобы взять у них сведения о работе пленных. Никак не хочу потерять эту работу, ведь если что в моих отчетах будет не так, можно живо оказаться на погрузке угля или в силикатном цехе… Быстрее, наверное, чем я могу себе это представить. Немецкие старшие смен, бригадиры, тоже хорошо понимают, чего ждут от нас русские, видят в нас возможных доносчиков. Свинство все это, и непонятно, как нам снова добиться доверия от своих. Обо всем этом я уже говорил с Максом, а он меня успокаивал: работай, как работал, делай то же, что всегда, и тебе будут доверять. Так что я и мои товарищи из отдела труда надеемся, что все обойдется, что у Иванов не будет поводов наказывать пленных. Наши отчеты получает ведь комендант Макс Зоукоп, политруку докладывает он, и, наверное, уже сумел убедить русских, что в нашем лагере все спокойно и можно не опасаться волнений.

Это ведь и на самом деле так. Люди делают свою работу, свободного времени у них остается мало. Ведь возвращаешься в лагерь под вечер, а в половине пятого утра уже надо вставать. А единственное развлечение — это наши представления или изредка — кино. Обычно фильмы на русском языке, смотрят их со скуки, хоть какое-то развлечение…

Новогодняя ночь — особенная для нас. А у меня сегодня — ночная смена, и я не смогу отпраздновать наступление этого Нового года вместе с друзьями, в лагере. Однако же ночная смена тоже собирается отметить праздник. В литейном цеху изготовили что-то вроде колокола, русский крановщик помог подвесить его перед механическим цехом. Если по этой штуке ударить кузнечным молотом, раздается глуховатый, но сильный звук. Рядом — куски рельсов, они громко звенят при ударе. И в полночь раздался праздничный звон. Русские рабочие и работницы тоже выходили из цеха посмотреть и послушать, показался и покачал головой даже начальник литейного цеха.

Кто-то «организовал» бутылку водки и стакан. Его пустили по кругу, как на свадьбе. Бутылку опорожнили быстро… Еще раз ударили в «колокол» и по рельсам и разошлись по цехам — работать.

А я пошагал на электростанцию: узнать, может быть, Нина сегодня тоже на работе. Не всегда можно понять, как у них меняются смены, но я очень надеюсь — а вдруг именно сегодня, в новогоднюю ночь, я смогу быть вместе с Ниной! Я подошел к двери, достал камень, уронил и подвигал его ногой во все стороны, чтобы было громче… И дверь распахнулась! Нина в шубе и меховой шапке бросилась ко мне, обнимает меня и нежно целует. И тут же подхватывает под руку и тянет в сторону. «У меня есть время!» — шепчет Нина, и мы чуть не бегом спешим к заводской амбулатории. Там работает Нинина лучшая подруга Александра, она врач. У нее можно остаться на ночь, и никто не помешает…

По пути мы обнимались и глядели друг другу в глаза; наверное, они говорят больше, чем могли бы сказать слова. Ухватившись за руки, как дети, добегаем до медпункта. Нина позвонила. Александра — Нина зовет ее Алей — открыла нам, сказала: *«Privet!»* — и провела в комнату. Там пили сначала горячий чай и желали друг другу счастья и исполнения всех желаний; наверное, Нина уже рассказывала Але про меня. И вот, после недолгого чаепития Аля отвела нас в другую комнату и пожелала спокойной ночи. Можно остаться здесь до утра…

От волнения я даже не сумел помочь Нине раздеться; не просто от волнения, конечно, а потому что это в первый раз. А Нина помогает мне скорее сбросить с себя одежду и первая ныряет под одеяло; я туда же к ней, моей Нине. Прижимаюсь к ней всем телом, целую ее в губы, в глаза, но что делать дальше? Нина все понимает и осторожно берет дело в свои руки. И мы любим друг друга, изо всех сил, я счастлив и благодарю Бога за такой чудесный дар любви, за такую награду после всех перенесенных мучений. Это же просто чудо — первая любовь, и это — в плену! Замечательная женщина, презрев все запреты и грозящие ей наказания, захотела любви с юным немецким военнопленным… Нина тоже счастлива. Слезы радости видны на ее красивом лице, и я осушаю их поцелуями. Никогда не забуду этот солоноватый вкус!

…И вот к нам медленно возвращается способность говорить. Нина — ее голова лежит на моем плече — заговорила первая. «Я

весь день только и думала, как же сделать, чтобы сегодня, в новогоднюю ночь, пришел мой Витька. Я подумала — если буду в это верить, очень сильно верить, тогда наши мысли встретятся!»

И правда, похоже на телепатию, ведь я думал почти то же самое. И вот это случилось, какой замечательный Новый год! А что будет, если завтра можно будет ехать домой?.. Не решаюсь даже думать об этом: я уже чувствую, что после сегодняшнего меня уже не так тянет домой. Ну а чего, собственно, ломать голову над тем, до чего, я надеюсь, еще очень далеко? И как же я благодарен Максу за то, что он отговорил меня идти в политшколу в Москве!

Мы разговариваем, словно во сне. Рассказываем о себе, мы ведь так мало друг про друга знаем. Недавно, всего четыре дня назад, у Нины был день рождения, ей уже двадцать один год. Она росла у бабушки; отец погиб на войне, а мать, наверное, немцы угнали на принудительные работы в Германию. Во время оккупации она пошла однажды к подруге и домой не вернулась; о них обеих никто больше и не слыхал. Я рассказал Нине про молодых женщин, с которыми познакомился на шахте в Провиданке, их тоже после освобождения в Германии не отпустили домой, а отправили в трудовой лагерь за «сотрудничество с врагом». «Может быть, твоя мама тоже до сих пор в каком-нибудь лагере», — утешаю я Нину.

…А потом меня как током ударяет известие, что Нина то ли была, то ли до сих пор замужем, — я не сразу понимаю, что верно. Она осторожно старается объяснить это понятно. Три года назад она была в Москве, на комсомольском празднике и познакомилась там с офицером, он был намного старше. Они тут же поженились, потому что «господин полковник» торопился вернуться в свою часть, в Германию. Что брак этот был ошибкой, Нина поняла уже во время его первого отпуска. Он приходил домой с собутыльниками, случайные женщины тоже с ними бывали. А Нина становилась не хозяйкой дома, а прислугой; а муж мог уложить в постель и гостью. Такие оргии случались за два года трижды, и Нина ушла, вернулась к бабушке. Потом бабушка умерла, и теперь Нина осталась одна в маленьком домике…

Конечно, правда о замужестве Нины меня сначала сильно задела. Но я стал утешать ее, и вот уже она снова счастлива, и о неудачном прошлом можно забыть. Нина ведь подала заявление о разводе, но ее мужа нигде не могут найти. Я уверяю ее, что все это не имеет значения, совершенно никакого значения для нашей

любви. И мы скрепляем это заверение самыми страстными объятиями…

…Беглый взгляд на часы напоминает, что наша начавшаяся этой ночью вечность уже прерывается: ночная смена заканчивается в шесть утра, а я не могу пойти домой к Нине. Мне в другую сторону — в лагерь военнопленных. Мы цепляемся за последние минуты, но легкий стук в дверь напоминает, что время вставать. Аля, наш ангел-хранитель, уже приготовила горячий чай. Когда у всех нас снова будет ночная смена, мы можем опять прийти к ней, Нина от нее ничего не скрывает. Я благодарно обнимаю Алю и прощаюсь с ней, и как ни жаль, но пора прощаться и с Ниной, ей сегодня на работу во вторую смену, к двум часам дня. И я постараюсь попасть на завод, у меня ведь есть свободный день в запасе, а чтобы видеть Нину, я готов работать круглые сутки!

Последний поцелуй, мы еще раз обнимаемся, я прикладываю Нинины руки к своему лицу… И надо бежать, нам нельзя показываться вместе, обращать на себя чье-то внимание.

Едва поспеваю запрыгнуть в вагон, как поезд трогается. В вагоне почти пусто, я устроился в углу и еще раз переживаю про себя всю эту ночь, первую ночь моей любви, Нину, ее тепло и нежность, чудесную плату за все перенесенные в плену ужасы. Мои сны наяву обрывает грубый толчок: поезд остановился у лагерных ворот. Но я все еще там, с Ниной, этой нашей первой ночью…

А снаружи идет снег. Все торопятся в лагерь.

Это еще что такое? У нас в помещении явственно ощущается запах кофе! Неужели это заведующий кухней устроил в честь Нового года такое? Все верно: это настоящий кофе, и каждый получает еще по куску сладкого пирога, вот с таких штук начинается Новый год в нашем лагере! Я иду на кухню, получаю свою порцию и возвращаюсь в куском пирога и кофе в нашу «театральную» комнату, там собрались все наши «артисты». Как всегда, если я еще не пришел, место рядом с Максом Шиком не занято. Никто не понимает, как это возможно — настоящий кофе, да еще с пирогом, в лагере военнопленных. Макс знает ответ, он очень прост: заведующий кухней несколько недель копил запас муки и сахара, а каждый недополучал десять или двадцать граммов. Когда продукты привозят на такую компанию — нас ведь в лагере две с лишним тысячи человек, этого никто даже не замечает. А вот где он раздобыл дрожжи или что там требуется,

чтобы испечь пирог, — это остается тайной. Зато все без исключения искренне благодарны «шеф-повару» и его помощникам.

Наконец я остаюсь с Максом один и — просто не могу удержать события прошедшей ночи в себе. Не подробности, конечно, а про то, как Нина ждала меня на электростанции, как она была уверена, что мне передались ее мысли. Ну и что мы провели ночь у ее подруги в медпункте и что это была просто фантастика! А Макс ничего не спрашивает, он только обнимает меня и просит не делать ничего необдуманного, не рисковать собой и Ниной. Потому что, если про женщину узнают, что у нее с пленным недозволенные отношения, ее стригут наголо и отправляют в штрафной лагерь, откуда она не выйдет много лет. Так что лучше три раза подумать, чем один — дать себя застукать.

А потом мы с Максом идем на богослужение, это первый раз в плену! Наш зрительный зал полон, несмотря на все перенесенное, на все страшные мучения, многие солдаты не потеряли веру в Бога. Я помню, как на страшном пешем марше до Ченстоховой не раз усомнился в Господе Боге: как он мог допустить такую бесчеловечность?

…А пастор читает проповедь на библейский стих: «Я свет миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8, 12). Я ведь, хотя и был ревностным детским фюрером в «юнгфольк», любил бывать в церкви, никогда не пропускал занятий и службу перед конфирмацией. А уж сегодня как должен благодарить Бога за такой подарок — любовь с Ниной…

Удивительно, что на богослужении много русских. Они нам не доверяют? Думают, что если собралось вместе так много народу, то здесь могут быть и какие-то тайные встречи? Да нет, идет обыкновенная служба. И проповедь (а мы до сих пор и не ведали, что читающий ее — церковнослужитель), и благословение, и церковное пение обходятся без молитвенников. Наш музыкант Вольфганг Денерт ведет на аккордеоне знакомую мелодию, а слова *«Возлюбим Господа нашего!»* и *«Слава Тебе, Боже великий…»* знают все.

А после богослужения — ужин. Часть пайки каждого порезана на маленькие кусочки, а вместо вина — холодный чай; вот и соблюден ритуал священнодействия. «Отче наш…» басами мужских голосов звучит здесь как клятва, а наш пастор

заканчивает вечер словами: «…Спаси и сохрани нас, даруй нам скорое возвращение домой и единение с любимыми и счастье!»

В почти полной тишине покидаем мы превращенный на этот час в церковь зрительный зал. Во время службы я несколько раз едва не задремал; Макс каждый раз приводил меня в чувство легким тычком под ребра. А когда вернулись в нашу комнату, оказалось — я так возбужден, что и думать не могу о сне.

И я уселся писать новогоднее письмо домой. Может, напишу, тогда и засну.

«Советский Союз, 1 января 1949 г.

Дорогая мама!

Новый год! Я только что вернулся с богослужения. Не могу выразить словами те чувства, что меня охватывают. Ведь уже четыре года, как я был лишен новогодней трапезы. Мысли мои были там, где прошла когда-то моя конфирмация и пастор Шефер произнес Господне слово: «Я свет миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

А проповедь пастора на этот раз дала нам снова надежду, мужество, силу легче перенести разочарование, постигшее нас 31 дек. 48.

…Но не будем падать духом! Я по-прежнему здоров и не теряю надежды и мужества. Все земное проходит, пройдет и плен. Бог даст, это продлится не слишком долго!

Накануне мы смотрели прекрасный фильм «Риголетто». Новогоднему настроению под стать был особенно хороший ужин. К сожалению, в 22 часа мне надо было на работу, и я не мог встретить Новый год вместе с Максом. Но я следил вместе с товарищами с часами в руках за последними минутами уходящего года, и мы приветствовали Новый год звоном колокола… Было и немного шнапса, и это тоже помогло немного забыть о настоящем в надежде на лучшее будущее в наступившем Новом 1949 году.

А когда я утром вернулся домой (в лагерь!), там был приготовлен для нас кофе и сладкий пирог. Потом богослужение…

Я часто вспоминаю детство, и только теперь, дорогая мамочка, понимаю, сколько горя и забот причинял тебе своими глупостями. Я должен тысячу раз просить у тебя прощения. Не сердись на меня, дорогая мама! Я

заканчиваю это письмо в надежде скоро обнять тебя.

Твой сын Вилли.

Дорогой мой папа, дорогой брат!

Пусть принесет вам Новый год исполнение желаний. Я желаю вам всего, всего самого доброго.

Сердечно приветствует вас и целует

Ваш Вилли.

К моим пожеланиям и приветам присоединяется Макс».

Дописал, и меня сморил сон. Я уснул, хотя в комнате было по-прежнему шумно.

Заболел…

Проснулся только под вечер. Уже восемь часов, и я сразу вспомнил, что сегодня Нина в ночной смене. Ехать на завод, сейчас же? А если встречу товарища из нашего отдела, который должен быть сегодня в ночной смене, сказать, что ошибся? Надо только не попасться на глаза Максу, он-то знает, что я не в этой смене. А вообще-то пора идти за вечерним супом, и мы отправились на кухню вместе с Вольфгангом и Манфредом. Поел, сполоснул миску и ложку и стал собираться на завод. Без охраны нас по-прежнему не отпускают, значит, поеду, как уже было, с бригадой силикатного цеха.

На заводе стал обходить цехи, беседовать с бригадирами. Удивительно, сегодняшнее богослужение буквально у всех на устах. Но все же есть такие, кто и раньше слышать не хотел о Боге и церкви, а уж здесь, в плену, этот «опиум для народа» им и подавно ни к чему. Конечно, я ни с кем не спорю, я для них еще слишком молод и неопытен. Напарника из отдела я не встретил и о нем не слышал. А потом сообразил, что просчитался: сегодня не воскресенье, сегодня пятница, сегодня и завтра моя очередь быть на заводе в ночной смене. Так что зря я опасался, что придется что-то выдумывать.

А теперь — скорее к Нине! Сейчас два часа ночи, до возвращения смены в лагерь еще целых четыре часа. И камень-амулет у меня в кармане, я бросаю его под самую дверь, она тут же открывается, и вот я уже опять рядом с Ниной. Долгий нежный поцелуй, полушубок прячут подальше, и вот мы опять обнимаемся в закутке; смотрят на нас только железные шкафы с аппаратурой… Когда вернулись к столу, Нелли уже приготовила горячий чай. Нелли немного старше Нины, но тоже красивая.

Нина спросила, голоден ли я. Что же тут отвечать, я молодой, съесть что-нибудь готов всегда. И Нина достала из сумки *Piroschki*, они наполнены мясом с капустой. Я ей объяснил, как перепутал смены, и Нина обрадовалась, что я буду на заводе и на следующую ночь. Еще я рассказал про богослужение, и как это для меня важно. Раньше, когда Нина жила с бабушкой, она часто ходила в церковь, но в последний раз — когда хоронили бабушку…

Поговорив о церкви, решили попробовать, удастся ли действительно спрятать меня в приборном шкафу, если сюда придет посторонний. Справа между железной стенкой и аппаратурой есть немного места, я пытаюсь туда втиснуться. А

рядом — рубильники, они под напряжением. Боюсь пошевелиться, но ради Нины готов на все! Нелли тоже приходит глянуть, как я умещаюсь в шкафу. Она ведь тоже подвергает себя опасности, она — соучастница, как и Александра из медпункта.

А потом мы сидим за столом, пьем чай и беседуем — все трое; мы с Ниной ведь не хотим, чтобы Нелли чувствовала себя «третьей лишней». Хотя мой русский становится благодаря постоянным разговорам все лучше, Нина купила словарь — на случай, если что-то все равно будет непонятно. Мы счастливы, нежно смотрим друг на друга, время летит незаметно, но Нине пора уже позаботиться о «нашей комнате». Я пошел проводить ее и ждал в стороне.

Вот она вышла из медпункта. «Аля будет завтра в ночной смене…» А глаза у Нины светятся и в темноте, и мы договариваемся, чтобы завтра не перепутать: встретимся здесь, у медпункта, часов в одиннадцать — в полдвенадцатого. Нина перед этим зайдет к Александре. Мы рады, что это будет уже завтра, еще раз целуемся, и Нина уходит на электростанцию. Я иду по цехам. Моя последняя точка сегодня — механический цех, ночью там работают всего пять человек наших пленных, не то что в утренней смене, когда их чуть не сто. Еще раз навещать Нину поздно — всюду народ, ночная смена кончается, утренняя уже приехала и расходится по цехам. Даже Макса я не встретил. Хочу поскорее в лагерь, получить утренний суп, съесть его с хлебом — и спать, спать. Слава Богу, остальные жильцы нашей комнаты уйдут в утреннюю смену.

Проснулся только тогда, когда вернулся со смены Макс. Обед давно проспал. Рассказал Максу про путаницу с днями, он, оказывается, тоже в них запутался из-за праздников. Посмеялись и вместе пошли ужинать. Мне полагалась вторая порция за пропущенный обед, но, видно, ожидание новой встречи с Ниной совсем отбило мне аппетит; даже хлебную пайку я отдал Максу.

Ровно в половине двенадцатого, как договорились с Ниной, я стою у медпункта. Нины не видно. Еще по дороге сюда я пообщался с несколькими бригадирами, чтобы было что писать в отчете; теперь стою и жду. И вот дверь медпункта открывается, оттуда выскакивает Нина и хватает меня за руку — скорее туда! Александра, Аля, еще приветливее, чем в новогоднюю ночь. Как всегда, заваривают чай, а я беседую с ними обеими. Включен радиоприемник, и я слышу немецкую речь: *Radio Wien,* говорит Вена…

А после чая мы отправляемся «в нашу комнату». Только

теперь, когда Нина разделась и предстала передо мной в коротких трусиках, я понял, какая у нее чудесная фигура; в зимних одежках это ведь незаметно… И опять нежные объятия, опять прекрасная ночь, только истинная любовь может дать эти чудесные чувства, которые я испытываю с моей Ниной. Прежде чем уснуть, Нина на минуту исчезает, чтобы попросить Алю разбудить нас в пять утра. И наконец мы засыпаем, голова Нины покоится на моем плече.

…Аля стучит в дверь, первой просыпается Нина. Нам надо спешить — это Нина могла бы не торопиться, а мне нельзя опоздать на поезд, везущий ночную смену в лагерь. Глоток чая, поцелуй на прощанье, и мы расстаемся.

На станцию пришел весь потный, так торопился. Но ничего, поезд запоздал. Он всегда катится медленно, наверное, паровоз уже совсем старый. В вагоне устроился в углу и сразу заснул. Проснулся, когда поезд остановился, так почти всегда. Наверное, меня продуло в вагоне, чувствую себя отвратительно. Полушубок пропотел, а пересчитывают нас на входе сегодня особенно долго. Получил утренний суп и сразу улегся. Так замерз, что завернулся в два одеяла — второе взял с кровати Макса. Когда проснулся, Макс сидел рядом. А я весь в поту, у меня, наверное, температура.

«Самое лучшее — иди сразу в лазарет», — сказал Макс и пошел за сухим бельем для меня. А верхняя одежда, на вате, слава Богу, уже высохла. Я оделся, надел шапку, и Макс повел меня в больницу.

Там дежурит молодая докторша Мария Петровна, первым делом она поставила мне градусник. Температура оказалась 39,3; доктор сказала, что я останусь здесь. Тут же сделала мне какой-то укол. Макс ждал, пока она слушала мою грудь: вдохни, еще раз, не дыши, покашляй… И решила: ставить *Banki*. Их обжигали, прижимали открытой стороной к моей спине, они присасывались. Восемь или десять этих «банок». Меня накрыли сверху теплым одеялом и велели лежать — с банками на спине. В палате четыре койки, я здесь один. Лежу под одеялом на животе и чувствую, как банки все сильней присасываются к моей коже. А мысли бегут к Нине. Наверное, мне теперь придется пробыть здесь несколько дней, так что послезавтра ничего не выйдет. А вдруг, если не будет температуры, меня отсюда отпустят завтра?

Пока я предавался этим мечтам, появилась Мария Петровна, спросила, как я себя чувствую, подняла одеяло и стала снимать банки с моей спины. Это здорово больно, банки ведь у меня на спине всосали в себя кожу и «мясо». Сняв последнюю, доктор

намазала мне спину чем то маслянистым, пахнущим эвкалиптом. Еще раз измерила температуру, теперь было 38 с чем-то. Она осталась довольна и ушла, а я остался на попечении санитара. Его зовут Гюнтер, он из портового города Киля. Гюнтер сделал мне повязки на ногах, ниже колен, и тоже ушел. Я остался в палате один.

Стал укладываться поудобнее, чтобы спать, а тут пришел санитар ночной смены. Представился, его зовут Вальтер, и сказал, чтобы если что — не стеснялся позвать его ночью. И я крепко заснул. Проснулся только утром, когда Вальтер зашел, чтобы отвести меня в уборную. Оттуда — опять в постель, ведь Мария Петровна прописала мне строгий постельный режим. Она ведь сказала, что у меня, наверное, плеврит. Вальтер принес завтрак — мясной бульон, кусок белого хлеба. Температуру измерили, она поменьше, но все же почти 38 градусов; напрасны мои надежды, что отпустят сегодня…

Пришла с осмотром пожилая докторша, под расстегнутым белым халатом видна военная форма, на груди ордена. С ней две молодые женщины, халаты застегнуты, но все равно видно — они в военном. А Вальтер у двери ждет, что скажут врачи. Старшая подозвала его: «*Perewedi!*» Я тут же сказал, что говорю по-русски, переводить не надо. Больничный формуляр на меня вчера, наверное, не заполнили, и пожилая докторша расспрашивает меня: что болит, какая температура, где работаю, сколько мне лет, чем болел и лежал ли раньше в больнице. Я рассказал про больницу в Киеве, где лечили раны на голенях, показал шрамы. Про лазарет после допросов у Лысенко говорить не стал.

Доктор спокойно выслушала меня и стала осматривать. Увидела, что мне уже ставили вчера банки. Велела лечь на живот, ощупала мои ягодицы и приказала помощнице принести сумку. Достала оттуда шприц и всадила мне в зад; жжет от этого укола как огнем. Спрашивать, что это, я не решился, ей виднее, я ведь не частный пациент!

Сказала только: «*Budesch spat do wetschera!*» — и вышла из палаты. А я действительно тут же заснул. Когда проснулся, рядом с кроватью уже сидел Макс. Улыбается, радуется, что я в хороших руках; санитар Гюнтер уже рассказал ему про врачей и лечение. Макс спросил, чего бы я хотел из еды или питья. «Спасибо, Макс, — отвечаю, — ничего не надо, тут все дают. А вот если бы ты попросил Людмилу зайти к Нине на электростанцию и сказать, что я в больнице и чувствую себя хорошо…»

А как на самом деле? Вечером у меня опять 38. Ощущаю слабость, и в боку болит, может, от банок? Вот Макс тоже посмотрел и сказал, что у меня на спине красные пятна и припухлость. Интересно, а что скажет Мария Петровна? «Она уже была, — отвечает Макс. — Да ты так крепко спал, что не стали тебя будить».

Когда Макс уже собрался уходить, пришла Мария Петровна. Придвинула стул, села рядом с моей кроватью и позвала Гюнтера — переводить. Значит, вчера вечером, когда меня сюда привели, я говорил только по-немецки? И я, естественно, сказал Марии Петровне, то же, что и докторше, которая приходила утром, — что я понимаю и говорю по-русски. Она встрепенулась: «Что еще за другой доктор?» Я, разумеется, ничего не знаю, санитар Гюнтер, тоже не знает. Мария Петровна куда-то ушла, потом вернулась, чем-то недовольная. Еще я заметил, что он слегка волочит правую ногу…

Опять она осматривала меня, слушала легкие и сердце, мерила температуру — опять 38. Что-то записала в свои бумаги, пощупала спину, где следы от банок. Сказала, что нежная кожа, осторожно натерла какой-то мазью. Это было очень приятно, я ей так и сказал. Мне показалось, что она даже покраснела немного, или, может быть, это от того, что в комнате жарко. Еще я рассказал ей, как заболел в Киеве, когда работал с Алешей, как меня бил озноб и была высокая температура, и про ужасное на вкус питьё, которым меня лечила *Babuschka*.

«Малярия! — сказала Мария Петровна, подумав. — Но чтобы зимой…» Взяла у меня еще кровь на анализ и наконец стала заполнять историю болезни. Имя, фамилия, как зовут отца, год рождения, с какого времени в плену… И Мария Петровна произнесла едва слышно: «*Takoj molodoj*…» Еще спросила — в каких лагерях и лазаретах находился. Я все рассказал: и про допросы у Лысенко, и как после этого оказался в больнице, и что даже говорить не мог. В эту тему она вдаваться не захотела, велела Гюнтеру дать мне на ночь таблетки, чтобы лучше спал. Давали ужин, потом Гюнтер принес мне смену чистого белья — кальсоны с тесемками, чтоб завязывать на ногах, и рубашку с такими же завязками у ворота. Сменил влажную простыню: я потею. И меня стало клонить ко сну, таблетки действуют…

Утром разбудил меня санитар Вальтер — ставить градусник. Температура уже меньше — 37,4. На завтрак пшенный суп и белый хлеб. Пришла и Мария Петровна, она довольна, что температура упала, а что покажет анализ крови, она еще не знает. Опять слушала легкие и смотрела следы от банок на спине. Опять втирала мазь.

…Если бы это Нина трогала так мне спину, я бы, наверное, сразу выздоровел. Правда, от рук фрау доктор мне тоже очень приятно. И еще она сегодня осматривала шрамы у меня на ногах, хотя ноги давно не болят. Сказала, что они должны быть в тепле, что иначе раны могут открыться, а это опасно — такое плохо заживает. «Тебе сделают повязку!» Надо же, такое внимание, прямо как в частной клинике… И действительно, вскоре появляется Гюнтер и делает мне на обеих ногах повязки с мазью, сильно пахнущей рыбьим жиром. «Ну, Вилли, — говорит он, — здорово у тебя получается с нашим доктором. Ведь такая неприступная была, а как с тобой возится!» — «Сам видишь — может, она так заботлива, потому что я говорю по-русски?» Санитар не унимается: «Там две палаты по восемь коек, и все заняты. Могла бы кого-нибудь сюда переложить, чтоб у них было посвободнее». — «Конечно…»

Я и сам уже задумывался: почему я здесь лежу один. Но уж спрашивать об этом доктора Марию Петровну точно не буду…

День проходит за днем. Мария Петровна смотрит меня каждый день, иногда по два раза. Макс заходит каждый вечер и однажды приносит чудесную весть: приветы и поцелуй от Нины. Она уже беспокоится о моем здоровье. Больше недели в больнице — это непривычно. А Мария Петровна, бывает, приходит ко мне в палату под каким-нибудь предлогом и расспрашивает о Германии, из каких я мест и о нашей семье. Совсем не по медицинской части… И по правде говоря, эти разговоры с ней мне очень приятны. Мне велено выходить теперь каждый день по два раза на свежий воздух — привыкать к морозу.

Как-то ночью Марию Петровну вызывали по экстренному поводу в другую палату; потом она зашла и ко мне — посмотреть, все ли в порядке. И вот что сказал об этом Макс, когда я поведал ему о таком заботливом уходе: «Только не вздумай рассказывать про это Нине! В женской душе разобраться трудно, а ты, видно, нравишься докторше. Так что пользуйся ее отношением, пока оно платоническое; скоро ведь настанут суровые будни!»

Мария Петровна велела при выписке, чтобы недели через две-три я явился на повторный осмотр. Многовато чести военнопленному… И по этой причине в конце января 1949 года в моем письме маме ко дню ее рождения были такие строчки:

«…Вы совсем неверно представляете себе нашу жизнь здесь. Вы не поверите, какие хорошие у нас отношения с

русским населением и с офицерами в лагере. Они просто чудесные».

Наш лагерь — оазис человечности

Встретили меня в нашей комнате приветливо. Три недели пробыл я в лазарете, похудел, но чувствую себя хорошо и радуюсь, что теперь опять рядом с товарищами, рядом с Максом. Здесь, в лагере, хорошая новость: во всех помещениях появились репродукторы, играет радио. Откуда они взялись?

…По заявке из города 25 военнопленных посылали на разгрузку вагонов. В числе прочего там оказалась аппаратура с телефонной станции, из Вены. Гора телефонных аппаратов, сваленных, как попало. Известное дело — демонтаж, надо поскорее, чтоб начальство похвалило…

О телефонах прослышал наш заведующий мастерской, мастер на все руки Эрвин Шипански. И попросил товарищей, которые работали на разгрузке, раздобыть там и принести в лагерь побольше микрофонов и слуховых раковин. Повытаскивать их из телефонных трубок, проще говоря. Там же нашелся телефонный провод, и его тоже увезли в лагерь — договорились с водителем продуктовой машины, чтобы «заехал на минутку» туда, где разгружали эти вагоны.

Комендант Макс Зоукоп попросил разрешения сделать проводку во все комнаты, и Владимир Степанович разрешил. А репродукторы смастерили из картона сами. Доносится из них, конечно, не концертное звучание, но все же! А в кабинетах Зоукопа и Владимира Степановича электрики смонтировали микрофоны, чтобы начальники могли запросто сделать объявление или позвать кого им надо. И в комнате для наших «артистов» тоже радио, и мы можем теперь заниматься под музыку.

На следующий день я пошел в свой «отдел труда». Там товарищи тоже обрадовались, что я выздоровел. На завод ехать пока не надо, здесь в конторе тоже полно дела, разной писанины. Очень хочется поскорее на электростанцию, к Нине, но я решил не торопиться.

Из письма домой 13 февраля 1949 г.:

> *«Дорогая мама, дорогой папа!*
>
> *Сегодня воскресенье. Разбудила нас утром музыка — утренний концерт по радио из Германии. А письмо я пишу после богослужения.*
>
> *…Вот уже февраль, через месяц будет мое*

совершеннолетие, 21 год, но, к сожалению, время плена еще не закончилось. Но 1950 год мы встретим, конечно, уже вместе. А пока здесь все еще стоят морозы; несколько дней мы даже не ходили на работу — температура опускалась до 28 градусов.

…Несколько слов только к тебе, дорогая мама. Когда мне было шестнадцать, я не мог понять, почему тебе не нравилось, если я проводил вечер с Хильдой… Чего только я не был лишен в этом смысле за прошедшие с тех пор четыре года! Время ведь не стояло на месте, и я вырос, стал мужчиной. Дорогая мама, прости меня, я ведь не знаю, все ли ты верно поймешь. Но я мечтаю о времени, когда смогу открыть мое сердце перед тобой, освободиться от всего, что меня гнетет.

Слава Богу, что со мной рядом Макс. Лучшего старшего друга, я бы даже сказал — наставника, я бы найти не мог. В этом году ему исполнится 36…

Я закачиваю письмо с уверенностью, что ждать возвращения домой осталось недолго.

Ваш сын Вилли».

Если можно говорить о «хорошей жизни» в плену, то мне живется хорошо, гораздо лучше, чем большинству пленных. Я хорошо овладел русским языком, и это приносит плоды; если бы не язык, быть бы мне на тяжелой работе в силикатном цеху, на электростанции или у мартеновских печей, на жгучем холоде или в жарище. Но в общем, всем нам в этом лагере сильно повезло: немецкое лагерное начальство хорошо ведет дело. И вместе с начальством советским старается, как только возможно, облегчить жизнь всем военнопленным. И без Владимира Степановича, без его почти отеческой заботы о нас, это было бы невозможно здесь — в стране, для многих пленных все еще остающейся вражеской.

А если вспомнить пересыльные лагеря! Ченстохова, 40 000 пленных, ужасающие условия, отсутствие гигиены и скудное питание, ледяной холод в бараках. Лагерь в Дембице, где над нами измывались свои же немецкие охранники, а санитарные условия были еще хуже. По сравнению с этим лагерь в Перемышле показался мне раем… А потом Киев, немецкий «полковой командир», желавший властвовать над нами. Если бы я знал его фамилию! Под суд надо такого гада, чтоб получил по заслугам. Сволочь рыжеусая, бесстыжая! Скольких из нас он бил и пинал, и все это на глазах у русских, им на потеху…

На шахте в Макеевке немецким комендантом в лагере был

уже Макс Зоукоп, он старался как мог; если бы русские позволили управлять ему, там был бы тоже образцовый лагерь. И только здесь, в Мариуполе, благодаря начальнику лагеря Владимиру Степановичу, Максу Зоукопу удалось создать в нашем лагере военнопленных человеческие условия, настоящий оазис…

Конечно, и здесь не все то золото, что блестит, но, когда я слышу рассказы товарищей, прибывших к нам из «колхозного» лагеря, я благодарю Бога за то, что проведу последние — надеюсь! — месяцы плена здесь, в этом лагере.

Ну а что с операцией «вы нам рукавицы, мы вам швейные машины»? Надо узнать у Эрвина, заведующего мастерской. Я пошел туда. Вижу — там стоят только две такие машинки. Что, остальные уже отремонтированы и отправлены на фабрику? «Разумеется!» — отвечает Эрвин и рассказывает, как было дело.

Сначала Владимир Степанович велел отправить туда пять отремонтированных машинок, но с условием: машина, которая за ними приедет, должна везти сюда рукавицы. Вот так дело и пошло — раз за разом, пока не починили и не отправили на фабрику все. И вот уже неделя, как два пленных механика постоянно находятся там, на фабрике, и ремонтируют швейные машины на месте. Были сомнения — как их туда доставлять, очень уж далеко, но Макс Зоукоп убедил Владимира Степановича, что лучше поселить их обоих на той фабрике, и они будут там спокойно работать… И теперь у каждого пленного в нашем лагере — безразлично, работает он на холоде или в цеху, — есть рукавицы. А вещевой склад в лагере буквально забит ими!

И я ощущаю никогда еще не испытанную радость от того, что затеял это дело — на пользу всему лагерю. А еще наш театр — ведь скоро мы опять будем выступать, доставлять нашим зрителям удовольствие, этим тоже можно гордиться. Но, повторяю, без доброго отношения и забот Владимира Степановича ничего бы этого не было. Было бы как в других лагерях. Многие думают так же, не все, конечно; многие недовольны — он ведь ничего не сделал, чтобы нас скорее отпустили домой, ему, наверное, нравится командовать лагерем, в котором все в порядке и пленные хорошо работают, «восстанавливают народное хозяйство». Когда возникают такие споры, я не могу удержаться и решительно «защищаю» начальника лагеря. Недовольные и сами должны быть рады, что они теперь не пашут в колхозе, да еще на таком морозище. А у нас ведь в лагере отопление во всех помещениях, и его ни разу не выключали. Одно это многого стоит!

Наконец приходит день, когда я еду в завод; в понедельник, к шести часам утра. Конечно, ноги готовы нести меня прямо на электростанцию, скорей к моей Нине, но рассудок подсказывает — не торопись, будь осторожен! Ждал четыре недели, подожди еще 10–15 минут, ничего не случится. И все-таки я поторапливаюсь. Камня, которым я «подавал сигнал», давно нет, нашел другой, стукнул о крыльцо… Дверь распахивается, Нина хватает меня за руки, тащит внутрь, обнимает и целует. Не успев поздороваться с Нелли, я уже с Ниной в укромном углу. Полушубок долой, она его прячет и бросается ко мне.

«Moj lubimij, ty moje stschastje! — и засыпает меня вопросами и восклицаниями. — Ты похудел, ты весь такой? Что там тебе делали? Как тебе было в больнице? Ах, почему мне нельзя было за тобой ухаживать! Я так рада, что могла через Людмилу узнать про тебя от Макса. Я бы что-нибудь передала тебе, да ведь фруктов зимой нет! Я так счастлива, а ты, наверное, еще слаб, пойдем скорее сядем!»

Вот теперь я могу поздороваться и с Нелли…

Как всегда, на столе горячий чай, а Нина принесла еще шоколад и сладкое печенье, я должен это съесть, а завтра она принесет еще свежее молоко, чтобы я скорей поправился. А я не знаю, как мне ответить на такую беззаветную любовь и только целую Нинины руки.

…Сегодня мне приходится прятаться, да не один раз, а два — лезть в железный шкаф, в котором — рубильники под напряжением. В первый раз ненадолго, кто-то зашел минут на пятнадцать, но все равно они кажутся вечностью, когда стоишь там, боясь шелохнуться. А вот второй раз это продолжалось, как рассказала потом Нина, почти час. Приходили монтажники и меняли проводку на одном из щитов. Нина даже расплакалась… Она бы меня совсем не отпустила, да мне надо до конца смены побывать еще в цехах.

Ничего, теперь у нас опять пропуска, так что возвращаться в лагерь мне не обязательно с той же сменой. И Нина скрепя сердце отпускает меня, а я обещаю, что обязательно загляну сюда сегодня еще раз.

Скоро час дня. Медленно шагаю по морозу в мартеновский цех, к Ивану Федоровичу. Встретились так, словно давно пропавший без вести брат вдруг вернулся домой. Сыплются вопросы — где я пропадал и что со мной было, никто ведь точно не знал. Я все это рассказываю, и, конечно, за мое благополучное возвращение приходится выпить водки. Закуска — сардины в

масле и свежий, так чудесно пахнущий хлеб. Потом еще… Отпускает меня Иван только после того, как его срочно зовут к одной из печей. Сердечно обнимает меня, как это делает на людях он один, и прощается: *«Do poslezawtra!»*

Я однажды спросил Ивана Федоровича, не боится ли он, что на него донесут за такое общение со мной, военнопленным. А он ответил: «Знаешь, Витька, пошли они все… туда-то. К черту их всех, и к черту мою бабу!» И опять я вижу, что он относится ко мне ну прямо как к сыну…

Мы расстались, и я пошел в силикатный цех. Там меня сердечно встретил немецкий бригадир Хуберт, мы не виделись с тех пор, как затеялось дело с рукавицами. Благодарил меня и потащил к начальнику, вот, мол, благодаря кому мы теперь выполняем нормы… Хуберт позвал еще русского начальника смены Володю, и мы втроем явились к Петру Ивановичу, которого и надо благодарить на самом деле — с него ведь все началось, он позвонил на фабрику, где шьют рукавицы. Оказывается, ему не сказали, что пленные отремонтировали уже полсотни швейных машин для фабрики и продолжают эту работу. А поскольку он рад, что пленные у него в цеху теперь лучше работают, опять появляется секретарша — как водится, с подносом. Колбаса, мясо, хлеб и стаканы, а водку Петр Иванович принес.

Пить нас не заставляет — можно символически, чтобы не захмелеть. А вот на мясо и колбасу налегайте, советует Петр. А когда мы через полчаса уходим, секретарша вручает Хуберту пакет, в нем колбаса, сало, огурцы, хлеб — все, что осталось от закуски у начальника. Хуберт страшно удивлен, потому что в цеху многие считают, что начальник ненавидит немцев. Вот и пойми эту русскую душу!

Механический цех неподалеку, теперь туда, к Максу. Еще ведь надо поблагодарить Людмилу за то, что держала Нину в курсе дела, пока я болел. Макс был занят, ковал с двумя подмастерьями какую-то здоровенную железину, и я пошел прямо к Людмиле. Она стала мне рассказывать, как Нина обо мне беспокоилась, ведь целых три недели меня не было, а если пленный три недели в больнице, то, значит, дело плохо — пленные должны ведь работать, а не болеть так долго… Когда я вернулся от Людмилы в кузницу, Макс все еще был сильно занят; я попрощался и отправился поскорее к Нине — до отхода поезда в лагерь оставался целый час.

Она меня ждала и уже нервничала. «Я боялась, что ты сегодня больше не придешь!» Поцеловала меня, почуяла запах водки,

наморщила лоб и сказала очень серьезно: «*Witka, nelsja pit wodku!* Только из больницы, а уже делаешь глупости. Пожалуйста, Витюша, *milenkij moj*, тебе выздоравливать надо, а не водку пить!»

Я стал рассказывать про Ивана Федоровича и Петра Ивановича и тут вспомнил, что обязательно должен попасть сегодня еще в литейный цех, к заведующему формовочным отделением. Там какие-то неполадки с формой для отливки корпуса редуктора, а делал ее наш военнопленный. Нина хочет, чтобы мы завтра встретились у Александры, она может оставить нас у себя прямо с утра… Я, разумеется, хочу того же. И мы уговариваемся встретиться завтра возле медпункта около шести.

Литейный цех недалеко от электростанции. Немецкий бригадир Карл Гейнц помог мне искать начальника цеха, нашли мы его в конторе, где мой предшественник венгр Ференц навещал свою подругу Любу. Секретарша дала нам понять, что Владимир Васильевич, ее начальник, не в восторге от того, что мы сюда явились. К тому же он, кажется, не совсем трезв. Просит не мешать, а прийти завтра в два часа дня к нему в кабинет.

Замечательно, мне подходит как нельзя лучше! Карл Гейнц возвращается к своей бригаде, а я иду в сторону механического цеха, надеясь встретить Макса. Не застал, наверное, он перед уходом заглянул к Людмиле. Встретились мы уже на станции, Макс как всегда в отличном настроении. Уже по дороге, в вагоне, могу наконец рассказать ему про сегодняшний день, про Нину. И как всегда, он слушает и почти ни о чем не спрашивает. А сегодня вечером мы будем репетировать — к следующему выступлению. «Давай-ка лучше немного соснем, — говорит Макс. — Вечером ведь надолго задержимся».

Приехали в лагерь, пришли в нашу комнату. Стянули с себя тяжелую одежду, сходили за вечерним супом. «Артисты» уже собрались. Четверть часа на передышку — и репетиция начинается. Часа три гоняет нас Манфред, а после этого оказывается — нет, вот эту, мол, сценку, надо повторить еще раз. Едва не полночь, когда добрались наконец до кроватей.

А утром обычное дело — сигнал, подъем, умывание, если вода из кранов течет. Потом — за супом, не забыть пайку хлеба, и — по вагонам, на завод. Сегодня мне не терпится — ведь в шесть часов встреча у медпункта с Ниной. Я очень надеюсь, что с ней ничего не случилось…

Вместе с Максом направляюсь к механическому цеху, потом — раз, и в сторону, к амбулатории. Нина ждет, вся в нетерпении

— уже ведь шесть часов. Слава Богу, еще темно, нас никто не замечает, и мы скрываемся за дверью. Аля нас приветствовала, мы прошли в «нашу» комнату, тут же стали обниматься и целоваться. Нина хочет обязательно помочь мне раздеться, она уверена, что я очень слаб, ведь целых три недели был болен. Стаскивает с меня ватник и валенки, туда же летит и все остальное, и вот мы уже лежим рядом под одеялом. Нина прижимается ко мне, осторожно трогает спину — следы от банок, которые мне ставили в больнице. Беспокоится, что я, наверное, еще не совсем здоров для объятий, но я ведь так не считаю, ну, и все улаживается…

А Нина мыслями все еще в тех днях, когда я был болен. Она боялась, что меня отправят в другую больницу, и сюда я больше не вернусь. Ужасно беспокоилась, ведь столько времени меня не было! А что доктор Мария Петровна держала меня в лазарете неприлично долго, Нина ведь не знает, да я и сам далеко не сразу понял, что Марии Петровне явно нравилось натирать мне спину и при этом откровенно ее поглаживать. И компрессы на ноги были мне, наверное, не лишними, но какая же русская докторша станет уделять пленному столько внимания? За больными в других палатах такого ухода не было. Нине я, конечно, не скажу, что Мария Петровна, может быть, могла питать ко мне другие чувства…

Нина считает, что за эти три недели я побледнел и похудел, все ребра пересчитать можно. Сплошные преувеличения.

«У нас сегодня будет хороший обед, вместе с Алей, здесь, в амбулатории», — заключает Нина. «А что будем делать, если кто-то войдет, когда будем сидеть за столом?» — спрашиваю я в некотором сомнении. «Мы тебя так оденем, что никто не поймет, что ты военнопленный, ты же хорошо говоришь по-русски».

Что она только на себя не берет, чем только не рискует ради любви! Ведь даже то, что пришла на завод не в свой рабочий день, уже подозрительно. Ведь тут стоит кому-нибудь норму не выполнить — и уже разговоры про «саботаж»… «Я благодарна Богу за то, что он свел наши пути, что он дарит нам это счастье, — шепчет Нина. — Бабушка научила меня молиться, и я не устану просить Бога, чтобы он помог нам сохранить его».

Стук в дверь, это Аля возвращает нас в действительность. Она зовет нас к столу — готов обед. Нина выскальзывает из кровати, что-то на себя набрасывает и исчезает за дверью. И вскоре возвращается с ворохом одежды: брюки, рубаха и куртка, на которых не написано слово «военнопленный». Они мне даже впору… И комнатные туфли, наверное, самодельные. Ведь в

валенках или ботинках входить в эти помещения вообще не разрешается, так что мою обувь никто не должен видеть. И еще она меня причесала моей же расческой из листового алюминия. «Вот таким ты мне нравишься!» — заявляет Нина, и мы идем к столу.

Александра приготовила жаркое из крольчатины, вареную картошку, нарезала капусту с морковью. Нина накладывает мне полную тарелку. Еще на столе грузинское белое вино, а на сладкое — компот из груш, это домашние консервы. Если бы мои родители или брат могли меня здесь увидеть, они бы не поверили, что я в русском плену; мне и самому сейчас трудно в это поверить. И я задумываюсь о тысячах, о сотнях тысяч немецких военнопленных, которым не так повезло, как мне.

Уже начало первого, и мне пора в литейный цех, а прежде чем идти к начальнику, надо еще справиться о деле у немецкого бригадира. Я пошел переодеваться, а то еще можно забыть про здешнюю одежду… Мы трижды расцеловались с Александрой, как здесь полагается друзьям; а Нина меня обнимает и не хочет отпускать. Плохо, конечно, что нам надо прятаться, встречаться только тайно, глядеть все время в оба, чтобы никто ничего не заметил.

Конечно, я и до знакомства с Ниной уже хорошо знал, что такое плен. Но теперь, когда я люблю Нину, ощущаю всю униженность человека в плену вдвое сильней. Как ужасно, что война сеет повсюду смерть и опустошение, превращает землю в пустыню, сравнивает с землей целые города, гонит людей из родных мест, отбирает детей у отцов и любимых у жен. А самое худшее, по мне — это плен. Бесконечные физические и духовные страдания, произвол охранников, чья власть над нами безгранична, лишение всех человеческих прав. Не говоря уже о том, что многолетнее пребывание в плену изменяет характер человека.

И вот в этих немыслимых условиях я впервые испытываю любовь. Любовь к женщине, без которой я не хочу жить. Всем на свете я хотел бы сказать о любви к моей Нине. Кричать, что нет на свете ничего выше любви и что заглушить ее невозможно. Но я ведь должен быть счастлив уже тем, что эта любовь есть, безразлично, при каких обстоятельствах и условиях! Верно, я благодарю Бога за всё это. И уже сейчас страшусь того дня, когда нас освободят из плена, отправят домой, в Германию, и я должен буду расстаться с Ниной.

Сколько раз уже я ломал себе голову над тем, существует ли возможность не расставаться с Ниной, быть с ней вместе до конца наших дней. Я что, хочу остаться здесь и после плена? Или, может быть, увезти Нину с собой? Наивно всё это, вот что… Ведь без разрешения властей Нина не может поехать даже просто в другой город. Посоветоваться с Максом, может быть, у него такое же с Людмилой? А может быть, сбежать вместе с Ниной, куда-нибудь, совсем в другие места, и там начать вместе новую жизнь? Но на что жить? У меня ведь никакой специальности, ну, удачно рисовал, так это еще ничего не значит…

Нет, все это пустые мечты. А вот если бы хоть какая-нибудь возможность для Нины поехать вслед за мной, когда меня отпустят из плена, — вот это было бы самое лучшее. Каждый день буду писать ей длинное любовное письмо, пока она не сойдет с поезда в Эссене и я не обниму ее снова — уже навсегда. Вот это было бы исполнением всех желаний…

А сейчас пора в литейный. Надо постараться объяснить начальнику цеха, что пленные рабочие не виноваты в том, что готового литья не хватает. Карл Гейнц уже ждет. Мысли мои все еще с Ниной, но надо взять себя в руки, собраться для разговора с Владимиром Васильевичем.

Карл Гейнц рассказывает, что уже не раз пытался объяснить начальнику, что литейные формы бракованные, что «править» их подручными средствами бессмысленно. А тому нет дела до пленных, он требует одного — чтобы они всегда выполняли нормы и литейный цех красовался бы на красной доске с перевыполнением плана. А не ходил в отстающих!

Карл Гейнц привел меня в помещение, где хранятся модели для литья. Говорит — если бы он сам не пытался наладить здесь хоть какой-то порядок, отливать корпуса для редукторов давно было бы не на чем. Что очень часто цех не может изготовить нужные изделия, потому что исправление деревянных моделей занимает слишком много времени. Нет нужных инструментов, нет хорошего дерева, иногда исчезает вся модель, топят этим деревом, что ли? Для моделей должен быть специальный склад, как полагается в приличных литейных цехах!

Владимир Васильевич все это знает, но повторяет свое: «Пленные должны работать, а не болтать про модели». И Карл Гейнц уже не решается к нему обращаться, а русскому бригадиру Володе дело есть только до бутылки. А каждому пленному он бы с удовольствием дал под зад…

Что ж, значит, вперед — прямо в пасть льва. Как и вчера,

Natschalnik отсутствует. Его секретарь, молодая запуганная женщина, не советует мне искать его там, где он был вчера: «Лучше, приходите через час, я попробую найти его по телефону».

«Знаешь, что? — говорю я Карлу Гейнцу. — Пойду-ка я в мартеновский цех к Ивану Федоровичу. Он хороший, может быть, он поможет нам». Карл Гейнц только качает головой: «А с нашим — ничего не добьешься». И я отправляюсь за добрым советом к Ивану Федоровичу, благо мартеновский отсюда недалеко. Только вошел в цех, как мне навстречу Иван. «*Gdje ty tak dolgo byl?* — спрашивает он сразу и обнимает меня своими медвежьими ручищами. — Пошли ко мне».

По дороге я рассказал Ивану про трудности с Владимиром Васильевичем. Иван зовет меня с собой в кабинет и бормочет, что «этот сукин сын» допьется когда-нибудь до ручки. Секретарша Лидия, добрый ангел Ивана Федоровича, доложила, кто ему за это время звонил. А Иван берется сразу за телефон и пробует найти где-нибудь Владимира Васильевича. С третьего или четвертого раза это ему удается, и они договариваются — через 15 минут у того в кабинете. И мы сразу отправляемся туда — я хочу успеть показать Ивану до их разговора кучу дефектных моделей, на которых пленные рабочие «должны изготовлять» пригодные литейные формы. И оттуда — в кабинет начальника цеха. И Карла Гейнца, который боится, что Владимир Васильевич вышвырнет нас вон, как только увидит, что мы привели «постороннего, тоже, разумеется, берем с собой.

Но все происходит не так. Начальник цеха даже подал нам руку, это он вообще в первый раз поздоровался с Карлом Гейнцем с тех пор, как тот у него работает! А Иван Федорович начинает излагать дело, очень осторожно. Сначала рассказывает, как хорошо работают у него *Plenny*. Потом про меня — какое это важное дело: распределить людей, чтобы хорошо организовать работу. Упоминает, что я не раз приходил к нему за советом, вот и теперь…

И тут Владимир Васильевич разражается бранью: столяры в модельном отделении работают плохо, месяцами приходится иметь дело со старыми, а то и совсем негодными моделями. А в негодных формах невозможно изготовить хорошие отливки! Тут я пробую вставить, что раз они в таких условиях выполнить нормы не могут, то и не получают дополнительных 200 граммов хлеба…

Удивительное дело — Владимир Васильевич отвечает, что и ему это не нравится. «Но если мой цех план не выполняет, то хлебную норму срезают без меня, автоматически. Что же я могу поделать?» — «Очень просто, — отвечает Иван. — Достань

пригодные модели, и у тебя не будет хлопот с пленными».

Тут Владимир Васильевич стал ругать заводоуправление, но пообещал, что дополнительного пайка, во всяком случае, добьется, мол, в этом можете быть уверены. И вот разговор, от которого мы с Карлом Гейнцем хорошего не ждали, благополучно заканчивается с водкой — чтоб скрепить, как полагается, договоренность. Когда Владимир хочет налить нам с Карлом Гейнцем по второй, мы благодарим и отказываемся. А он даже просит Карла Гейнца докладывать сразу ему, если что не так. А секретарь всегда знает, где его найти, «спросите ее — и все будет в порядке!». И прощается с нами за руку, а Иван Федорович остается у него. Может быть, они хотели еще что-то обсудить. А может, просто допить бутылку.

Карл Гейнц был так удивлен всем происходившим в кабинете начальника цеха, что не произнес за все 20 минут ни слова. И чайный стакан водки под конец — впервые за все пять лет плена! Он поблагодарил и пошел к своим людям — поскорее сообщить им хорошую весть. А я отправился в медпункт — вдруг Нина еще не ушла? И верно — они там пьют чай… И еще тем временем Нина вот что надумала: предупреждать друг друга через Макса и Людмилу, если что-то меняется и следующую встречу надо переносить. Если, например, я не приеду на завод, Аля не может нас принять или Нину послали в другую смену.

Мы нежно прощаемся, Нина еще раз обнимает меня и целует, и я — бегом на станцию, на «поезд домой», в лагерь.

Макс сегодня задержался в кузнице, я сходил за ужином и подсел к нашему дирижеру Манфреду. И вот что от него услышал: «Опять будут отправлять домой — человек двести или триста. Но наверное, только больных и немощных. Нам туда не попасть, мы ведь — «постоянный состав». А я и не знаю, — грустно говорит Манфред, — куда мне ехать, вестей из дому я так и не получал. Если это верно, что вся Силезия отошла теперь к Польше, то и ждать нечего, письма ни туда, ни оттуда не приходят…»

Может быть, ему ехать с Максом в Дюссельдорф и оттуда уже искать свою семью? Может быть, поляки вообще всех немцев из Силезии выгнали? Ведь все, что мы знаем теперь о Германии, это из Восточной Германии. И немецкие газеты, которые иногда бывают в лагере, только оттуда. А Макс уже не раз говорил, что они врут почем зря…

Вот и в письмах, которые я получаю из дому, никогда нет

ничего о политике, но я могу, читая между строк, понять из них, что наша семья снова живет хорошо. У них большая квартира. Отец снова работает по специальности, на шахте в Эссене, брат Фриц работает пекарем, а мама ведет домашнее хозяйство.

Конечно, я тоже хочу вырваться из плена, я тоже хочу домой. Но с тех пор, как я познакомился с Ниной, нашел мою первую большую любовь, меня уже не так тянет домой. Я хочу сначала узнать, будет ли освобождение из плена означать и полный отказ от Нины. А пока я здесь и вовсю наслаждаюсь нашей любовью.

Подготовка к освобождению

Кончается февраль, снегопада давно уже не было, мороз небольшой, но по-прежнему дует обжигающий ветер. Через две недели мне исполнится 21 год, полное совершеннолетие. Но в наших отношениях с Максом ничего не изменится, зачем это нам. Как бы я хотел сделать ему что-нибудь особенно приятное!

Сегодня весь наш отдел остается в лагере — совещание у Зоукопа, немецкого коменданта. Оно назначено в большом зале, присутствуют два русских офицера, значит, какое-то серьезное дело. И действительно, Макс Зоукоп начинает с сообщения, что на этой неделе 300 человек будут освобождены и поедут домой — те, кто болеет или ослаб и не справляется с работой на заводе. Завтра и послезавтра будет медицинское обследование для всех бригад, мы должны там присутствовать и вести свой протокол, чтобы распределять рабочих по цехам с учетом выбывающих. Значит, на мне механический и литейный цехи, электростанция, силикатный и мартеновский цехи. И еще нам поручают договориться с бригадирами, чтобы не отпустили сразу всех специалистов.

Опять я попал в переплет — участвовать в решениях, кто поедет домой сейчас, а кто позже. Очень может быть — много позже… Надо сегодня же вечером советоваться с Максом, что уж тут мое совершеннолетие! Тут же нас предупреждают: о том, что медицинское обследование связано с возможным освобождением, — никому ни слова. Русский офицер уверяет при этом, что нас, всех здесь присутствующих, тоже скоро освободят. А пока что предстоит после этой комиссии заново распределять людей, договариваться с начальниками цехов. Опять будет тарарам, потому что никто из них не хочет лишаться рабочих, наоборот — хотят получить побольше, и чтобы это были пленные из нашего лагеря — начальники считают, что они работают лучше других. Наверное, они правы, да только заменить триста человек нам некем. Ну а что, если стольких больных и ослабленных не наберут? И кто будет вести это обследование? Наверное, та же Мария Петровна?

Вальтер, заведующий нашим отделом труда, предложил, в каком порядке вызывать на осмотр бригады из цехов. И объявить об этом по лагерному радио. Комендант Зоукоп согласен.

Утром начинается. Мы вооружились списками бригад по цехам, и вот уже первая бригада пришла в зал, где за длинным

столом расположилась комиссия. Мария Петровна, конечно, тоже там, но командует не она; решает докторша, которая приходила в лазарет, когда я там лежал. По-моему, ей за пятьдесят, и все это для нее — так, привычное дело. Быстро прослушает грудь того или другого, раздеваться велено до пояса. Только одному пленному велела раздеться совсем, и его-то, уж конечно, сразу записали на освобождение.

Вот очередь дошла до бригад силикатного цеха и электростанции. Я подошел к столу комиссии со списками, и Мария Петровна, кажется, мне улыбнулась. Или мне так показалось? Я вызываю людей по списку, один из офицеров записывает фамилию в свой список и делает там пометку, когда главная докторша заканчивает осмотр этого пленного. Что он там помечает, мне, к сожалению, не видно, да, наверное, и не полагается мне видеть.

До обеда прошли осмотр меньше ста человек, значит, пока осмотрят всех, пройдет не меньше недели. Час на перерыв, потом осмотр продолжается, но уже гораздо быстрее. Светлана Владимировна, так зовут старшую, смотрит каждого быстро, грудь выслушивает уже не у каждого. Такое впечатление, что она и так знает, кого освобождать, а кого нет. А за обедом комиссия, видно, не обошлась без бутылки водки — это заметно, и не только по тому, с какой скоростью осматривают пленных… Одним словом, к вечеру первого дня успели осмотреть человек триста.

Мы с Вальтером остались, чтобы договориться, как нам отмечать в наших списках тех, кто уедет домой. Мы ведь должны каким-то образом пополнить бригады, чтобы не начались снова неприятности на заводе, с начальниками цехов, как это было, когда уезжали венгры. Вальтеру надо обговорить все это с комендантом Зоукопом и с русским офицером, который отмечал, кого будут освобождать, в своем списке. В наших-то списках этих пометок нет! Вальтер согласен, но как всегда, когда надо обращаться с щекотливым делом, хочет, чтобы я пошел с ним. Ладно, пошли. Зоукоп нас выслушал, согласился, но сказал, что к этому офицеру, капитану Ковальчуку, лучше будет обратиться завтра, перед началом медицинского осмотра. И велел нам прийти утром к семи часам.

Все проходит без осложнений. Когда мы явились, Зоукоп уже договорился с капитаном. Списки мы получим вечером после окончания осмотра здесь, у Зоукопа. Пользоваться ими разрешается только Вальтеру и мне, списки вернуть в тот же вечер сюда — он их запрет в сейф. А Вальтеру и мне еще раз

напоминают, чтобы мы держали язык за зубами.

Уже почти девять утра, когда комиссия возобновляет медосмотр. И вот новшество — раздеваться до пояса не нужно. Светлана Владимировна спрашивает каждого, как он себя чувствует и есть ли у него жалобы, и раздеваться велит не каждому. Разумеется, так дело движется гораздо быстрей, до обеда через комиссию прошла вся ночная смена. И до шести вечера, пока в лагерь не начнут возвращаться рабочие утренней смены, делать комиссии нечего. И Вальтер спрашивает у Светланы Владимировны — с моим переводом, — не надо ли осмотреть и пленных «постоянного состава». «Не надо! — отвечает она кратко. — Они ведь все здоровы». А я отправляюсь с фрау доктором Марией Петровной в лазарет, чтобы записать фамилии тех, кто находится там.

Но сначала мы заходим в комнату врача. Мария Петровна сказала мне сесть и показать ноги — она хочет посмотреть, как подействовали компрессы на мои шрамы. Она немного рассержена: почему я не пришел показаться через две недели, как она велела. Я задрал брюки и положил левую ногу на скамейку перед собой. Мария Петровна пощупала голень, надавила пальцами тут и там и велела мне лечь на кушетку. Что там такое? Она показала: вот, здесь опухло, цвет темный, красно-синий. Взяла скальпель и — раз! Ткнула прямо в это место. И оттуда сразу потекла красноватая жидкость.

«I ty dumajesch, ty zdorow!» Я стал извиняться, что так себя вел, а она бранит меня: «Эх ты, немец!» Но я вижу, что сердится не всерьез. Промыла рану чем-то жгучим, проверила и пощупала вокруг; там, наверное, все хорошо. Снова сделала повязку с мазью, забинтовала мне ногу.

Теперь правую. Там тоже, оказывается, не все в порядке, но за скальпель она больше не хваталась, просто сделала повязку. И ехидно спросила: «А что у тебя с легкими? В порядке, как твои ноги?» Я разделся до пояса, Мария Петровна стала меня выслушивать: вдох, выдох… Ей, наверное, слышно, что у меня внутри. Потом стала осматривать спину, где еще остались следы от банок. Когда она трогает мою спину нежными руками, меня охватывает необычное чувство, я такое ощущал, когда меня нежно гладила Нина…

«Одевайся!» — сказала она резко и быстро вышла из комнаты.

Спустя какое-то время Мария Петровна вернулась. «Ну-ка посмотрим, кого нам вносить в список». В лазарете сейчас 22 человека. В сопровождении двух санитаров обошли все три палаты, доктор поговорила с несколькими больными. Вернулись в

ее комнату, но кого отмечать — пока она не сказала ни слова. «Знаешь что, рыжий, — это Мария Петровна о моей шевелюре, — я думаю, все они дорогу перенесут, и лазарет мы освободим!» Госпожа доктор, о которой только и слышишь от наших пленных, что она бессердечная ледышка, выказывает заботу, которой никто бы от нее не ждал. Даже Макс с трудом поверил, когда я здесь лежал, что она была ко мне участлива. Что же должно означать все, что происходит сегодня?

Я спросил Марию Петровну: «Мне правда записать все фамилии?» — «Погоди. Эшелон пойдет еще через две недели, двое с воспалением легких смогут тогда, наверное, ехать… Что ж, пока записывай всех, а вычеркнуть можно хоть в последний день, — ответила она и пошла к двери. — Когда закончишь список, можешь идти. Не забудь запереть дверь, а увидимся на комиссии». И я остался в комнате один.

В шесть часов все опять собрались в зале, на осмотр вызывают по очереди. Я отдал список по лазарету Светлане Владимировне, она недолго поговорила с Марией Петровной, та сделала в списке свои пометки, и его передали капитану Ковальчуку. Все больные, кто лежит в больнице, поедут домой! В десять часов вечера Светлана Владимировна велит заканчивать. За сегодня комиссию прошли шестьсот с лишним пленных, завтра будет еще день.

И капитан Ковальчук отправляется с Вальтером и со мной в кабинет коменданта Зоукопа, чтобы мы занялись там сегодняшним списком. Он нам объяснил свои пометки на полях, и мы с Вальтером сели составлять список освобождаемых по каждой бригаде — выборка из более чем тысячи фамилий, прошедших комиссию. Комендант Макс Зоукоп велел принести наш ужин сюда. А когда мы около трех часов ночи покончили со всей этой грудой бумаг, сообщил нам новость: спать будете здесь! Русские распорядились, чтобы до окончания медосмотра мы находились здесь: чтобы ни с кем не могли поделиться сведениями, которые нам теперь известны. Чего они так боятся? Что те, кто не попал в списки на освобождение из плена, устроят заваруху?

Ну ладно, еще два дня пробудем «в гостях» у коменданта. Если считать и лазарет, то у нас в списках на освобождение уже 95 человек, из них ни одного, кого не записали потому, что он необходимый на заводе мастер или специалист. И меня особенно радует, что мы с Вальтером и товарищами из нашего отдела труда никакого отношения к решениям — «да» или «нет» не имели. Еще посмотрим, что скажет Светлана Владимировна, когда мы ей скажем, что еще и ста фамилий не набралось в

списках, кому ехать домой. И верно — утром оказалось, что она думала — их уже почти триста. Что ж, это на пользу тем бригадам, которым еще предстоит комиссия. Будут щедрее, план им ведь надо выполнить!

Сегодня дело движется полным ходом, и наконец комиссия завершает в сильной спешке свою необъятную работу. Перерыва на обед сегодня не было, в 12 часов ждущих осмотра позвали во двор, туда привезли с кухни здоровенный котел с супом и огромную корзину с нарезанным хлебом. Ждущим осмотра пришлось, правда, сбегать за котелками, но не прошло и четверти часа, как комиссия уже продолжала осмотр. А перед этим капитан Ковальчук распорядился пересчитать фамилии записанных на освобождение сегодня; их оказалось около двухсот. Светлана Владимировна велела капитану подать ей знак на 250-м.

И вот это число достигнуто, еще нет восьми часов вечера.

«Вот это да! — откликается она. — Если там от нас хотят обязательно триста, наберем недостающих прямо по списку».

И капитан Ковальчук снова отправляется с Вальтером и со мной в кабинет коменданта. Там нам сначала дали поесть — сладкой пшенной каши, такой никогда здесь не было, сахара все еще не хватает. Наш заведующий кухней полагает, что слишком много его уходит на изготовление самогона. Когда получают продукты на складе, то с сахаром всегда трудности. А если кухня соглашается взять его на два-три кило меньше, то можно получить еще мешок пшена или муки!

Списки — это для нас с Вальтером сегодня уже дело совсем привычное, и еще до полуночи мы заканчиваем. И комендант Макс Зоукоп помогал нам сегодня, не хотел сидеть «наблюдателем». А моему другу Максу он уже сказал, что я и сегодня ночевать не приду. Утром нам предстоит еще встреча с обоими офицерами, которые вели протокол, чтобы закончить общий список. И еще решить: не расформировать ли одну из рабочих бригад, чтобы ее людьми «заткнуть дыры», образовавшиеся в других бригадах.

Ждем офицеров с восьми утра, пользуемся временем, чтобы разобраться с составом бригад. Часов в 10, когда закончили и это, пришел один капитан Ковальчук. Вальтер доложил ему наши предложения, я переводил. Он все спокойно выслушал и говорит: «Вас, немцев, вообще-то, хорошо бы оставить здесь навсегда!» И подписал листы с фамилиями. Пришел тем временем и комендант Макс. И капитан Ковальчук приказывает, чтобы уже

завтра, а то и сегодня, всех, кого освобождают из плена, обмундировали во все новое. В воскресенье шестого марта они покинут лагерь и отправятся домой.

А когда Ковальчук сказал, что лучше всего, он бы оставил нас здесь навсегда, у меня поджилки затряслись. Но наверное, он просто имел в виду, что удивлен, как мы быстро и хорошо справились с работой. Нам ведь нередко говорят такое и заводские *Natschalniki*.

11 марта 1949 года: я — совершеннолетний!

Капитан Ковальчук сказал, что при выдаче нового обмундирования отъезжающим должны присутствовать три-четыре человека из нас, чтобы, мол, все было как надо. Меня, разумеется, сунули туда, а мне это совсем не нравится, я хочу на завод, потому что почти всю неделю не виделся с Ниной. А сегодня Макс принес мне с завода письмо от нее, с фотографией. Первое письмо от Нины, первая фотография! На меня смотрит милое лицо, Нинины глаза спрашивают: «Где ты, мой дорогой, где ты был так долго? Я хочу тебя видеть!»

А письмо! Пробегаю взглядом строчки, это поздравление с днем рождения. Конечно, моя дорогая, в день рождения мы свидимся обязательно! Наши товарищи к этому времени уедут, и я смогу опять быть на заводе! Нет, лучше я все-таки присяду и спокойно прочту письмо…

И вот, сидя на краю кровати, я вчитываюсь в ее строчки. Я их буквально впитываю, как будто Нина говорит со мной. Будто впитываю в себя вкус ее губ, как это было на первом свидании. Слава Богу, что я в комнате один…

Письмо Нины.

Мой любимый,

скоро твой день рождения, и я тебя поздравляю. Благословляю тот день, в который ты родился. И лучше дня в истории не было, и природа никогда ничего не сделала разумнее.

Хочу пожелать тебе:

любить меня;

почаще встречаться со мной,

чтобы я любила тебя, и т. д.

Я всерьез хочу, чтобы не касались тебя никакие беды. Я сделаю все, что зависит от меня, чтобы ты, мой хороший, был счастлив. И дарю тебе все, что у меня есть, — свое тело и свою душу. От тебя прошу одного — думай почаще о своем здоровье и больше люби себя.

В этом письме нет обращения по имени и подписи тоже нет. Из осторожности оно написано чужой рукой. Фотографию Нины и это единственное письмо от нее мне удалось пронести через все проверки. Я долго искал место, где бы можно было прятать

фотографию и письмо, пока мне вдруг не пришло в голову — приклеить к карманному зеркальцу с задней стороны! Фотографию, правда, пришлось немного подрезать с краю, а листок сложить вчетверо, но с помощью кусочка картона и изоляционной ленты все получилось. И уж как там ни будет дальше, а по своей воле я с этим моим сокровищем не расстанусь! Ах, моя Нина, если бы я мог сейчас обнять тебя, если бы мог доказать, что принадлежу тебе, что я твой душой и телом. А я крепко застрял здесь в лагере, в плену, из которого легко не выберешься!

Проходит обещанное шестое марта, но освобождаемые все еще в лагере. Все одеты в новое, и на работу их уже не посылают. И никого к списку не добавили, так и осталось — 250 человек. А заводские бригады пополнили, расформировав команду дорожных рабочих и путевых. Все последние дни я только этим и был занят в конторе — распределял товарищей по цехам и бригадам. Но теперь наконец-то могу отправиться на завод по делам и — увидеть и обнять мою Нину. Я весь в нетерпении.

Поезд прибыл! Охотнее всего я бы сразу помчался на электростанцию в энергодиспетчерскую, но нельзя, надо поостеречься.

Наконец пришел туда, подал условный знак камешком, а дверь не открывается. Я подождал немного, еще пошумел — никакого результата. Войти туда как ни в чем не бывало? Нет, нельзя, увидев друг друга, мы можем забыть про осторожность, а если там посторонние? И я пошел в механический цех, в кузницу, надеясь застать там Людмилу; может быть, она знает, где мне искать Нину. Людмилы на месте нет, спросить некого. Остается медпункт, Александра. И ведь зайти туда можно, не вызывая подозрений.

Аля сидит за своим столом. Поздоровалась со мной как со старым другом и сказала, что Нина будет завтра, в утренней смене. Слава Богу, все в порядке! Я ведь так долго не приезжал на завод, и Нина могла решить, что и меня отправляют домой, что мы даже повидаться не сможем. Но нет, вот я снова здесь, и Аля постарается уведомить Нину!

Я успокоился и отправился по делам. Куда сначала? Конечно, в мартеновский цех. В цеху повидался с бригадирами по ремонту, у них с «пополнением» из наших пленных все хорошо, товарищи довольны, что работают теперь в помещении, а не снаружи на холоде. Секретарь начальника Лидия была на месте и сразу же

сказала, что Ивана Федоровича нет, он в отпуске, и надолго — поехал к жене, куда-то на восток, чуть ли не на китайскую границу. А заместителя сейчас тоже нет на месте.

И Лидия стала рассказывать, как хотел Иван иметь сына, а его жена взяла и уехала с другим. Иван очень переживал развод, жениться на другой не хочет, но с тех пор как я здесь появился, что-то в нем изменилось. Он не раз, что называется, душу раскрывал перед Лидией, особенно после выпитого, и сказал однажды: «Вот гляди, настанет время, и я уговорю Витьку остаться у нас».

Я в смятении от ее слов. Да ведь я мог бы тогда жить вместе с Ниной, это же просто фантастика! Стоп, ну что это я плету? Дома у меня родители, брат, мои друзья, родственники… А здесь Нина и Иван вместо отца? Химера это, вот что. Но как прекрасно помечтать об этом — быть с Ниной навсегда! Интересно, а Нина думает так же? Завтра спрошу ее…

А Лидия не мешает мне предаваться мечтам, она налила чай и пошла за печеньем. Ей, пожалуй, все пятьдесят, она, наверное, замужем. И я спросил ее. И она ответила, что у нее два сына, оба служат в армии. А муж погиб на войне, в самом начале, еще в сорок первом.

«И вот мне приходится здесь работать, — сказала Лидия. — Пенсия маленькая, ее не хватает». Не понимаю, как это возможно. Ведь вдова полковника должна получать такую пенсию, чтобы ей не нужно было еще и работать. «Ах, Витька, — вздохнула она, — у нас только большие шишки набивают карманы. Мой муж ведь не был Героем Советского Союза, если бы это — вот тогда я бы получила большую пенсию и такие льготы, о которых простые люди могут только мечтать. И я рада, что работаю здесь у Ивана. Он хоть и нагрубит иногда, но сердце у него доброе. И как сердечно он относится к тебе, Витька!»

Что мне на это сказать? Могу только снова и снова удивляться, что все это происходит в советском плену. И начинаю верить, что это было бы невозможно, не будь на то воля Божия, что мне воздается за перенесенные мучения и горе первых двух лет плена. А Лидия смотрит на меня вопросительно, а я не могу иначе, я должен объяснить ей, как изумляет меня забота Ивана Федоровича и как я ему благодарен. Можно ли рассказать ей про карцер в Киеве? Поверит ли она, захочет ли вообще знать о таком?

И я стал ей рассказывать про ночные допросы, про побои до потери сознания и как я очнулся на койке в лагерном лазарете. Оказывается, Лидия все понимает. Она очень хорошо знает про НКВД — ее брата отправили в лагерь, и жена его до сих пор не

знает, где ее муж и за что его посадили…

Лидия наливает мне еще стакан чаю, ее печенье такое вкусное. Но мне пора. Я ее сердечно поблагодарил, за угощенье и за добрые слова. А она взяла мою руку в свои, попрощалась и сказала: «Храни тебя Бог…»

Обедал я с товарищами в мартеновском цеху, съел только суп, а хлеб сунул в карман. В 16 часов будет первый поезд с завода в лагерь, но до этого еще почти три часа. И я отправился на электростанцию, на погрузку угля. Туда попали теперь многие наши пленные из других бригад. И сразу встретил Михаила Михайловича. Он, оказывается, и не знал, что ему прислали новых рабочих, удивлялся, почему несколько дней на разгрузке и на угольном складе было так мало военнопленных из лагеря. Я объяснил, что двести с лишним человек уехали домой и вместо них теперь у него работают другие. Его это устраивает, и он поспешил дальше по своим делам.

А я пошел туда, где эта бригада работает, нашел бригадира. Он тоже на угольном складе новичок, до этого был бригадиром путевых рабочих. Делать мне нечего, в бригаде все в порядке, и с Сашей, заместителем Михаила Михайловича, наш бригадир Фриц сразу поладил. В путейской бригаде его люди привыкли таскать тяжести, однако нормы всегда выполняли. А там гораздо тяжелее, чем грузить уголь, считает Фриц, и не раз случались травмы. Мы еще побеседовали с ним, а когда смена окончилась, вместе пошли на станцию. И в самый раз поспели к четырехчасовому поезду.

Вернувшись в лагерь, в нашей спальной комнате никого не застал и пошел посмотреть в «артистическую». Все наши — там, и едва я открыл дверь, как меня стали хором поздравлять, желать многих счастливых лет и все такое. Вот тебе на, я же так торопился сегодня утром, надеясь увидеть на заводе Нину, что совсем забыл про день рождения!

Макс Шик первым подошел ко мне, чтобы поздравить, обнял меня и сказал, немного даже взволнованно: «Вот, мой мальчик, ты и совершеннолетний!» И вручил мне подписанное всеми поздравление — это наш «художник сцены» Жорж Вайн нарисовал меня в женской роли на плотном листе и написал там шуточное стихотворение, посвященное мне. Что, мол, как хорошо стать взрослым, что мне, театральной «диве», все желают новых успехов и чтобы я поправлялся и поскорее вернулся домой.

Макс устроил так, что мы смогли поужинать вместе. Была и бутылочка водки, и все выпили за мое здоровье Рюмок у нас, к

сожалению, нет, и свой глоток каждый пьет из своей жестяной кружки, из которой обычно пьет чай. Мы болтаем, и я прекрасно чувствую себя с товарищами, тем более что теперь уже никто не скажет мне, что чего-то мне, мальчишке, нельзя. Я знаю, многие у нас считают, что я ничего не делаю, не посоветовавшись с Максом, и что он очень серьезно относится к своей роли «заместителя отца». А я за это только благодарен Максу и уверен, что и теперь между нами ничего не изменится. И знаю, что Макс считает так же.

А сейчас он рад бы побыть с нами еще, но ему сегодня — в ночную смену. Именно в ночной смене он выполняет большую часть «приватных» заказов своего шефа и других начальников. И Людмила, конечно, рада ему, как бывает рада Нина, когда я к ней прихожу.

Уже улегшись в кровать, я достаю свое карманное зеркальце. Письмо Нины я знаю наизусть, а на лицо моей любимой хочу посмотреть еще раз. Но не стал этого делать.

Очень уж хорошо удалось мне прикрепить фотографию и письмо к задней стороне зеркальца, а другой раз так не получится… И я представляю себе, как Нина бежит мне навстречу, обнимает меня и ищет мои губы… И с такими мыслями я заснул.

Когда начинается побудка, сразу вскакиваю. Хочу обязательно поспеть сегодня к первому поезду. Выпил чай, съел кусок хлеба, хотя есть мне не хочется. Небо безоблачно, предрассветная дымка, светает. Скорее в вагон! Ну, езжай же, езжай поскорей!

Между прочим, я обут уже не по-зимнему, в ботинках, хотя валенки еще не сдал. Ботинки простояли зиму под кроватью, и ничего. В лагере, конечно, надо глядеть за хорошими вещами в оба, воровство случается, но в нашей комнате такого пока не было. А в ботинках бегать по заводу из цеха в цех, конечно, быстрей и легче. В общем, я сразу помчался на электростанцию, в энергодиспетчерскую. У двери подал условный знак, дверь открылась, и Нина сразу втащила меня в помещение — снаружи уже почти светло. Шапка слетела у меня с головы еще у дверей, потом ее увидела и подняла Нелли…

Я стал благодарить Нину за фотографию и письмо, а сам чувствую себя неловко — когда влезал в вагон, мне что-то попало в глаз и не проходит. И Нина сразу заметила — глаз красный. Она повернула мою голову к себе: открой глаз! А сама приоткрыла рот, и я почувствовал, как ее язык нежно прикасается к моему глазу, прямо к глазному яблоку. И вот Нина уже показывает мне

— на кончике пальца у нее соринка, вынутая из моего глаза. Никогда еще меня не лечили таким нежным способом… И еще Нина сказала, что язык — самый сильный мускул, он же — самый нежный и подвижный. И повредить никак не может…

Нелли тем временем накрыла стол — завтракать! Там *Piroschki*, баночка с икрой, колбаса, крольчатина, хлеб белый и черный — кто все это съест? Это Нина хочет устроить мне «настоящий день рождения». А я начинаю опасаться, что про нас узнают и НКВД живо расправится с нами обоими и с Нелли. «Не бойся, мой хороший, мы с Нелли все продумали, — сказала Нина, заметив мое беспокойство. — Мы сюда пригласили и Михаила Михайловича. Он сказал, что наша идея отпраздновать здесь твой день рождения не так уж плоха. Электрики, которых ты ему привел, работают отлично. И вот теперь можно будет тебя отблагодарить, сказал он».

Ну хорошо, но мне все равно боязно. Но вот стол готов, и в это время кто-то стучит в дверь. Я бросаюсь прятаться, Нина открывает дверь — пришел Миша. «Ну, где вы вашего любимца прячете? Или он еще не пришел?» — вопрошает он, входя. Нина позвала меня из «укрытия», Миша стал поздравлять меня с совершеннолетием — это ведь особенный день рождения, надо, мол, его хорошо отметить. И крепко пожал мне руку, значит, это он от души говорит. Стал расспрашивать, почему меня долго не было, что я делал в лагере. Он хотел бы поговорить с моей помощью с рабочими из пленных. Насчет выработки, и еще он застал однажды целую компанию за выпивкой. Он хочет сам поговорить с ними, а не устраивать из этого дела шум, потому что в основном он работой этих людей доволен.

И все равно, я себя чувствую не совсем хорошо в обществе Миши, не могу сказать почему. Просто боюсь, что нехорошо это для наших отношений с Ниной.

Зазвонил телефон. Спрашивают Мишу, он с кем-то поговорил и сразу ушел. Только сказал: «Уберите все это поскорей!» Что случилось? Нина смотрит на меня испуганно, наверное, она чувствует то же самое: у этого завтрака еще могут быть последствия. И надо мне как можно скорее исчезнуть отсюда. Сердце у меня колотится, я второпях одеваюсь; никогда еще я так поспешно не прощался с Ниной, один только короткий поцелуй… «Поторопись!» — сказала Нина уже у двери. Куда я должен торопиться? Сюда идут какие-то проверяющие?

И только я успел свернуть за угол, как навстречу прошли трое мужчин и женщина, мне они показались подозрительными. Они вошли в энергодиспетчерскую, а с другой стороны уже

направлялся туда же Михаил Михайлович.

Кто знает, может, это просто обычная проверка. А может, и нет… Ругаюсь про себя: будь вы неладны! Два человека нашли друг друга и полюбили, мы ведь молодые, не преступники, не уголовники, а все равно должны прятаться. Или я зря перепугался? Не уйду отсюда, пока не узнаю, по крайней мере, сколько времени они там пробудут. Но и слишком близко подходить нельзя, чтобы не заподозрили. Что говорил Макс? Что доносчики — везде!

Известно же, советским гражданам запрещено общаться с военнопленными, дружить с ними. А уж любовные отношения — ого! За это могут наказать как изменника Родины, вредителя коммунистического государства рабочих и крестьян. На что решаются Нина и другие женщины! И я вспоминаю о девушках возле фонтана в Киеве, которые совали нам еду, когда наша колонна проходила мимо. И о Лидии, штукатуре на стройке, с которой мы тайно встречались в обеденный перерыв. Что же это за общество, где так относятся к людям? Впрочем, если вспомнить время в конце войны, то у нас в Германии было не лучше. Евреи считались врагами германского рейха, запрещались смешанные браки, а для людей, которые считали иначе, жизнь стала опасной. И наказания были такие же жестокие, как здесь. Я-то думал, что социализм и коммунизм будут счастьем для человечества!

Я был так занят своими мыслями, что мог и не заметить, как дверь диспетчерской открылась и те трое мужчин и женщина вышли оттуда, и Миша с ними. Они что-то обсуждают и направляются к подъехавшей автомашине. Миша попрощался с ними и вернулся в помещение. Значит, надо подождать, пока опасность минует. Слава Богу, через несколько минут Миша выходит и направляется к другому зданию электростанции. А я, подождав еще немного, иду к девушкам. Входить можно спокойно, я ведь знаю, что никого постороннего там нет. А Нина бросается меня обнимать и торопливо объясняет, что весь этот визит никакого отношения к нам и к нашему роману не имеет. Они приходили совсем по другому делу: электростанцию, и прежде всего энергодиспетчерскую, будут модернизировать, потому что все чаще происходят аварийные отключения, а это плохо отражается на работе цехов.

Словно камень свалился у меня с сердца, да какой там камень — целая гора! Что это я такое себе навыдумывал? Нина хочет, чтобы я хоть немного побыл здесь, но я ее убедил — лучше мне теперь исчезнуть. Явится сюда еще кто-нибудь, да мало ли

что. Только нам обоим не хватает сейчас попасться!

Нежные объятия, Нина гладит мое лицо. «Ах, как я рада, что они приходили не из-за нас!» — бормочет она между двумя поцелуями и отпускает меня. «До послезавтра!» — повторяет Нина мне вслед.

Медленно оправляюсь от пережитого возбуждения и страха, что нас разоблачат. А не легче было бы без любви с Ниной? Сразу же гоню эту глупую мысль — ведь это же яркий луч света в потемках плена. Нет, нет, не хочу потерять его, несмотря на все страхи, все опасности. Ну да, я еще очень молод, но мои нервы должны это выдержать!

И я заранее радуюсь нашему «послезавтра».

Как я общался с педерастом

Из письма родителям.

> *«Советский Союз, 13.3.49*
>
> *…Сегодня особенный день: большую группу наших товарищей отпускают домой. Все ликуют. А мы опять давали концерт — с большим успехом. Вот бы пришел кто-нибудь от начальника лагеря и сказал нам, что скоро и нам ехать и что вагоны уже готовят! Но я не строю воздушных замков. Видно, надо еще потерпеть.*
>
> *А представление нам пришлось повторять трижды, с 14 до 22 часов, чтобы могли посмотреть все смены, и все это время мне пришлось торчать в женском платье. Зато как приятно видеть, что наша игра доставляет товарищам радость, что люди забывают в это время о колючей проволоке вокруг нас!»*

Сегодня то самое «послезавтра», а меня — вот несчастье! — назначили в ночную смену. Что-то в силикатном цехе опять не заладилось, а Вальтер, заведующий нашим отделом, считает, что раз у меня хорошие отношения с начальником цеха Петром Ивановичем, то я там справлюсь лучше других. Мне ужасно хотелось отправиться на завод утром, но не удалось — нельзя, чтобы кто-нибудь заподозрил «личные мотивы». Как же мне предупредить Нину? Макс мог бы попросить Людмилу сходить к Нине, но он говорит, что Людмила вот уже несколько дней дома — она больна. Макс утешает меня — может быть, ему самому удастся забежать на минуту к Нине и предупредить ее, что днем меня на заводе не будет. К тому же Макс сомневается, что сумеет сказать это по-русски.

Ну и утром, когда все уже уехали на работу, пошел я на кухню за своим супом и хлебом. Там же уселся на свободную скамью и стал есть. Мог бы уже целый час быть с Ниной, а должен теперь зря сидеть тут. Какой уж тут может быть вкус у супа…

Подсел ко мне Конрад, один из поваров — он, наверное, заметил, что я чем-то недоволен. «Пойдем, — говорит он на своем баварском диалекте, — к нам в комнату. У меня там пара сигарет найдется, посидим, расскажешь, что у тебя за беда». Что ж, так, по крайней мере, быстрей время пройдет. Ну и пошли мы в комнату поваров. Конрад вытащил сигареты, да еще бутылка вина появилась на столе. Это еще что такое — вино с самого утра? И

прежде чем я понял толком, что происходит, Конрад оказался у меня за спиной. Обнял меня, пытается поцеловать в губы…

Этого мне только не хватало, чтобы педераст меня лапал! Оттолкнул я Конрада, а он тут как тут, лезет обниматься снова, хватает меня, лопочет мне в ухо: «Я же давно хотел с тобой… Ты такой молоденький, у тебя такая нежная кожа, я тебя люблю!» Я изо всех сил вырываюсь, а Конрад преграждает мне путь к двери. Он вдвое старше меня, гораздо сильней, ручищи, как у мясника. Я ору, ругаю его во весь голос в надежде, что кто-нибудь услышит. Но помощь не понадобилась. Конрад вдруг сник, захныкал — и я кинулся к двери, выскочил наружу.

Ну ладно, хорошо, что меня не услышали, были бы только лишние пересуды. Ясное дело, мне и так уже приходилось отбиваться от игривых приставаний за сценой, когда бывал в женском платье. А уж педерасту, наверное… Ну нет, только не со мной! Разве их, гомосексуалистов, не сажают в тюрьму? Макс ведь что-то рассказывал — про «параграф 175». Тьфу, до чего ж противно, когда мужчина лезет целоваться! Надо будет рассказать про все это Максу сегодня вечером…

Макс вернулся в лагерь без добрых известий. Нину он на работе не застал. «*Nix* не поделаешь!» — остается надеяться на ночную смену. По дороге на кухню за ужином я рассказал Максу про повара. Макс рассвирепел: «Я этому педерасту свинячьему так набью морду, что век не забудет!» Я стараюсь его успокоить, ведь если будет скандал, то ославят всех, без разбору. А этого я никак не хочу. И мы решаем шума не поднимать. «Ну уж ладно, — говорит Макс. — Когда я на него в упор посмотрю, он и так поймет, что я все знаю!»

Мы поужинали — опять перловый суп с морковью и двести граммов хлеба. Хлеб я взял с собой: в ночной смене не кормят. И перед отъездом еще раз советуюсь с моим заведующим, с Вальтером. Суть дела в силикатном цеху вот в чем; якобы в мельницу, в которой дробят породу, кто-то бросил куски железа, чтобы поломать эту машину. Мне в это трудно поверить. Ведь если дробилка испортится, план и норму выработки не выполнят. И в чем бы ни была причина, а денег цех заработает меньше, и пленные не получат дополнительной пайки хлеба. И еще я не понимаю, почему разговор в цехе назначен в ночную смену. Наверное, предполагаемые «саботажники» работают в этой смене.

В поезде по дороге на завод посоветовались с бригадиром пленных в силикатном цехе, Гейнцем Гюнтером из Мюнхена. Он

сказал, что не за каждого из своих людей может поручиться головой. В ночной смене больше ста пятидесяти человек, среди них мог найтись и такой, кто со злости, что не попал в команду едущих домой, мог устроить такое. Но если это действительно пленный, то знать о нем должны и другие: у дробилок всегда находятся несколько человек. А кусок железа, который может повредить машину, это не пустяк — он должен весить несколько килограммов… В нашем разговоре принимали участие еще несколько человек из этой смены. Разумного объяснения случившемуся нет ни у кого.

Посмотрим, что нам скажут русские. Гейнц Гюнтер и я пошли сразу к Петру Ивановичу. Его секретарь Елена уже ждала нас, но, кроме нее, никого нет. Ждем в приемной. Проходит час, другой. Елена напоила нас чаем. Гейнц Гюнтер уже побывал в цеху, обошел рабочие места. А Петр Иванович так и не пришел. Что там у него могло случиться? Елена не знает, а начальник смены Володя тоже не показывался. Скоро будет шесть часов, уже приходят первые рабочие утренней смены. Мы условились с Гейнцем Гюнтером, что будем ждать и после шести, но, если к семи не появятся ни Петр Иванович, ни Володя, нам придется бежать на станцию, чтоб попасть на последний поезд в лагерь. Когда мы уже были в вагоне и ехали, Гейнц Гюнтер высказал предположение: они, наверное, застряли на каком-то другом совещании… И мы тут же уснули и спали до самого лагеря.

Когда приехали, я сразу же пошел в наш отдел к Вальтеру. Рассказал ему, как прождали начальника цеха всю ночь, а он так и не появился и не позвонил, чтобы перенести время встречи. Вальтер тоже ничего об этом не знает. Ладно, завтра я поеду на работу, как обычно, только, пожалуйста, не в ночную смену!

Голоден я сегодня как никогда. Может, повар на кухне умеет читать мысли? Вместо супа он мне наполнил котелок пшенной кашей, а сверху долил перлового супа. Да и пайка хлеба показалась мне сегодня больше обычной. Отправился я с этим завтраком к себе в комнату; никого там нет, все в утренней смене. Устроился поудобнее, хорошо наелся и половину пайки оставил еще про запас. Хотел просто передохнуть, но как лег, так сразу заснул. И спал, пока не вернулся с завода Макс — с письмами для меня из Германии.

Я пошел умыться, даже в душ попал, постояв немного в очереди. Когда разделся, увидел, что шрамы на левой голени распухли, да и побаливает нога. Надо опять показаться доктору… И сразу после душа я отправился в лазарет. Повезло, там

принимает сегодня Мария Петровна. Очереди ждал недолго, каких-нибудь четверть часа. Вошел в кабинет, Мария Петровна сидит спиной к двери за письменным столом. Жду. Вот она обернулась, увидела меня, наморщила лоб. «Ты почему так долго не приходил, я же тебе велела показаться! Нога что, сама по себе заживет?» — «Да нет…» — отвечаю виноватым голосом.

Посмотрела она мою голень. «Боже мой, Боже мой! — возмущается Мария Петровна. — Ну на что это похоже!» Взяла скальпель, продезинфицировала больное место и, как в тот раз две недели назад, сделала разрез. И оттуда опять потекла противная жидкость. Она там что-то делает с моей ногой, а я с трудом удерживаюсь, чтобы не закричать, — мне больно. Но терплю. И слышу: «Ох, и дурак же ты!» *Durak*, значит совсем глупый, безголовый… Мария Петровна снова и снова надавливает больное место, выдавливает гной и удаляет его. Санитар с интересом смотрит на все это, подает ей инструмент, вату. Потом Мария Петровна накладывает повязку — сама. И велит мне: поменьше ходить, повыше класть ногу, каждый день — на перевязку!

«А со спиной у тебя как?» — спрашивает Мария Петровна, пока я натягиваю брюки. «Наверное, все в порядке», — отвечаю смущенно. «Ну ладно, завтра сама посмотрю».

И с тем я покидаю кабинет врача.

Авария на заводе

Когда я вернулся в нашу комнату, там уже знали, что в мартеновском цеху что-то случилось. Макс сказал, что меня искал Вальтер и чтобы я сразу шел к нему, в отдел. А Вальтер велел немедленно ехать вместе с двумя другими нашими сотрудниками на завод; начальник лагеря Владимир Степанович уже распорядился об автомашине. Мы все трое едва успели съесть вечерний суп; ведь неизвестно, когда теперь вернемся в лагерь.

Шофер Дмитрий уже ждал нас у лагерной проходной. Ему поручено везти нас до самого цеха и там ждать. И вот не прошло и получаса, как мы подъехали к мартеновскому. Я предложил идти сначала к начальнику цеха, чтобы там узнать толком, что произошло. Секретарь Лидия была одна, Иван Федорович из отпуска еще не вернулся, и ей известно только, что огромный ковш с жидким металлом сорвался с крюка, когда кран нес его через цех. Он опрокинулся, и расплавленное железо растеклось по цеху. Несколько человек попали в него, а вокруг все охватило огнем, начался пожар. Около часу назад огонь в цеху уже потушили… «Много пострадавших, их развезли по больницам. Наверное, есть там и ваши пленные», — сказала Лидия со слезами на глазах.

В цеху все вверх дном. До сих пор приходят машины «скорой помощи» за пострадавшими. Само место аварии оцеплено заводской охраной, которой я раньше никогда не видел. Случайно мне навстречу попался Фриц, бригадир военнопленных из литейной. Авария произошла недалеко от них, и он сразу же прибежал с несколькими своими рабочими сюда, на помощь. Но что можно поделать, когда разлился металл… А наши пленные из бригады по ремонту печей ждут неподалеку. Им повезло: печь, у которой они работали, далеко от места аварии, никто из них не пострадал.

Заместителя начальника цеха мы не нашли; в такой обстановке, после тяжелой аварии это и понятно. Разлившееся железо уже застыло и потемнело, но все еще испускает сильный жар, пожарные стараются охладить его. Там клубятся огромные столбы удушливого пара, дышать буквально нечем. Те, кто с брандспойтами впереди, работают в противогазах. А мои попытки узнать у кого-нибудь, нужна ли помощь пленных ремонтников, ни к чему не приводят — занятым на аварии не до меня. И мы, посоветовавшись, решаем отправить наших товарищей в лагерь, ведь выполнять свою работу они сегодня все равно не смогут.

Пусть возвращаются с первым же поездом. Лучше бы, конечно, спросить согласия кого-нибудь из заводского начальства, но поймать никого так и не удается. Дмитрий с машиной нас ждет, и мы трое тоже возвращаемся в лагерь.

Сразу же пошли к коменданту Зоукопу, потом вместе с ним к Владимиру Степановичу. Рассказали, что именно произошло в мартеновском цеху и что никто из военнопленных не пострадал. Владимир Степанович еще раз переспросил, точно ли все целы, и мы объяснили, что пересчитали всех, кто работал на ремонте печей и в литейной, и что все на месте. Макс Зоукоп добавил, что утром снова поедем туда, чтобы выяснить с заводским начальством, не нужны ли наши военнопленные для восстановительных работ в мартеновском цехе. Начальник лагеря тут же велел шоферу Дмитрию везти нас утром опять на машине, чтобы мы не зависели от поездов. В половине шестого ждать у проходной.

Оба моих товарища из отдела труда страшно удивлены — они такое слышат впервые, и это не укладывается у них в голове. Они у нас недавно, и на прежнем месте ничего подобного у них не было. Начальник лагеря там немцев ненавидел, а от немецких «комендантов» вообще ничего не зависело.

Когда я вернулся в нашу комнату, была полночь. Не только Макс Шик, никто не спал — все хотят узнать, что же случилось на заводе. Все рады услышать, что никто из наших военнопленных не погиб и не пострадал. Даже представить себе трудно, какой это ужас — на людей льется расплавленный металл. Я не знаю, сколько его помещается в ковше, а Вольфганг сказал, что не меньше 10 или 15 тонн. Я только видел, какое пространство там теперь залито железом; удалять его оттуда — на это уйдет не одна неделя.

Рано утром Дмитрий отвез нас на завод, к цеху. В кабинете начальника были два господина из заводоуправления и заместитель Ивана Федоровича — Георгий Амвросиевич. Мы представились, я сказал, что мы были здесь вчера после аварии, но получить указания, что должны теперь делать военнопленные, было не у кого. Георгий Амвросиевич объяснил, что плавка металла в цеху будет понемногу продолжаться и во время расследования причин аварии — мартеновскую печь нельзя «выключить» как радиоприемник. А наша ремонтная бригада должна быть готова принять участие в расчистке цеха от застывшего металла. Для руководства этой работой уже назначен специальный бригадир, он все и организует.

Мы дождались приезда утренней смены пленных, рассказали бригадиру, как распорядился Георгий Амвросиевич, и бригада отправилась на аварийный участок. Руководить там работами по расчистке будет Володя. Кран, с крюка которого сорвался ковш, наверное, исправен — им уже пытаются оттаскивать отдельные глыбы затвердевшего металла. Начали работать газорезчики. А наших ремонтников Володя послал добывать тележки и тачки. Велел искать по всем цехам — работы по ликвидации аварии считаются абсолютно первоочередными.

Мы трое можем теперь заняться своими обычными делами, а Дмитрий пусть возвращается в лагерь. Мы вернемся, как всегда, со сменой, поездом. И еще я надеюсь, что мне теперь удастся повидать Нину — если у нее сегодня тоже утренняя смена.

Только я подошел к энергодиспетчерской и подал условный знак, как дверь распахнулась, и — как всегда, не прошло и минуты, как мы с Ниной уже целуемся в укромном углу за шкафами и клянемся друг другу в любви. А Нелли тем временем запирает дверь — на всякий случай, чтобы не вошел неожиданно кто-нибудь посторонний, — и готовит чай…

Оказывается, на днях они покинут это помещение — здесь будут заменять все электрооборудование — и пока не знают, где будут работать, другого такого помещения на станции нет. Может быть, в заводоуправлении? А как же нам встречаться? «Витенька, мой любимый, — шепчет Нина, — ты ведь говорил, что у тебя пропуск, ты можешь ходить без охраны? А мой домик — совсем недалеко от грузовых ворот, это на другой стороне. Если тебе можно выйти через них, то там уже совсем близко…»

Ну, это пустые мечты. Никого там просто так не пропустят, пленного тем более. Уж лучше выйти через проходную, но ведь оттуда — час ходьбы. А ведь на моей одежде написано, кто я. Нет, это невозможно. И вдруг мне приходит в голову — шофер Дмитрий, вот кто может нам помочь! А пока я рассказываю Нине и Нелли, как ко мне приставал повар (и Нина возмущается, прямо как Макс, вот только не грозится прибить повара), и про аварию с человеческими жертвами в мартеновском цеху.

«Витька! — откликнулась Нина очень серьезным тоном. — Никакой аварии на заводе не было!» Я стал рассказывать, что там случилось и что я видел собственными глазами. «Витька, — строго перебила меня Нина, — запомни, пожалуйста: не было на заводе никаких несчастных случаев. И никогда не будет!»

Нелли заметила мое недоумение и объяснила, что в Советском Союзе «не бывает» таких аварий на производстве.

Этого никто не должен видеть, об этом вообще нельзя говорить. А если кто-то о чем-то знает и об этом болтает, то ему живо «разъяснят», что он разносит подлую клевету, распространяемую врагами, чтобы навредить советскому народу… Я, конечно, все понял. Удивительно, почему же нам, военнопленным, всего этого не внушили. Может быть, там думают, что раз пленные не общаются с внешним миром, то и не могут причинить такого рода вреда коммунизму? «Давайте о чем-нибудь повеселее!» — предложила Нина и спросила про фотографию, которую послала мне на день рождения. И я достал карманное зеркальце и показал ей, как прикрепил к нему письмо и фотографию, чтобы они всегда были со мной.

Скоро обеденный перерыв. Нина и Нелли достали принесенную с собой еду, заварили свежий чай. Настойчиво зовут меня принять участие, а доводы, что я могу ведь получить свой обеденный суп в цеху, их не убеждают. Ну хорошо, обедаем вместе, ведь так я могу подольше пробыть с Ниной.

И только мы покончили с едой, как за дверью — чьи-то шаги. Скорей в шкаф, в тот, где чуть больше места и легче дышать. Нелли открыла дверь — это пришел инженер, проверяющий расход энергии по цехам. Ведь пока в мартеновском цеху в работе не все печи и продолжается разделка застывшего металла, расход энергии там уменьшился. Как это отражается на подаче энергии другим цехам?

Пришедший проверил записи в книгах, которые заносят Нелли и Нина, считывая их с приборов. Выпил с ними чаю и ушел. Нина ужасно расстроена тем, что я опять просидел в железном шкафу целых полчаса, и вознаграждает меня нежными объятиями. Ужасно не хочется сегодня уходить от Нины, но надо обойти цеха. Последний поцелуй, *privet* — и я пошел.

Сначала — здесь же, на электростанцию. Встретился с Сашей, заместителем Михаила Михайловича. Здесь никаких замечаний, наши пленные работают нормально. И ни слова об аварии в мартеновском… Теперь в силикатный, к Петру Ивановичу. Его секретарь Елена прямо-таки сияет, что это с ней? Получила прибавку к зарплате или спецпаек? Нет, просто рада, что Петр Иванович сегодня весь день в добром настроении. И меня он приветствует весело, пожимает руку. «Что там у тебя, Витька? Может, мы недоплатили лагерю? Ничего, заходи, выпьешь со мной водки!» Я осторожно, чтобы не испортить настроение, объяснил, что мы приходили, чтобы разобраться, что у них в цеху было не так с военнопленными, но не смогли его, Петра Ивановича, дождаться…

«Эх, *Witka, Maltschik*, — отмахивается начальник цеха, — ну их всех, *Tschort s nymi!* Иди сюда, выпьем!» И я пью с ним. Закусываем хлебом с салом. Хорошо, что я уже поел у Нины, что водка теперь — не на пустой желудок. После третьей стопки мне, наконец, удается убедить Петра, что мне вообще не разрешается пить водку, я же пленный!

«Верно! — Петр кивает. — Ты мне присылаешь все время хороших парней, эти *Niemzy* выполняют нормы, и все у нас в порядке. А помнишь то дело с рукавицами? Иди и скажи вашему коменданту, что он молодец! И рабочих мне присылают хороших». Петр в который раз это повторяет, а я не пойму, с чего это он сегодня такой веселый. Одно ясно — он захмелел, и верная Елена уже несет крепкий кофе. А он продолжает: «*Witka*, ступай в лагерь, скажи вашему коменданту, что у меня хорошие рабочие…» И отпускает меня: в приемной его уже ждут двое, и сразу видно, что они тоже в отличном настроении.

Так и не узнав, чему они все радуются, я ушел. Надо зайти еще в мартеновский цех. Там на месте Володя, он сразу сказал, что пленные рабочие — молодцы. Вот, сумели наладить два мощных вилочных подъемника, разбор завала идет теперь быстрее.

Вижу, что работают не только заводские — здесь целая рота русских солдат. Но все равно, выглядит участок аварии так, как будто груда затекшего железа не уменьшается. А тем временем уже подоспела вторая смена. И, переговорив с бригадиром, я отправился на станцию — к поезду в лагерь.

Из-за аварии в мартеновском цеху и всех волнений я ведь так и не явился к Марии Петровне. И вот теперь, вернувшись в лагерь, сразу направился в больницу. Там только санитар, который был при перевязке. Он сменил мне повязку, старая уже пропиталась какой-то гадостью. Что еще велела Мария Петровна? Держать ногу повыше, но это возможно, ведь только когда лежишь. Санитар сказал, что она будет здесь часов в восемь вечера и я могу зайти еще раз.

Пришел. Мария Петровна прочла в журнале, что перевязку мне уже сделали, но пожелала осмотреть ногу сама. Сняла повязку, качает головой: «Что я могу поделать, если ноге нужен покой, а она у тебя все время нагружена!» И правда, не в порядке не только шрам, все вокруг тоже опухло.

Ватными тампонами выдавила она гной из раны, промыла ее ужасно жгучим раствором, снова наложила повязку с мазью. И так крепко забинтовала всю голень, что получилось — нога затянута как в краге.

«А теперь, — сказала она строго, — снимай рубашку, я посмотрю, как там у тебя с плевритом». Сначала ощупала всю спину, потом простучала в разных местах, прикладывала трубку к спине и слушала; как работает сердце, кажется, тоже слушала. «Одевайся! — говорит. — На работу завтра не пойдешь. До четырех часов останешься, как миленький, в постели. А после этого явишься ко мне». И ушла.

И опять у меня вертятся в голове какие-то странные мысли. Вся эта забота, это прямо-таки личное участие — для какого-то военнопленного? Но это же не нормально, этого просто не может быть. Я же знаю, насколько тяжело должен быть болен пленный, чтобы получить здесь освобождение от работы хотя бы на два-три дня. Когда я лежал в лазарете, мы уже однажды говорили с Максом о Марии Петровне. Верно, когда она со мной говорит, наши взгляды встречаются. Да, она привлекательная женщина с большими темными глазами и вьющимися черными волосами, стянутыми в большой узел. Ей тридцать с лишним, может быть, даже сорок лет. С тех пор как я знаком с Ниной, я больше знаю о любви; если бы Нины не было, то мог бы себе представить, что обнимаю Марию Петровну…

Тут же гоню от себя эту мысль. Она же советский офицер, патриот! Ну, когда она трогает мою спину своими нежными руками, это меня действительно возбуждает, я же не деревянный! Нет, поговорю сегодня обо всем этом еще раз с Максом, он ведь должен лучше меня разбираться в таких вещах! А сейчас пойду за супом.

«Где ты пропадаешь? — встречает меня Макс, когда я возвращаюсь в нашу комнату. — У нас же сегодня репетиция, собирайся!» И мы идем в наш «зал для репетиций», прямо с котелками; там и поедим. Никого, кроме нас, здесь сейчас нет. И я пытаюсь подробно рассказать Максу о том, что происходило у меня час назад с Марией Петровной в больнице.

«Ну, мой мальчик, я ведь тебе уже советовал: лучше не говори Нине про докторшу. По той простой причине, что рано или поздно она тебя соблазнит», — так коротко и ясно оценил мое положение Макс Шик.

«Макс, — возражаю я. — Она же офицер. Она, наверное, вдвое старше меня». — «Ну и что? — спрашивает Макс. — Может быть, ничего и не будет. Может, она играет страсть, а на самом деле — ледышка и недотрога. Но все равно, ты ей нравишься, ничего особенного в этом нет. Ты молодой крепкий парень, недурно выглядишь, да еще и говоришь по-русски. Эх, Вилли, мой мальчик, если бы не плен — представляю себе, сколько девчонок

за тобой бегали! А докторша, может быть, боится проявить свои чувства, вот она вместо того и гладит тебя по спинке! И вообще, что там в женщине происходит, это бывает трудно понять; уж поверь моему опыту. Кто знает, сколько мы еще пробудем за колючей проволокой. Вот пойдешь к ней завтра, будет она тебя гладить, вот и замечательно! Наслаждайся! А зайдет у вас дело дальше — наслаждайся и дальше. Только об одном прошу тебя не забывать — никому ни слова! Вокруг нас не только друзья, есть и завистники. Попробуй убеди их, что ты не получаешь двойную порцию…»

Пока Макс философствовал, стали собираться остальные артисты. Заходил и комендант Макс Зоукоп, пошутил: «А для меня не найдется у вас роли?» Хорошая у нас сегодня получилась репетиция! Если так пойдет и дальше, скоро можно будет давать представление.

Так проходит еще несколько дней. Я не езжу на завод, каждый день хожу на перевязку. Мария Петровна затевает со мной разговоры, спрашивает о Германии, о семье. И Макс прав: между нами возникают уже какие-то личные отношения. Да что там возникают — они уже давно возникли, и я чувствую себя немного не в своей тарелке; ловлю себя на том, что уже не с таким нетерпением вспоминаю о Нине и ничего не предпринимаю, чтобы поскорее попасть на завод и встретиться с ней.

А может быть, это просто от ощущения чего-то другого, нового? Я ведь люблю Нину, это моя первая большая любовь. Но ведь и Макс говорил, что еще много красивых девушек встретятся на моем пути, и всякий раз придется спрашивать себя — что, Нина единственная женщина, которой я принадлежу?

НКВД

Мы репетировали из водевиля «Испанская муха». А политрук, когда ему перевели название пьесы, устроил нам форменную головомойку: «Это еще что за безобразие? Ни в коем случае ставить нельзя!» — громыхал он. Сначала никто не понимал, что случилось, но потом его переводчик объяснил, что под этим названием здесь продают средство для повышения мужской потенции. И политрук, конечно, не может допустить такого у нас на сцене. С большим трудом уговорили его, что в нашем представлении ни о чем подобном нет и звука. И спектакль прошел с полным успехом. Еще и потому, что Манфред превратил его в настоящую оперетту, подобрав отовсюду, с бору по сосенке, популярную хорошо известную музыку.

А я провожу все дни в мартеновском цеху, с нашей бригадой ремонтников. Всегда в первой смене, потому что Володя, который командует ликвидацией последствий аварии, считает, что я умею организовать работу как надо. Это, наверное, потому, что я говорю по-русски, значит, добиться от разных начальников того, что нам нужно для работы, мне легче. Сам Володя охотнее работает вместе с ремонтной бригадой пленных. Выяснилось, что в ней немало сварщиков — они нужны, чтобы резать застывший металл, — но, как водится, чего-то все время не хватает. То горелок-резаков, то сварочного аппарата, а то и баллонов с газом, и Володя посылает меня с двумя-тремя товарищами и с грузовой машиной, чтобы «организовать» баллоны.

А Нину я не видел с того самого дня после аварии. Энергодиспетчерская закрыта, а спросить, где они теперь работают, некого. Ни Александра в медпункте, ни Людмила в цеху у Макса тоже не знают, где Нина теперь работает. Дня через два я опять зашел к Але, и она пообещала сходить к Нине домой, узнать. Надеюсь, что она не заболела, я ведь ничем не могу ей помочь. С каждым днем теперь мне все тяжелее постоянно ощущать себя пленным…

Надо искать повод, чтобы пойти за каким-нибудь делом на электростанцию. Вот сегодня неплохой день. И после обеденного супа я спросил Володю, не обойдется ли он без меня — мне, мол, надо заглянуть и в другие цеха. «Конечно! — отвечает Володя. — С вашими рабочими мы тут управимся». И я пошел, сначала на угольный склад, где наши работают на разгрузке угля, а уже

оттуда — к начальнику электростанции. В приемной у Михаила Михайловича новая секретарша, я ее узнал — ее зовут Ирина, она работала там же, где Нина, только в другой смене. Я стал объяснять, кто я, она сказала, что знает меня, но начальника здесь сейчас нет. Можно передать ему, что нужно, или зайти позже. И не хочу ли я выпить чаю.

Я не стал отказываться — за чаем можно поговорить минуту-другую, может быть, я и услышу, где теперь работают остальные девушки. В энергодиспетчерской, рассказывает Ирина, полностью заменяют оборудование, почти все уже готово. А все восемь женщин работают сейчас на новых местах. Вот Нелли, например, в каком-то отделе в силикатном цехе… Больше я Ирину ни о чем не спрашиваю! Едва допил чай и помчался в цех. Ведь все служащие, кроме секретаря начальника цеха, работают там только в первой смене! Не прошло и десяти минут, как я уже стоял перед Еленой, секретаршей Петра Ивановича, которая так радовалась чему-то в прошлый раз, когда я должен был пить водку с Петром. Вот и хороший повод для разговора! И я спрашиваю Елену, чему был так рад ее начальник.

«Ну как же! — отвечает Елена. — Ты только представь себе: Петру Ивановичу присвоено звание Героя Труда!» Я не знал, что это такое, и Елена объяснила: Герой Социалистического Труда — это как Герой Советского Союза во время Отечественной войны, высшее звание. На первых местах в Коммунистической партии, член разных Советов и вообще масса привилегий пожизненно ему и семье. И здесь на заводе повесят большой портрет Петра Ивановича с новым орденом на груди. Все им гордятся. И очень может быть, что Петр Иванович долго в цеху не задержится, пойдет на повышение. И все будут праздновать, а уж водки там будет…

«И у нас будет другое, большое помещение с залом заседаний, — объясняет Елена. — Потому что теперь к Петру все время будут приходить за советом разные люди. Для меня это значит — больше работы, но мне дадут помощницу, сказал Петр. У нас в конторе уже работают новые женщины с электростанции, там они больше не нужны».

«С электростанции?» — спросил я, вроде как с удивлением. «Ну конечно! Вот в соседней комнате Нелли из энергодиспетчерской», — отвечает она как о чем-то само собой разумеющемся.

Вот так повезло! Теперь остается только найти повод, чтобы зайти к Нелли. «В диспетчерской я бывал с нашими электриками…» — говорю небрежно, хоть это и не совсем так. «Так если хочешь, зайди к ней поздороваться». Лучшего Елена не

могла бы и нарочно придумать! Стучу в дверь, оттуда не отвечают. «Ты просто заходи, — советует Елена. — У нас не стучат».

В комнате три стола, два из них свободны — Нелли одна! Сначала она немного испугалась — все же военнопленный зашел, а она на новом месте и не знает, как здесь к этому отнесутся. Но потом успокоилась и даже обрадовалась. Я, конечно, сразу спросил: где же Нина? «Нина, — рассказывает Нелли, — в таком же отделе, только в другом месте, и у них в комнате пять или шесть женщин. Мы с ней видимся каждый день, она уверена, что ты меня здесь, в силикатном, отыщешь. Звонить по телефону нам не разрешается, он только для секретаря начальника. Нина будет просто счастлива! И я так рада за вас, Витька. Только где же вам встречаться? Если у Александры в амбулатории, то надо ночью, а Нина работает в конторе, значит, в первой смене… Вот если бы у Нины дома? У тебя ведь пропуск, тебе можно уходить из лагеря?» Мечты, мечты… Хорош я буду на улице с накрашенными на рукавах буквами, означающими что *я Военнопленный*. А что, если бы Дмитрий подвез меня туда? Может быть…

Нелли успела еще сказать, что увидится с Ниной уже утром, у старой диспетчерской. По крайней мере, будет мне весточка от Нины. Заглянула Елена, сказала, что Петр Иванович вернулся. И я попрощался с Нелли и пошел поздравлять его.

Мы пожали друг другу руки, он меня обнял, два раза поцеловал и говорит: «Когда ты, Витька, приедешь домой, в Германию, расскажи своим товарищам про нас. Расскажи им, как рабочий класс борется за социализм и что ненависти к вам у нас нет. Все народы должны вместе трудиться, чтобы никакой новый Гитлер или другой капиталист не натравил нас друг на друга. Была бы моя воля, Витька, я бы вас всех давно отпустил, чтобы вместе бороться за победу социализма на всем земном шаре!»

Так сказал он от всей души — настоящий Герой Социалистического Труда. А Елена тем временем уже налила водку в стаканы, как же можно, чтобы поздравлять — и без водки! Пили мы за героев труда, за социалистическую солидарность, пили за то, что никогда больше не будем врагами и не станем воевать друг с другом, пили за мир во всем мире… Чего не сделаешь, если такая награда! Водка, конечно, и мне развязала язык, и я обещаю Петру, что я, когда вернусь в Германию, буду за мир и чтобы войны никогда больше не было. Я ведь за эти четыре года много чего узнал и многому научился; я теперь хорошо понимаю, сколько горя принес человечеству Гитлер со своими присными.

Речи такие Петру по душе, и мы пьем еще раз за мир и

дружбу. А Елена докладывает, что пришли еще поздравители, и Петр, прощаясь, крепко жмет мне руку.

А времени прошло немало, и я едва поспел к последнему поезду, везущему в лагерь утреннюю смену. В вагоне сразу заснул, проснулся, когда почти все уже вышли. Чертово зелье эта водка, никак не соберусь с мыслями. Ага, ноги надо ставить ровно, качаться нельзя! Слава Богу, теперь хоть не обыскивают, до чего ж противная была процедура… Стараюсь идти как все, проклятая водка мешает; держусь, осталось всего два марша до нашей комнаты… Там почти все на месте. Макс сидит на краю кровати, читает письмо. А мне нет почты? Должна быть, я ведь прилежно пишу им, когда есть время…

Макс понимает, что со мной, с первого взгляда: «Живо, снимай ботинки и ложись!» А я пытаюсь объяснить ему, что поздравлял Героя Труда с такой наградой, ну, и… Подошел Манфред, спрашивает Макса, не заболел ли я. Что он ответил, я уже не слышал — свалился как был и заснул.

Разбудили меня в восемь вечера, а то бы я, наверное, мог проспать и до утра. А у нас сегодня репетиция — прогон перед генеральной. На генеральную всегда приходят несколько офицеров с женами, ну а сегодня только политрук со своим переводчиком — присмотреть, чтобы «ничего такого не было» с этой «испанской мушкой». Прошла репетиция как надо, остановил нас Манфред только раз, политрук тоже остался доволен. И даже послал переводчика на кухню, чтобы к вечернему супу нам была добавка. Если кто-нибудь это увидит, то завтра опять пойдут разговоры, будто мы получаем двойные порции. И политрук остается с нами, пока мы справляемся с добавкой. Он всё понимает.

Идти спать с полным брюхом не годится, и мы с Максом, Манфредом и Вольфгангом делаем еще несколько кругов на лагерном плацу. Зима уже понемногу уходит, дует теплый ветерок с моря. И я подробно рассказываю моим спутникам про то, как поздравляли сегодня Героя Социалистического Труда и сколько водки мне пришлось при этом выпить. «Я и вкуса водки почти не знаю, а наш юный друг пьет ее ведрами, — шутит Манфред. — В следующий раз возьмешь меня с собой, глядишь, и мне достанется!» Он ведь как руководитель «концертной бригады» от работы на заводе освобожден и ни с кем из русских, кроме политрука, почти не общается. Вот если б на праздник Первого мая, солидарности всех трудящихся, удалось организовать выпивку — я бы отдал свою порцию Манфреду…

Возвращаясь к себе, проходим мимо комнаты, в которой

занимаемся. Оттуда слышны голоса. Кто-то повторяет роль вслух? Заглянули туда; а там четверо сражаются в карты. «Где же вы их добыли?» — интересуется Макс. «Не в лагере, понятно, — отвечают ему. — Они были не по-нашему, но ничего, приспособили, можно и в скат!» Я в эту игру не умею, а Макс тут же просит принять на следующий раз и его.

Утром проснулся — все в порядке, похмелья как не бывало. Слава Богу, мне ведь в шесть встречаться с Нелли. В такое время уже светло, как быть, чтобы нас не заметили? Пришел туда заранее, жду возле старой диспетчерской — и вот они идут, обе, Нелли и Нина. Идут как ни в чем не бывало к старой диспетчерской, Нелли отпирает дверь. Глазам своим не верю: откуда у нее ключ? Но тут уж не до раздумий, Нина кивает мне украдкой — скорей, мол, сюда! Бросаемся друг другу в объятия, Нелли куда-то исчезает, и Нина запирает дверь изнутри. И долгий, долгий поцелуй…

«Ах, мой Витька, *lubimy moj!* Я уже боялась тебя потерять, но Бог меня услышал, я так счастлива! Сейчас нет времени, но мы с Нелли разузнаем, где нам можно встретиться. Я поговорю с Алей. Но самое лучшее, если ты придешь ко мне домой…» — все это Нина выстреливает залпом. Мы страстно целуемся, и уже готовы забыть про опасность быть здесь застигнутыми, когда громыхающий мимо диспетчерской здоровенный фургон с грузом приводит нас в чувство. Последний поцелуй, Нина отпирает дверь и выходит. Делает знак, что можно и мне. Нина запирает дверь снаружи. Кто знает, может быть, это убежище нам когда-нибудь еще понадобится. Ну вот, я так и не спросил Нину, откуда у Нелли ключ… Стою и смотрю, как Нина идет между заводскими постройками. Несколько раз она оборачивается, один раз даже помахала рукой.

Пойду я прежде всего к Максу в кузницу. Я же должен обо всем ему рассказать, я просто не могу удержать это в себе. Что бы я делал без моего Макса! Слава Богу, у него сегодня есть время, ему, можно сказать, почти нечего делать — еще ведь раннее утро. Если *Natschalnik* услышит, что в кузнице не стучат молоты, сразу прибежит с каким-нибудь «своим» заказом. Но пока что, кроме Макса, никого в кузнице нет, он «в моем распоряжении».

Макс тоже не понимает, как мог достаться девушкам ключ от старой диспетчерской. Но устраивать там тайные свидания нельзя — слишком опасно. Она хотя и отключена, но не демонтирована; в любую минуту что-то может там понадобиться. Кто-то придет за каким-нибудь прибором, например. «Так что, дорогой мой, это не

решение», — предупреждает меня Макс. Прав он, никуда не денешься, и напрасно я забрался туда с девушками. Очень хотелось, хорошо еще, что все обошлось. «Беспокоюсь я за тебя, Вилли, — продолжает Макс. — Не натворил бы ты чего, пока нас домой не отпускают. А если еще и докторша тебя соблазнит? Как ты из всего этого выкрутишься?» — «Это ты брось, Макс!»

Я уже готов обидеться, не хочу сейчас об этом даже говорить.

«Чего — брось? Вот посмотришь, попадешь к ней в руки следующий раз — тут твоей неприступности и крышка. Бедная Нина, но — знать ей об этом не следует…»

Это уж он слишком! И чего каркает? «Не говори пошлостей, Макс! Нина — моя настоящая любовь, ею и останется!»

«Ах, мой мальчик, это хорошо, что ты еще так веришь в любовь. Я же вдвое старше тебя, но это не значит, что вдвое опытней в любви. И у меня была первая большая любовь, я готов был покончить с собой, когда вдруг остался один, а она нашла себе другого любовника. И наступил для меня долгий перерыв в любовных делах. А потом были сразу две женщины, и я верил, что буду любить их обеих до самой смерти. А потом меня взяли в армию, и там случались новые приключения. А вот теперь, здесь — Людмила, и мы оба знаем, что это любовь на время и что, когда мы расстанемся, жизнь от этого не остановится. И у тебя, мой мальчик, — тоже. Вкушай же от молодости, лучшие годы у тебя все равно уже украли!» — заключает Макс, теперь совсем серьезно. И отправляется в кладовую к Людмиле, а возвращается оттуда с двумя яблоками. «Людмила припасла и для тебя!»

И только мы с Максом съели по яблоку, как появился его начальник.

«*Podozshdi!* — говорит мне. — Ты говоришь по-русски лучше, чем Макс». И протягивает Максу эскизы железной ограды и фотографии с кладбища. Объясняет с моей помощью, что ограда — для могилы его покойных родителей, надо ее изготовить, и это должна быть самая красивая ограда на кладбище. На фотографиях видно, что вокруг всех могил — ограды, все разные. И у многих могил за оградой — еще скамья и даже небольшой столик перед ней. Я спросил, зачем эти скамьи и столики, и он стал объяснять нам, что в дни рождения покойных или в праздничные дни родственники приходят на кладбище и у могилы своих близких отмечают их день рождения или иной праздник. С водкой и обильной закуской, разумеется. И покойные как бы присутствуют за этим столом. Им тоже оставляют водку… «А железо для ограды пусть Макс возьмет в кладовой, я там скажу».

«Смотри ты, Вилли, — говорит Макс, гордясь моими успехами в языке. — Вот я с удовольствием слушаю, как ты с ним говоришь по-русски и все понимаешь. Мне такого не одолеть, хоть пять лет еще просидеть в плену!»

А я отправился в мартеновский цех. На аварийном участке дело за последние дни сильно продвинулось: много места уже очищено от разлившегося металла, непрерывно работают экскаватор и подъемные краны. Из пленных здесь остались только сварщики и несколько самых крепких парней, остальные вернулись к своей постоянной работе — ремонт печей. Я зашел к секретарше Лидии узнать про Ивана Федоровича.

И она показала мне письмо от него. Он пишет, чтобы из Сибири его не ждали — он останется у жены. Еще Лидия показала мне место в письме, где Иван спрашивает об мне — уехал ли я уже в Германию. Что ж, ему и в Сибири найдется работа, там ведь тоже есть металлургические заводы, тоже варят сталь. И я попросил Лидию сообщить Ивану, когда будет писать ему, что, увы, освобождения я все еще жду. А она и на этот раз поит меня чаем с печеньями. Как мне ее благодарить? Наверное, когда весной появятся самые первые цветочки, найти несколько, сорвать и принести Лидии? Какой-никакой, а все же сюрприз…

А когда я пришел на станцию и собрался уже лезть в вагон, меня остановил немецкий охранник Густав. «Пройдемся немного, — говорит, — хочу тебе кое-что сказать». Оказывается, он сегодня задержал на железнодорожном въезде в завод молодую женщину. «И она говорит, что работала вместе с тобой на стройке в Киеве. Ты бы посмотрел, как она обрадовалась, когда я ей сказал, что знаю тебя. Я ей обещал сказать тебе, а она придет завтра утром на то же место».

Сначала я буквально онемел. Это может быть только Лидия Чегорцева, штукатур. Приехала сюда в Мариуполь из Киева? Ей написала про меня женщина с шахты «Красная звезда» в Макеевке? Просто немыслимо! Русская женщина, ищет меня, немецкого военнопленного, с которым работала на стройке в Киеве, которого учила русским словам, еще хотела показать, как она танцует? Мы тогда сразу разбежались, побоялись, что нас застанут, но между нами ничего ведь не было! Ни поцелуя, ни нежных прикосновений.

Ну, наверное, Лидия этого хотела. И вот она здесь, ищет меня на заводе имени Ильича! Или это все случайность, совпадение? Ведь такого не может быть! Тогда почему она спрашивает обо мне именно здесь? Завтра узнаю: обязательно пойду туда, где с ней

говорил охранник Густав.

Едва дождался, пока вернется с работы Макс, чтобы все это ему рассказать. «Ты меня просто пугать начинаешь! — отзывается Макс раздраженно. — Чего этой Лидии от тебя надо?» — «Если бы я знал… Ну, мне тогда показалось, что она немного влюблена. Это же был первый раз в моей жизни, что я мог вот так… оказаться вместе с женщиной. А раньше только слышал от тех, кто постарше, как это бывает. А теперь вот — она приехала и рискует гораздо больше, чем тогда, в Киеве». — «Эх, Вилли, Вилли, — сокрушается Макс. — Ничего хорошего я не жду от этой завтрашней встречи. Ты же знаешь, что я думаю про охрану, про этих хитрюг. А не пойти ты не можешь — кто знает, чего только не пришлось проделать этой женщине, чтобы найти тебя. Что ты им так нравишься, этим бабам? Просто жуть!» Видно, Макс всерьез беспокоится.

«А что поделаешь, Макс? Я ведь не звал ее сюда. Наверное, не надо было давать ее адрес той киевлянке на шахте, в насосной. А теперь уже все равно, сколько ни обсуждай».

На том дискуссия и заканчивается. Ложусь спать, только мне не спится: побаиваюсь я этой встречи с Лидией.

Утром, приехав на завод, пошел к тем воротам, где был охранник Густав. Только подошел, а Лидия уже бежит, кричит издали: «Витька, Витька, я тебя везде так искала, наконец нашла!» Я делаю несколько шагов ей навстречу, я еще на заводской территории. И как только Лидия добежала сюда и бросилась мне на шею — два русских часовых с автоматами наизготовку тут как тут!

Нас с Лидией отвели в барак охраны. Большая комната с маленькими окнами, посередине большой письменный стол с телефоном и горой бумаг. За столом сидит капитан, на стене — портрет Сталина и красный флаг, вдоль стены — простые скамьи. Клубится табачный дым. Капитан стал меня спрашивать; я сделал вид, что не понимаю по-русски. Он стал звонить по телефону, вызывать переводчика. И занялся сперва Лидией. Как ее фамилия, где живет, что здесь делала. И я слышу, как она объясняет, что приехала навестить тетю и по дороге к ней случайно увидела меня у ворот и вспомнила, что мы вместе работали в Киеве, восстанавливали дома на Крещатике… На этом месте ее объяснений дверь распахнулась, и влетел еще один офицер с вооруженными солдатами.

Кричит: «Где шпионы?» Не успели мы повернуться, как нас подхватили — и вот мы с Лидией уже в кузове грузовой машины.

Велят сесть на скамью у переднего борта, а справа, между нами, и слева садятся солдаты с автоматами. А еще двое стоят в кузове, наставив автоматы на нас, словно мы опасные преступники. И машина везет нас в центр города, наверное, это что-то вроде полицейского управления. Обстановка здесь получше, чем в бараке на заводе. Переводчика пока нет, и первой допрашивают Лидию — зачем приехала и что да как хотела разузнать. Но она как каменная — ни на слово в сторону от того, что сказала офицеру в бараке. Наконец появляется переводчик. Теперь отвечаю я: как фамилия, из какого лагеря, кем работаю на заводе. Я показал свой пропуск, объяснил, что имею право свободно передвигаться по заводу, чтобы выполнять свои обязанности. Объясняю, что случайно увидел Лидию, когда разговаривал с немецким охранником. А Лидию узнал потому, что работал с ней вместе в Киеве на главной улице и хотел спросить, что она здесь делает…

Замечаю, что переводчик часто останавливается, ищет нужное слово. Чуть было не выдал себя — хотел подсказать. Потом они опять допрашивали Лидию; одни и те же вопросы, одни и те же ответы… И тут меня словно током ударило: так ясно я вспомнил допросы в Киеве у капитана Лысенко. И меня охватил панический страх — опять будут бить! Я всматриваюсь в злобные лица офицеров и солдат и начинаю понимать, где мы находимся: это НКВД. Что они сделают с Лидией и со мной, когда поймут, что поймали никак не шпионов?

Вдруг за дверью начинается какой-то шум. И появляется Владимир Степанович, наш начальник лагеря, подходит ко мне и грозно спрашивает: *«Schto ty zdes delajesch??»* Хватает за руку и тащит за дверь. Там ждет шофер Дмитрий, мне велят сесть в машину, на которой мы с ним столько раз ездили. Владимир Степанович сходил еще раз к тем, из НКВД. Вернулся, и мы поехали. Спрашивает меня, что случилось. Рассказать ему всю правду? Конечно да! Он ведь всегда нас понимает. И я рассказываю, всё как есть.

«Что же ты за дурень, Витька, *durak takoj*, — сокрушается начальник лагеря. — Спросил бы коменданта или меня. Вы же оба — эта женщина и ты работали на социализм, на восстановлении. Что ж, нельзя вам и поговорить друг с другом?» Ну об этом я, конечно, не подумал. А вот охранник Густав — как он? Очень уж вовремя оказались те часовые на том месте. Но главное не это — ведь как здорово, как замечательно, что Владимир Степанович вызволил меня из НКВД! Он о нас, своих *Plennych,* заботится, он нам сочувствует.

Когда мы приехали в лагерь, Владимир Степанович отвел меня к коменданту Максу Зоукопу. Тот, конечно, уже обо всем знает. Владимир Степанович оставил нас вдвоем и, прощаясь, бросил Максу: «Получи его обратно и подумай, как с ним быть дальше».

«А я что? — ворчит Зоукоп. — Парень вел себя хорошо, много чего делал, когда другие уже спали. Что же мне с тобой делать, Вилли?» — это он уже мне. Рассказываю и ему честно всю историю; он ведь меня давно знает, еще с шахты в Макеевке и с наших там концертов. Ну а что ему этот рассказ? Не про то, наверное, думают они с начальником лагеря.

«Прежде всего, — решает Зоукоп, — надо, чтобы спектакль на празднике Первого мая сыграли как надо. Осталось, слава Богу, всего три дня. Пока побудешь в лагере, поможешь с подготовкой Манфреду, а там посмотрим!»

Можно идти к себе в комнату. Только теперь я замечаю, что первая смена уже вернулась с завода. Ничего себе, сколько же это часов продолжалась вся история? Я лег на кровать, потянулся, чтобы «переключиться». Там, в НКВД, уже не думал, что вернусь сюда. Если бы не Владимир Степанович, и не вернулся бы. Еще и еще раз — какой же все-таки оазис наш лагерь; «человечность» здесь — это не из «иностранного языка».

Мой друг Макс уже слышал, что какого-то пленного увезли в НКВД. И кто-то сказал ему, что видел точно — взяли меня. «Ну, мой мальчик, как же я рад! Значит, это был все-таки кто-то другой», — говорит Макс с облегчением, видя меня лежащим на своей кровати. «Да нет, Макс, не другой. Это я был…» И сразу в комнате воцаряется полная тишина — все напряженно вслушиваются. А когда я заканчиваю рассказ, раздаются возгласы: «Ох, и повезло же тебе! Что бы мы делали без Владимира Степановича… Ну, ты и скажешь, Вилли!» А Макс Шик хмуро говорит, что надо ему лучше за мной следить, и ложится вздремнуть до ужина.

Я тоже закрываю глаза, но мне не заснуть. Что же будет с Лидией? У нее ведь нет здесь такого Владимира Степановича. И в который раз горько осознаю: я пленный! Не могу ни во что вмешаться, не могу помочь, когда с другим поступают несправедливо. Только бы все обошлось у Лидии! Владимир Степанович сказал, когда ехали оттуда в лагерь, что, может быть, и обойдется.

«Если она докажет, что работает, что ее тетка на самом деле живет здесь поблизости, то ничего страшного с ней не будет. И еще хорошо, что у НКВД сейчас дел по горло — на днях Первое

мая, и не до того им, чтобы с ней долго возиться». Очень надеюсь, что он не ошибся. Я давно не молился, сегодня непременно помолюсь, буду просить Бога, чтобы простер свою длань над Лидией, и благодарить Его за нашего Владимира Степановича.

История с моим арестом и НКВД облетела лагерь со скоростью ветра и украсилась всего за час-другой устрашающими подробностями. В каких я сидел ужасных подвалах и тому подобное. А репетиция прошла у нас в этот вечер замечательно. Манфред даже беспокоился: «Рано еще, чтобы так хорошо!» Одним словом, получается у нас настоящая оперетта.

И вот наступило Первое мая, праздник трудящихся, самый главный в Советском Союзе. Военнопленные сегодня тоже в цехах не работают — только в дежурных и аварийных службах. Стоит хорошая солнечная погода. Перед обедом — общий сбор на плацу, представитель из «Антифа» держит речь о Первом мая. Владимир Степанович и все офицеры тоже присутствуют. Он тоже выступает и говорит, что Первое мая — такой день, когда трудящимся надо сказать спасибо за их труд и достижения, потому что социализм можно построить только трудом и старанием. И за наш труд на заводе и в лагере, а также — не в последнюю очередь — за хорошую дисциплину он нас всех благодарит. Уже четыре года как кончилась война, и можно надеяться, что скоро нас отпустят в Германию. «*Skoro domoj!*» — заканчивает он под аплодисменты.

Наш комендант Макс Зоукоп тоже обязан держать речь, разумеется — читать по бумаге, потому что она должна быть разрешена политруком. Он и повторяет почти то, что говорил Владимир Степанович, только насчет *skoro domoj* у него свое мнение, и на эту тему он не высказывается.

На солнышке хорошо, и после митинга — так, кажется, это называется? — почти никто не уходит. Но ко времени обеда плац все же пустеет. На кухне — большой плакат, объявление: после обеда будет сладкий пирог и пудинг, все в честь Первого мая. А у нас в пять часов первое представление, в восемь вечера — второе. Почти как в настоящем театре, только без билетов и платы артистам…

После вечернего представления нас угощают на кухне второй порцией пирога и кофе. С нами политрук и еще несколько офицеров. А кофе настоящий, и это приводит в восторг Макса и других моих старших товарищей. Я-то в этом не разбираюсь.

Кончился праздник, но комендант меня из лагеря не отпускает. Советует заняться чем-нибудь полезным в слесарной мастерской или в столярке.

Из письма родителям и брату 2 мая 1949 г.

> *«…Вот и прошел праздник трудящихся. Для нас это были два замечательных дня. Кухня нас порадовала (даже пудинг!), а у «театральной бригады» было дел по горло. Мы гордимся тем, что помогли нашим товарищам хорошо отдохнуть и доставили им удовольствие…*
>
> *Скоро полночь, кроме меня и Макса все в нашей комнате спят, а радио тихо наигрывает танцевальную музыку, наша трансляция настроена на Лейпциг… Погода стоит чудесная, ночи уже теплые. Когда мы с Максом прогуливаемся вечером среди деревьев или сидим у фонтана, я вспоминаю вас. А звезды на небе указывают нам путь домой. Может быть, вы на них тоже смотрите, и там в вышине соединяются наши взгляды…*
>
> *Я заканчиваю в надежде вскоре предстать пред вами «in natura»…*
>
> *Ваш Вилли».*

После того как я побывал в НКВД, ко мне нередко обращаются с вопросами наши пленные, с которыми я раньше не был знаком. Всех их беспокоит одно и то же: что будет, если застанут с подругой. И я отвечаю всем одинаково, повторяю, как это было. В подробности не вдаюсь, ведь кого-то из спрашивающих могли и подослать, чтобы еще что-то разузнать обо мне.

А сегодня встретил Густава, того самого охранника, с которого все и началось. Оказывается, он и сам искал меня. «Поверь мне, Вилли, — говорит, — я же хорошо знаю, что вы о нас думаете. Даю тебе честное слово: я был так же ошарашен, как и ты, когда солдаты появились в ту минуту, как эта девушка побежала нам навстречу. Поверь мне!» — повторяет Густав. Трудно поверить, но ведь лучше не думать о человеке плохо. Кажется, я начинаю верить. И тут происходит совершенно невероятное: Густав протягивает мне сверток. Там густо исписанный листок бумаги, 20 рублей, яблоки, кусок пирога, конфеты и две плитки шоколада! Одну я тут же отдаю Густаву.

«Эта женщина, — рассказывает охранник, — приходила сюда. Сказала, что едет обратно в Киев, и вот передала это для тебя с сердечным приветом. Патрулей на этот раз не было видно, но она все равно очень торопилась…»

Значит, боялась, что опять поймают. Я пошел в нашу комнату и стал читать письмо от Лидии. У нее очень четкий почерк, буквы прямо как напечатаны. Привожу его здесь по памяти.

«Дорогой мой Витька,

долго я тебя искала, а когда наконец нашла, нас арестовали и не было возможности хоть немного поговорить, поэтому я и пишу тебе это письмо. Лучше бы все это рассказать, мы ведь ни разу даже не обнялись. После того как я получила письмо от Тамары Петровны — ты знаешь, это женщина, с которой ты работал на шахте «Красная звезда», — я захотела тебя увидеть. Я была так рада, когда Тамара написала, что с тобой все хорошо, что в лагере ты играешь в театре и что ты хороший парень. И вот я договорилась с Тамарой и поехала в Провиданку в надежде повидать тебя. Ты не представляешь себе мое огорчение, когда Тамара узнала от Александра, с которым ты вместе работал, что тебя отправили в другой лагерь. Целую неделю я прожила у Тамары в их рабочем лагере, пока однажды она не узнала и не рассказала мне, что ваш эшелон ушел в Мариуполь. Это сказал ей Александр, а уехали вы оттуда в Германию или нет, этого он не знал. Я вернулась в Киев, и вот несколько дней назад приехала поездом через Одессу в Мариуполь, долго была в дороге. А здесь стала спрашивать на стройках, где работают пленные, не знает ли кто молодого рыжего немца, который выступает в театре. И мне повезло, что я встретила человека, который знает тебя и сказал тебе обо мне. Об остальном ты сам знаешь, только не знаешь, как я выбралась из милицейской комендатуры.

После долгого допроса меня заперли вместе с часовым в каком-то кабинете, и, если мне нужно было выйти в уборную, он шел туда со мной. Вечером мне принесли кружку чая и немого хлеба. Тогда я стала часто ходить в уборную, пока часовому не надоело ходить туда со мной все время. На это я и надеялась. И я выбралась через окошко в уборной в какой-то двор, никто меня не заметил, и побежала к родственнице, это совсем недалеко от металлургического завода. Я очень надеюсь, что у тебя не было из-за меня неприятностей, что ты здоров и скоро сможешь ехать в Германию. Как бы я хотела побыть с тобой подольше, но бесчеловечные законы против нас.

Обнимаю тебя и целую на прощанье, помни обо мне, несмотря ни на что! У тебя есть мой адрес, напиши мне, пожалуйста, когда будешь уже в Германии. Я тебя вспоминаю!

Лидия».

Слава Богу, Лидия на свободе. Но надолго ли? Не станут ли копать против нее, когда вернется в Киев? Хоть я и не виноват в том, что случилось, я боюсь за нее. Ее же могут отправить в лагеря. Или будут держать в тюрьме и обращаться так, как тогда со мной в Киеве?

Как только пришел Макс, рассказал ему новость и стал читать письмо вслух. Макс спокойно слушал мой перевод. Сказал, что мы еще дешево отделались, и он этому рад.

А репетиций в мае больше не будет, Манфред ничего нового еще не придумал…

«Советский Союз, 22.5.49

Моя дорогая мама!

Прежде всего — огромное спасибо за твое письмо от 22.4, я его получил в воскресенье и очень обрадовался. Да, мама, ты уже думала, что я — в пути домой; к сожалению, этого пока не произошло. Праздник нашей встречи все еще откладывается. Надеюсь, что летом получится. У нас здесь уже несколько недель стоит чудесная солнечная погода. Солнце прямо-таки печет!

Пояснения к обеим фотографиям. Это я в роли Леночки в комедии «Испанская муха», ее ведь ставят теперь с большим успехом и в Берлине! Когда смотрю на фотографии, я и сам себе удивляюсь. Да, мамочка, и друзья мои говорят, что не у всякой женщины такие локоны. Уж наш театральный парикмахер постарался: вся прическа — это ведь мои собственные волосы. Так как же, дорогая мама, нравится тебе твоя «дочка»? Видно, скоро смогу соперничать и с невестой брата…

Пока я тут пишу письмо и покуриваю сигарету, звучат прекрасные мелодия из «Кармен», это передает, как всегда, радио из Лейпцига. Сейчас воскресенье, вечер. Как бы хорошо было побыть сейчас с вами, да только, к сожалению, встречу нашу задерживают. Сейчас, когда все вокруг зеленеет, в траве показываются первые цветы, а по улицам порхают в пестрых платьях веселые девушки, слово «родина» звучит особенно сильно. Я часто вспоминаю летние вечера, оперетту в Моравской Остраве с Фрицем Альбертини. Читал недавно в берлинской

газете, что он поет теперь в театре «Метрополь». Слышали ли вы что-нибудь об остальных?

У нас уже 23 часа, и кое-кто уже лег спать, но другие — торопятся послать весточку домой, на родину. Каждый занят собой. А на дворе еще совсем тепло, ярко светит луна. Когда закончу письмо, пойду немного пройдусь, еще слишком жарко, чтобы спать. Я ведь могу спать до восьми утра.

И еще об одной маленькой новости хочу тебе сообщить. Благодаря моему знанию русского языка вот уже две недели, как я работаю в должности бухгалтера кухни.

Надеюсь, что все вы здоровы, и хочу письмо заканчивать.

Нежно целую, доброй ночи!

Твой сын Вилли

И еще нежно целую папу и Фрица».

Спустя несколько дней я написал брату:

«Мой дорогой Фриц!

После дней Пасхи и нашего скромного представления нашел я время написать и тебе несколько строк.

Прежде всего, ты увидишь приложенные фотографии, так что не буду тебя мучить и поясню сразу. Я уже много писал вам о моих театральных делах, теперь ты сможешь увидеть это сам. Конечно, и ты спросишь, как это может быть, чтобы мужчина так изображал девушку. Вот на первой фотографии — я в нежных объятиях нашего первого тенора. На второй — я с нашей очаровательной субреткой. А вот — отрывок из нашей «театральной критики» последних недель:

«Убедительны были женские роли. Розмари (Вилли Биркемайер) играла превосходно. Выражение лица, произношение, речь — все как должно…» «Вилли Биркемайер в роли молодой проказницы — это был настоящий актерский успех. Его легкая, быстрая манера исполнения женских ролей отвечает именно тому, на что втайне надеется зритель». «Вилли Биркемайер в роли Леночки вдохнул в свою героиню тепло подлинной жизни. Он превосходно исполняет девичьи роли. Невольно спрашиваешь — откуда у этого парня в его годы такой опыт?»

Все это — из нашей лагерной газеты, которую пишут сами пленные солдаты; ее вывешивают на доске

объявлений и пропаганды.

Поверь, это замечательно — доставлять товарищам ощущение разрядки и радости. И самому мне игра на сцене доставляет удовольствие. Так незаметнее проходит время. А может, я и дома решусь выйти на сцену? Кто знает, ведь всё может случиться?!»

Кухонный бухгалтер…

Вот кем я теперь стал — кухонным бухгалтером; ведь полагалось наказать меня за ту историю с киевской Лидией и из лагеря не выпускать. Значит, на завод мне не попасть и с Ниной не увидеться. Правда, Макс обещал попросить Людмилу, чтобы она сходила к Нине и предупредила ее.

А я сижу теперь в маленькой комнате вместе с Гейнцем, он здесь самый главный — заведующий кухней. А моя обязанность — следить, чтобы «каждый грамм» муки или сахара был правильно записан в книги и чтобы на главном складе, где мы получаем (это называется «закупаем») продукты, нас не обсчитывали. Это ведь большое хозяйство, продукты там выдают и другим лагерям военнопленных, и лагерям заключенных.

Обычно за продуктами с нами ездит в город на склад и наш *Starschina*, Виктор Петрович. Это же немалый груз — продовольствие на две тысячи человек: с десяток мешков ржаной муки или перловой крупы, три мешка сахара, когда бывает картофель — еще 20 мешков. Иногда бывает и мясо, не очень свежее, упакованное в ящики, но вот вчера нам досталась говяжья туша, разрубленная пополам. А на прошлой неделе — две свиные туши, тоже разрубленные. Еще кислая капуста в здоровенных бочках, пшено или гречка в мешках. Мешки и бочки надо потом возвращать на склад. Гейнц знаком здесь со всеми, кто выдает продукты. Представил и меня, сказал, что я бухгалтер. Мне тут справляться легко, потому что я говорю по-русски, уже научился даже немного писать. До сих пор мало кто из пленных учит русский. Может быть, из-за ужасов первых дней плена этот язык вызывает у многих неприязнь?

Взвешивать мешки здесь не полагается, зато в кузов нашей машины может попасть на один-два мешка с продуктами больше, чем записано. Гейнц хорошо знает, как, где и когда это можно проделать. Русский заведующий все вроде бы точно записывает, мы с Гейнцем проверяем, и я должен подписать, что все получено…

А «дома», в лагере, все полученное аккуратно раскладывается по местам у нас на складе. Никогда еще не было, чтобы продукты у Гейнца кончились, всегда есть запас, заначка. А как бы иначе смог он приготовить на Первое мая пудинг?

Есть и русский офицер, который отвечает за питание пленных и за чистоту и порядок на кухне. Ему полагается утверждать меню и раскладку продуктов, но он нам, что называется, не надоедает. Зайдет в обед, заглянет в котлы с супом и кашей, бывает, что не

откажется и пообедать — тем, что готовят для лазарета. Там обычно человек 30–35 больных, им готовят отдельно, по указаниям Марии Петровны, которая очень об этом заботится. Гейнц говорит, что раньше так не было. А теперь — вот только вчера она к нам приходила вместе с тем офицером, осматривала всех, кто работает при кухне. Увидела и меня, осмотрела, как всех. А когда уходила, уже в дверях, тихо сказала, чтобы завтра в шесть вечера я пришел к ней в больницу. А ведь левая голень зажила у меня после ее лечения, и шрам выглядит хорошо.

Не попасть бы мне с ней в историю. После всего, что было недавно, когда приезжала Лидия из Киева, только этого мне не хватает… Как говорил про нее Макс? Что Мария Петровна — привлекательная женщина в самом расцвете лет! Надо мне быть поосторожнее завтра вечером…

Считается, что на кухне я работаю временно, поэтому мне разрешили остаться жить в комнате со всей нашей театральной бригадой, а то пришлось бы перебираться к поварам. И тот педераст, что однажды приставал ко мне, больше не лезет. Видно, понял, что я все рассказал Максу и что тот может вступиться.

Хлеб в лагерь привозят каждый день, по две тонны в буханках-кирпичиках. Русские экспедиторы уверяют, что местные жители получают точно такой же. Это верно, меня ведь не раз угощали на заводе, и вкус хлеба был почти всегда одинаковый, такой же. Когда кладовая загружается свежим хлебом, оттуда распространяется на всю кухню такой приятный запах. И еще одно хочу обязательно сказать про хлеб. Начиная с лагеря в Киеве, где условия жизни пленных уже были более или менее упорядоченными, я получал, как и все военнопленные, не меньше шестисот граммов хлеба в день. И за ним не нужно стоять часами в очередях, какие мы видим здесь в городе перед магазинами, где продается хлеб.

Мысли все время возвращаются к Марии Петровне. Чего же она от меня хочет? Когда осматривала меня, ничего особенного я не заметил, вот только когда сказала, чтобы пришел к ней в больницу завтра в шесть, смотрела почему-то в сторону.

Вечером мы сидим с Максом и беседуем, как всегда; что было сегодня и все такое. И я сказал Максу, что завтра мне идти к Марии Петровне. Он пожал плечами и пошел за супом один — я уже поел на кухне. Сегодня у нас нет репетиции, Манфред и еще несколько наших простужены, и вечером мы с Максом прогуливаемся по лагерю. Май, веет теплый ветерок с моря. И Макс рассказывает мне — в первый раз — о своих заботах: Людмила долго скрывала от него, что беременна; она хочет

родить ребенка от Макса… Он старается ее отговорить — каково будет ребенку без отца! Даже если нас еще год или два продержат в плену, Макс ведь ничем им помочь не сможет. И что же ему — оставаться в стороне? Вопросы и вопросы, и неизвестно даже, как их обсуждать, потому что ему не хватает русских слов. Я бы мог, конечно, перевести, да только захочет ли Людмила — ведь это такое интимное дело. А попробовать поговорить через Нину, да ведь с ней я теперь тоже увидеться не могу. Когда еще я освобожусь с этой кухни…

А с Ниной мы на эту тему уже беседовали, так что мой запас слов пополнился. И слово «аборт» по-русски я теперь знаю. И знаю, что немало женщин оказалось в том же положении, что Людмила, и что многие, не обязательно беременные, попали в лагеря за связь с военнопленными, теперь они заключенные. Это ужасно, что мужчина оставляет любимую женщину на произвол судьбы, и не потому, что не хочет вступиться за нее, а потому только, что он — пленный и никаких прав у него нет. Считается — не должно быть никакой любви, только и всего! Выть хочется от злости и беспомощности. Был и у нас такой случай еще в Макеевке. Военнопленный познакомился с молодой женщиной и заявил, что хочет остаться с ней в Советском Союзе навсегда. Их обоих судили и приговорили к заключению в трудовые лагеря на много лет. А женщину еще заставили сделать аборт. Хуже ничего и быть не могло. А в лагере всем об этом объявляли — для устрашения, должно быть.

Вот так мы с Максом беседовали, глядели на ночное небо, усыпанное звездами. Может, и мои отец и мама смотрят сейчас на небо, может, мы видим одни и те же звезды? Эх, не могут они мне ничего посоветовать. Так что еще хорошо, что мы с Максом вдвоем, что мы с ним здесь не одиноки. Каждый Божий день благодарю за это Бога, вот только усомниться в нем можно — столько бесчеловечности и несправедливости вокруг. Никогда я не видел Макса таким растерянным. «Всегда был уверен, что смогу найти решение, что бы ни случилось, — признается Макс. — А вот спрашиваю совета у тебя, своего подопечного!»

Ничего не поделаешь. И мы отправляемся спать, утром ведь на работу. А утром Макс торопится на первый поезд, да и моя смена начинается на кухне между пятью и шестью утра. Сегодня съел только пайку хлеба и выпил две кружки чая — пшенного супа не хочу, я не голоден. Вспоминаю только, как это было на пешем марше в плен, что значила тогда каждая, пусть хоть с грязью, крошка хлеба…

Заведующий Гейнц уже ждал меня, чтобы ехать в город —

нам сегодня получать там какое-то внеплановое мясо. Приехали, оказалось — первыми. Вонь там вокруг мясокомбината стоит ужасная, никогда, наверное, такой не знал. Может быть, мы на пешем марше в плен так пахли — мочой, дерьмом, пропотевшими тряпками, грязью? Ничего не поделаешь, из люка в привезенные нами бочки льется и валится какая-то страшная масса. Я ничего не понимаю, а Гейнц явно доволен: «Ничего! Это рубец да потроха, внутренности. Их надо только хорошо отмыть да проварить, и получится даже вкусно».

Ну, разговоры вести тут некогда, за нами уже образовалась очередь. Бочки наполнены, и мы поехали. Гейнц рассудительно велит в лагерь не въезжать и сначала пригласить офицера, отвечающего за кухню. Пусть посмотрит, если согласится — тогда уж на кухню.

«*Schto wy priwesli, Heinz?*» — недоумевает тот, зажимая нос. А услышав про потроха, соглашается, что надо попробовать их отмыть. Лучше всего — в бане, там кафель, он не провоняет. Сразу находятся добровольцы на эту приятную работу — их за нее хорошо накормят. И дело идет полным ходом, запах в бане стоит такой, что Гейнц обещает мойщикам еще и по второй пайке хлеба.

И через два или три часа — удивительное дело, две бочки наполнены отмытыми потрохами. А третья бочка — кишками и вонючими отходами проведенной операции. Гейнц собирается промыть «продукцию» еще раз, чтобы заведомо не было никакого запаха, а офицер приводит Марию Петровну, чтобы и она убедилась, что все чисто.

«*Woobsche, ne tak usz plocho!*» — говорит она и объясняет Гейнцу, что во внутренностях содержатся очень полезные минеральные вещества. Мы о том понятия не имели, для нас это было просто — мясные отходы для *Plennych*.

И мы идем мыться — при кухне есть отдельная душевая для персонала. Когда, переодевшись, выходим к товарищам, они уверяют, что от нас совсем не пахнет. Ну ладно. Не знаю, может быть, мерзкий запах «застрял» уже у меня в носу.

Маша

Сегодня мне надо к шести вечера быть в больнице у Марии Петровны. И меня одолевает странное чувство, потому что я не знаю, зачем я туда иду. Она же сама сказала недавно, что рана хорошо зажила!

Очень неуверенно стучу в дверь…

Она сидит спиной ко мне, волнистые волосы спадают на плечи. Повернулась, встала, медленно идет ко мне и, не говоря ни слова, поворачивает ключ в двери. И… И охватывает руками мою шею, страстно целует меня в губы. Поцелуй, какого в моей жизни еще никогда не было, он словно молния пронзает все мое тело, и ничего другого мне не остается, как отозваться на него с такой же страстью. Ничего не соображая, ничего вокруг себя не замечая, прижимаемся друг к другу. И начинаем срывать с себя мешающую этим сумасшедшим объятиям одежду, приближаемся к койке. И там предаемся любви без конца, пока не выбиваемся из сил окончательно…

Голова Марии лежит у меня на груди. Стоит мне открыть рот, как она тут же залепляет его своими губами. «Ничего не говори, — шепчет Маша мне в ухо, — я хочу лежать с тобой и отдаваться любви, больше ничего!» И вот эта, такая привлекательная зрелая женщина — в моих объятиях, она отдается немцу, военнопленному, побежденному ее обаянием. И тут в моих мыслях возникает Нина…

Нина, моя первая большая любовь, за которую я был готов и готов сейчас отдать всё. А Маша молча лежит на моей груди, и я начинаю испытывать укоры совести — ведь в объятиях Маши я уже предал Нину! И я пытаюсь мою совесть успокоить и задаюсь вопросом, а нельзя ли любить сразу двух женщин. Нельзя ли поделить любовь, не раня этим ни Нину, ни Машу? Но эту мысль я прогоняю, потому что Маша начинает снова ласкать меня. И где только она находит разные места для этих ласк! И я ведь не сопротивляюсь и чувствую себя в ее объятьях просто замечательно. Глаза не открываю, представляю себе эту скромную комнату волшебным замком. А Маша не устает нежиться со мной, и мы снова и снова предаемся любви. Она так прекрасна, что лучше бы я никогда не просыпался от этого волшебного сна…

Повернувшись, я впервые обнаруживаю, что у Маши нет правой ступни. Я хочу потрогать ее ногу, она сопротивляется, но все же беру ее голень руками, нежно глажу и целую шрамы от

ампутации. А Маша прижимает меня к себе, страстно целует и лепечет, что очень боялась отвратить меня от себя этим увечьем. И рассказывает, как это случилось. Она была врачом в полевом госпитале. Пьяный офицер, ухаживания которого она отвергла, наехал на нее на машине и так покалечил ей ногу, что правую ступню пришлось отнять. Он-де хотел ее напугать, а наехал нечаянно… Его судили, и Маша его никогда больше не видела. В госпитале говорили, что во время боя с немцами взрывом снаряда ему оторвало ногу; очень похоже на правду. Разговор возвращает нас к суровой действительности, и мы советуемся: как же нам быть дальше с нашей любовью. Нам нельзя рисковать, нельзя обращать на себя внимание и вообще мы должны затаиться.

«Но как? — растерянно спрашивает Маша. — У меня, комсомолки, члена партии, офицера Красной Армии любовная связь с заклятым врагом! Но ведь перед любовью человек бессилен, не помогут ни стены, ни запоры, ни колючая проволока. Как часто я видела тебя на сцене и спрашивала себя, не «голубой» ли ты. Ты так играешь женские роли, что трудно в это не поверить. А потом, когда ты попал в больницу и я могла потрогать тебя, лечить тебя! Я уже тогда готова была броситься к тебе, очертя голову, но каждый раз справлялась с собой… И теперь мы тоже должны трезво смотреть на вещи, чтобы не потерять это богатство, нашу любовь. Поменьше видеться на кухне — я ведь не могу все время глядеть в потолок! И часто встречаться здесь тоже опасно. Нет, мой Витька, я найду другой способ. Может, у меня на квартире…»

Опять скрывать, опять прятаться. Этот проклятый плен, когда же ему конец! Мы еще раз обнимаемся, нежимся, но не решаемся остаться здесь на ночь. Как сумела Маша устроить так, что сегодня нам никто не помешал, осталось для меня тайной. Ну и женщина эта Маша! Приготовила мне чистое белье, даже пару носков. «А завтра пойдешь на вещевой склад и получишь все новое, как у остальных на кухне!» Наверное, ей все же не нравится, что я хожу в старой солдатской форме.

Я оделся и собрался уходить. Открывая мне дверь, она шепнула, что будет ждать меня завтра в четыре часа…

На дворе темно. Наверное, уже часов десять, если не больше. Я в смятении: ну, что это я затеял? Изменил Нине, моей первой любви? Нет, нет, не хочу я этого! Я в полной растерянности — это что сегодня было, удовлетворение полового любопытства? Но ведь было прекрасно, просто фантастика — любовь с такой

замечательной зрелой женщиной. Не знаю, что и думать…

Что же мне было делать? Оттолкнуть Марию Петровну, когда она обняла меня? Мне же только двадцать один год, это только вторая моя женщина, и я в плену! Маша знала, как ей добиться своего… Нет, я не хочу валить все на нее, я только теперь осознаю, что на самом деле тоже этого хотел. И побывал с ней в таких дебрях страсти! Надо все это обдумать. Макс мне поможет разобраться. А что я ему скажу? Что был с Марией Петровной и совершенно забыл там про мою Нину?

На лагерном плацу и между постройками видны люди. Значит, еще не так уж поздно. Все еще плохо соображая, вхожу в нашу комнату. Макс сидит в кресле и читает письмо. Приветствует меня: «Наконец-то ты вернулся! Садись, выкладывай, что с тобой приключилось». Он меня хорошо знает, сразу понял — что-то меня гнетет. «Еще только девять часов, — продолжает Макс. — Пойдем прогуляемся». Мы вышли во двор, и я рассказал Максу, как меня в больнице принимала Маша, что там случилось и что меня теперь мучит.

И вот что я услышал от Макса, моего мудрого друга. Не зря он давно мне советовал не рассказывать Нине про такую милую докторшу. И в больнице она держала меня так долго потому, что хотела близости, там и начиналось то, что произошло сегодня. С чего бы это русской докторше натирать пленному спину? Для этого есть, если пленный, санитар. А то, что случилось сегодня, могло произойти и раньше.

Сколько же сомнений и страхов надо было ей преодолеть, чтобы решиться на такое! Ведь если узнают — она потеряет не только работу. Она офицер, и любовная связь с военнопленным означает для нее трибунал и суровый приговор — лагеря на долгие годы. И кто знает, сколько времени пробыла она без мужской ласки. «А ты, взрослый мальчик, так хорошо выглядишь с твоими рыжими кудрями…» И не надо сейчас беспокоиться о Нине, пусть она и первая, такая большая любовь. Кто может знать, когда мы расстанемся с ней и с Людмилой, увидимся ли когда-нибудь снова? Ведь сколько раз за эти пять лет плена наша жизнь изменялась чуть не в считанные минуты! Никаких предупреждений — подъем ночью, строиться, шагом марш — и поехали в другой лагерь…

Хорошенькая перспектива… Но Макс, как всегда, прав. Еще он добавляет, что надо довольствоваться тем, что возможно, и что наши возможности весьма ограничены. Ужасно, если меня теперь не будут пускать на завод и я не увижу Нину… И еще мы говорим

с Максом о Людмиле; и он не знает, как ему быть — она опять сказала ему, что хочет обязательно родить ребенка.

Получил письма от брата Фрица и от его невесты Гизелы, длинное письмо от мамы. Оно не такое безнадежное, как не раз бывало. Когда же меня наконец освободят, почему все новые сроки, пишет мама: «Это прямо игра на нервах какая-то!» (Эту фразу цензура, наверное, не заметила.) Еще мама пишет, что теперь пленные из России возвращаются каждый день… Мама никому из соседей не рассказывает, что часто получает от меня письма, и фотографии не показывает. Ведь у многих из них тоже отцы или дети в плену в России, но письма они получают очень редко, а то и одну или две открытки Красного Креста за все эти годы. Когда-то соседка спросила маму язвительно: «Чем это ваш сын в плену занимается, что вам так часто приходят письма?» Что это всего лишь привилегия для театральной бригады в лагере, вряд ли кто поверит…

А я устал как собака и спал сегодня так крепко, что Макс будит меня уже второй раз. Еще ночь, нет и пяти часов, но ничего не попишешь — на кухне меня ждет работа. Не знал я раньше, что у русских столько «бухгалтерии» на кухне. Мне предстоит в первый раз изготовить месячный отчет, хорошо еще, что Гейнц обещал помочь. Но сначала надо поесть, со вчерашнего обеда у меня и крошки во рту не было. Суп с требухой, что мы привезли в прошлый раз, сегодня еще не варят, Гейнц пока только экспериментирует.

Специй у нас обычно не бывает, но недавно он прихватил на продуктовом складе мешочек с гвоздикой, это «сверх плана». С вечера мелко нарезал хорошо вымоченный кусок рубца, добавил туда зерен этой гвоздики, побольше лука и сварил кастрюлю на пробу. Получилось, по мне, даже вкусно, особенно по сравнению с вечным перловым супом, который изрядно надоел. Ну и если не вспоминать о вони, которую эта требуха издавала. Два повара заняты теперь вовсю: режут рубец на мелкие кусочки к большой варке на вечер. Странный запах, конечно, в кухне ощущается. Ну и что? Бывало, что обычное мясо, что мы получали на складе, пахло хуже.

После обеда мы закончили месячный отчет, завтра предъявим его нашему кухонному офицеру. Гейнц считает, что все будет в порядке, он умеет делать так, что в конце все сходится до последней мелочи. И посвящает меня в свои секреты — как получается, что у нас всегда есть «неприкосновенный запас». В лагере уже привыкли к тому, что по воскресеньям суп погуще, а

порции каши побольше. А ведь на Рождество было сладкое и даже кофе. Какие же для этого нужны были продукты? А дело в том, что Виктор Петрович, надзирающий за кухней офицер, предоставляет нам свободу колдовать с меню по усмотрению Гейнца. И наверное, даже рад, что его этим не затрудняют.

Нас сегодня посетил сам Владимир Степанович вместе с Максом Зоукопом, и с ними свита — несколько офицеров, в том числе женщины, и несколько гражданских. Начальник лагеря с гордостью показывает им, какое у нас на кухне оборудование, здоровается с поварами, иногда задает вопросы.

Я стою рядом с Гейнцем, и, подойдя к нам, Владимир Степанович тихо спрашивает, вкусный ли сегодня суп — гостям предложить можно? Гейнц, кажется, не уверен. Но мы же пробовали, суп хороший, и гости ведь понимают, что они не в шикарном ресторане. Хорошо, что Гейнц сварил на пробу только кастрюлю, как раз хватило всех угостить. И свежий хлеб для них нашелся.

Всем хватило, и никто не поморщился. Значит, Владимиру Степановичу лишний «плюс» у каких-то начальников. Только позже мы узнали, что гражданские — это были представители международного Красного Креста. Наверное, наш лагерь «можно показывать», а может быть, он даже образцовый. Во всяком случае, по сравнению с теми, где мы побывали раньше.

Чем ближе к четырем часам, тем больше я нервничаю. Чего только я не передумал! И как скажу Маше, что люблю Нину, а в постель с ней больше не хочу. Или, как она захочет поцеловать меня, а я ее оттолкну… Нет, так не хочу, она ведь ничего плохого мне не сделала, совсем наоборот, а я наслаждался ее ласками. Скажу-ка я ей просто, что боюсь попасться и, значит, не хочу уединяться с ней, это она лучше всего поймет. Или совсем не пойду к ней сегодня!

Да нет, это же только откладывать «на потом», это не решение. И обижать я Машу не хочу, значит, о Нине ничего говорить не буду, вот и всё! Что сказал мне Макс? Что это еще неизвестно, увижу ли я когда-нибудь Нину снова. Так, может, мне и дальше наслаждаться близостью с Машей? Не знаю, что мне и делать, что правильно, а что нет. Я же люблю Нину, а вчера был с другой женщиной… Ну и что? Я же был счастлив и горд, что такая женщина лежит у меня на груди, что она ради этого обо всем забыла, бросилась в омут. Нет, это слишком прекрасно, чтобы вот так взять и бросить. А что, если это был у нее только эпизод, прихоть сексуально озабоченной женщины? Ну нет, эту

мысль я тоже отгоняю. Не из самолюбия ли?

Что за бред, все эти мои размышления!

Пришел к больнице в раздерганных чувствах. «Пожалуйста!» — из-за двери в ответ на мой стук, и я вхожу. Маша стоит за письменным столом, смотрит на меня большими глазами, идет навстречу, целует меня — и в мгновение ока все мои «правильные мысли» испаряются; я ее страстно целую. А Маша берет меня за руку и ведет в комнатушку, соединенную с ее кабинетом. Там стоят картонные ящики с книгами. «Мы их повезем ко мне домой. По очереди…» — Она лукаво улыбается.

Я поднял ящик, он не тяжелый, и мы пошли. Прямо через лагерь, к воротам. Там Маша зарегистрировала в охране, что ведет меня с собой. Отсюда до ее дома нет и ста метров, это жилой блок, где живут все офицеры нашего лагеря с семьями. Машина квартира на втором этаже. На лестнице чисто, этим занимаются уборщики из лагеря.

Никогда я еще не был в таком жилом доме. Поставил коробку на пол. Маша попросила снять ботинки; наверное, это здесь так полагается, ведь когда ездили с Дмитрием к его девушке, там тоже все снимали обувь. И так же, как было там, Маша протягивает мне шлепанцы. И тут же обнимает меня, треплет волосы и ведет показывать свое маленькое царство. Из узенького коридора дверь в ванную комнату, там ванна белого цвета на ножках, я в такой никогда не купался. У нас дома ванна была цинковая, ее приносили по субботам из подвала на кухню и наполняли теплой водой из котла, его грели на кухонной печи. Места в той ванне было на одного мальчишку, второй мылся в той же воде, только волосы споласкивали свежей. Отец мылся на работе, на шахте, а мама — после того, как мы с братом ложились спать.

Рядом с ванной здесь унитаз с бачком для воды, такой был и у нас дома, когда отец работал штейгером. А у многих шахтеров уборная была во дворе, а в больших многоквартирных домах — общая на лестничной площадке между этажами.

Прошли на Машину кухню, она размером метра два с половиной на два с половиной. Над раковиной — подвесная «двухэтажная» полка из проволоки с посудой, стаканы и чашки — наверху. Газовый нагреватель, окно во двор, огромный холодильник, как у русских полагается. Стол и две скамейки по обе стороны — места для четверых.

Вернулись в коридор, там рядом со входом дверь в Машину комнату. Широкая кровать. Маша легла на нее — показывает, как

ей удобно. «Иди сюда, — говорит. — Попробуем, хватит ли места двоим». И вот мы уже обнимаемся, целуемся и ласкаемся, осторожно сбрасывая одежду, а форменный китель Маша сняла заранее. И я уже ни о чем не думаю, только отдаюсь волшебству этой женщины, сумевшей забыть, что я в плену. Шкаф с бельем совсем рядом, подушку и стеганое одеяло Маша вытащила не поднимаясь…

«Ну, моё золотце, это мой дом, вот видишь — лежанки хватило и для двоих!» Что Маша себе думает, что у нее на уме? Ясно, что вчерашнее — это не случайная прихоть. Внезапно — звонок в дверь, сердце у меня куда-то проваливается. Маша зажимает мне рот ладонью, выуживает откуда-то халат и идет к двери. Спрашивает, кто там…

Это соседка. Она пришла сказать, что приняла телеграмму для Маши, от Машиной матери. Мама живет в Днепропетровске и просит Машу приехать, по возможности скорее, она себя плохо чувствует. «Может быть, совсем плохо, — сокрушается Маша. — А я не могу даже позвонить ей по телефону! Владимир Степанович разрешит мне звонить из лагеря, но у мамы нигде поблизости телефона нет, только на почте. А там надо ждать часами, соединяют ведь вручную». Маша старается объяснить мне, какой огромный Советский Союз, какие разрушения оставила война и как из-за этого все сложно. И все должны помогать восстанавливать разрушенное. Это уже говорит в Маше член партии…

«Когда ты хочешь ехать?» — «Если достану билет, то на этой неделе. Поезда переполнены, билет так просто не купишь. А не повезет, так прождать можно и две и три недели!» — «А Владимир Степанович тебе не поможет?» И я пересказываю Маше, что говорил мне о начальнике лагеря шофер Дмитрий и как Владимир Степанович вытащил меня из НКВД.

Маша согласна: Владимир Степанович замечательный человек, он всем как отец родной. «Мне бы такого отца! — вздыхает Маша. — Я ведь росла с мамой да бабушкой с дедом, а кто мой отец, не знаю, мама не хотела говорить мне о нем. Ведь хороший человек не оставит такую чудесную женщину, как моя мама, одну с ребенком…»

Еще я спросил, когда у Маши день рождения. Она сказала — 11 августа, по гороскопу Маша «лев». «Я ведь гораздо старше тебя, золотце! Когда началась война с фашистами, я уже была врачом, работала в больнице в Киеве. После института нас распределяли, и мне очень повезло — Киев, столица Украины, совсем не то, что назначение в какую-нибудь дыру. Но теперь я не знаю, что лучше.

А может быть, из заштатного городка меня не перевели бы в полевой госпиталь, и тот пьянчуга не отдавил бы мне ногу? Если бы да кабы… Я бы тогда тебя не встретила, вот как, золотце моё!»

Тут Маша вспомнила, что мы не ели. Встала, дала мне свой халат, а сама надела белый докторский. Конечно, ходить ей так нелегко, и она обулась: протез ступни у нее прямо в сапоге. В расстегнутом халате, почти голышом и в сапогах она очень красивая, так я ей и сказал. И про то, какие у нее красивые волосы, и про чудесную стройную фигуру и так далее. Маша прикрыла мне рот своим способом — она счастлива. Заварила чай, мы поели свежего хлеба с колбасой; появилась на столе, конечно, и водка. По такому случаю нельзя было не чокнуться, и Маша тут же — она ведь русская! — налила мне вторую рюмку… Выпили еще по чашке чаю, и стало понятно, что пора меня отправлять обратно — в лагерь.

Увы, печальная действительность, плен! Последние объятия, Маша целует меня, одевается, подкрашивает губы, и мы выходим. Я топаю впереди, Маша на приличном расстоянии сзади. На вахте «сдает» меня, охранник отмечает мое возвращение в журнале. И я иду по лагерю — не оборачиваясь, чтобы не вызывать подозрений. Иду и привожу свои мысли в порядок. Это ведь только второй раз, что я был с Машей, а мне кажется, что мы знаем друг друга целую вечность. Ведь она на 14 лет старше, а как она мне доверяет! С ней совсем не так, как с Ниной, но ведь мне хорошо с обеими, как же быть? Вот Макс мне втолковывал, что, мол, погоди, налакомишься досыта, тогда узнаешь… Я тогда подумал, что он важничает, а теперь понимаю, что здорово влип.

…И вот мы опять идем с Максом прогуляться по лагерю перед сном. Я рассказываю про Машу, он снова и снова напоминает мне про осторожность: если про нас узнают, это будет катастрофой для Маши. Я спросил и про Людмилу. «Похожие проблемы, — вздыхает Макс. — Она готова остаться со мной после плена». Людмила нарисовала ему картинку: деревня, бродит скот, а Макс в кузнице подковывает лошадь. И тут же двое или трое ребятишек… Людмила старается учить немецкий язык по учебнику, да только фразы оттуда не подходят для их разговоров с Максом. А на рисунке она все это здорово изобразила и с помощью слов, которые уже выучила, понятно объяснила. «А что я могу сказать ей — что увидим, посмотрим? Я точно не хочу оставаться в России, я хочу в Дюссельдорф! И я уверен, что нас отпустят в этом году, и тогда эти проблемы решатся сами собой».

Не могу не согласиться с Максом, но мысль о том, чтобы в один прекрасный день, вот так просто сгинуть отсюда, меня коробит. Наверное, я насквозь, душой и телом, неисправимый романтик.

Пора идти на ужин, а Макс ведь еще не знает про суп с потрохами. Посмотрим, что он скажет. На раздаче все в порядке, никакого дурного запаха, здорово отбило его пряностями. Гейнц еще заправил суп мукой и луком, получилось вкусно. И нашим товарищам суп нравится, это не то что всем надоевшая перловка. Никто не воротит нос, тем более что дают добавку — оставлять рубец на следующий раз Гейнц не стал. И я понимаю, что судьба меня еще балует — с тех пор, как мы в этом лагере, я ведь ни разу не был по-настоящему голоден.

И бог погоды к нам милостив — стоят теплые летние дни. Я подолгу сижу в тесной комнатушке при кухне, занимаюсь тупой бухгалтерской писаниной и пользуюсь любой возможностью, чтобы выбраться оттуда на свежий воздух. Вот только что забежал к Маше узнать, как у нее дела с билетом в Днепропетровск. С этим все в порядке: шофер Дмитрий отвезет ее завтра в Мелитополь, там она получит билет через кого-то из знакомых Владимира Степановича. Сколько пробудет у мамы — не знает, надеется, не дольше недели. «И вернусь к тебе, Витька. Не хочу быть долго без тебя!» Договорились встретиться в больнице в шесть вечера, чтобы еще раз побыть вместе до отъезда.

А если сегодня репетиция? Ну ничего, опоздаю немного, я ведь свою роль выучил, времени для этого на кухне хватает. Ну и с едой здесь, конечно, все хорошо. Гейнц нередко готовит даже яичницу — это у нас «второй завтрак». И совесть его не мучает — он ведь добывает немало продуктов сверх положенного, и они идут в общий котел. Даже натуральный кофе был на Рождество… А сегодня он дал мне два вареных яйца — для моего друга Макса. Я отнес их к нам в комнату и положил Максу под подушку. Представляю, как он удивится, когда придет с работы!

После обеда я и сам пошел прилечь — не могу больше видеть всю эту дурацкую цифирь! Никто ведь по-настоящему не проверяет наши калькуляции, и наш «кухонный» офицер подписывает хоть черновик, можно сказать, не глядя.

Как водится, я заснул. Проснулся, только когда пришел Макс. Едва успел остановить его, чтобы он тут же не повалился и не раздавил яйца под подушкой. «Где ты их взял?» — спрашивает Макс в полном изумлении. «Гейнц дал, кто же еще! Не мог же я сунуть тебе под подушку яичницу». Макс сердечно благодарит

меня. Оказывается, Людмила чуть не каждый день угощает его яйцами, а я-то думал…

Появился Манфред, наш режиссер. Велит быть всем в зале точно к семи. С нами хочет говорить о чем-то политрук. А уже половина шестого, в шесть мне к Маше, надо поторапливаться. Макс смотрит на меня вопросительно, и я заверяю его, что не опоздаю.

Маша уже ждала, заперла за мной дверь. «Я знаю, золотце, у нас сегодня совсем мало времени. В семь часов у вас беседа с политруком. У нас за обедом говорили, что в лагере неспокойно, вот ваша бригада и должна помочь делу. Отправить бы всех домой, а кто хочет, пусть остается. Колючую проволоку долой, и можно жить, жить, жить… Эх, Витюша, какая была бы жизнь!» На этот раз я зажимаю ей рот уже известным способом. А на Маше, оказывается, только докторский халат, больше ничего. А я никак не развяжу шнурки на ботинках, в дело вмешивается Маша. Но долго нам сегодня разлеживаться некогда. Завтра Маша уезжает в Днепропетровск, а когда вернется, первым делом пойдет осматривать кухню — чтобы я ее увидел, говорит Маша, желая меня подбодрить, а сама плачет, словно уезжает на другой конец света. Прощальный поцелуй — и я уже за дверью, через минуту-другую сижу в зале с товарищами. Ну, пунктуальность, это наша стихия, сам политрук не торопится — когда он появился, на часах было уже почти восемь. Мы еще успели какую-то сценку отрепетировать за этот час…

С политруком пришли еще два офицера, один из них говорит по-немецки. Он и начинает беседу и просит нас оказать помощь лагерному начальству в это трудное время. Хотел бы я знать, что это за трудности. А он продолжает: «Товарищ Сталин дал указание, отпустить до 31 декабря 1948 года всех военнопленных по домам. К сожалению, справились с этим не везде, и многие пленные боятся, что и в этом году домой попадут не все. Мы пришли, чтобы заверить вас: пленные из нашего лагеря будут освобождены не позднее октября этого года. Это решено окончательно, потому что здесь будет другой лагерь — для военнопленных, осужденных на длительные сроки».

И дальше он говорит, что в нашем лагере «есть такие артисты», которые подстрекают других к недовольству. И что надо обязательно этому противодействовать, и что мы должны помочь в этом руководству лагеря. Если постараемся внушить нашим товарищам, что поздняя осень — это последний срок, то уже будет хорошая помощь. А еще будут устроены спортивные

игры, даже футбол — лагерь против лагеря. И купанье иногда в Азовском море… «Все в лагере вас знают, и ваше слово может много значить. А в случае беспорядков комендатура лагеря вынуждена будет принять меры, а это будет только во вред самим пленным…»

Наш комендант Макс Зоукоп стоит сзади, он все слышал и теперь берет слово. «К нам не в первый раз обращаются за помощью. Прошу вас выполнить и эту просьбу. Я говорил сегодня с Владимиром Степановичем, и он заверил меня, что не позднее октября нас отпустят. Я ему верю. А кто из вас хотел бы не работать на заводе, чтобы заниматься только в театральной бригаде, тому мы подыщем работу здесь, в лагере. И первый футбольный матч против команды соседнего лагеря состоится через неделю. Спортивную форму, бутсы и мячи нам дают футболисты из Мариуполя».

Ну и еще про постановку оперетты, которую мы готовим, и что на днях уже можно давать представление. Что ж, на этот раз дело выглядит так, будто русские и на самом деле решили нас освободить.

И все отправляются вслед за офицерами на кухню — там есть отдельная небольшая столовая. Рассаживаемся, нам приносят свежий хлеб и — по стакану вина! Лучшего начала для подготовки к отъезду домой не придумаешь! И офицер, говоривший речь по-немецки, пьет вино с нами за наше здоровье и за возвращение домой; после этого офицеры оставляют нас одних. Мы, конечно, еще обсуждаем с комендантом Зоукопом все услышанное. Сейчас только середина мая, впереди еще июнь, июль, август, сентябрь, значит, в самом крайнем случае — ждать не больше пяти месяцев, это одна десятая часть всего времени нашего плена…

Мы возвращаемся к себе в комнату. Все же это был хороший вечер! Можно ли на этот раз верить наконец своим ушам? Посмотрим…

Из письма брату:

> *«15 мая 1949 г., Советский Союз*
>
> *…Вчера, в воскресенье, я было начал писать это письмо и тут же оставил — был под хмельком. Вот впечатления от вчерашнего вечера. После обеда к нам в столовую приехал заводской буфет с вином, сладостями, тортом и тому подобное. Такое хорошее вино, что после первого стакана сразу захотелось еще, тем более что наливали его бойкие красивые девушки. А наш оркестр*

порадовал публику танцевальной музыкой. Столы сдвинули, и начались танцы; если звучала знакомая мелодия танго или фокстрота, нам подпевали. Расходиться стали только к полуночи».

А еще через несколько дней я послал родителям и брату открытку, в которой написано:

«…Пусть дойдет к вам поскорей этот воскресный привет. Я только что вернулся с футбольного поля. У нас были гости из соседнего лагеря. К сожалению, наша команда проиграла 0:2.

Тысяча приветов, целую вас.

Ваш Вилли».

Да, русские выполняют свое обещание. Фургон с буфетом и вином уже дважды побывал в лагере, а сегодня был уже третий футбольный матч, и каждый, кто хотел, мог идти смотреть. Футбольная площадка в нескольких минутах ходьбы от лагеря, сопровождение — всего несколько солдат. И во время игры часовых почти не было видно; может быть, среди зрителей, в гражданском? Хорошая была игра, без грубостей, и местный русский судья умело держал обе команды в рамках. Футболисты из другого лагеря пошли после игры к нам, вымылись в душе, походили по лагерю, ужинали у нас.

Многое их удивило. И то, что у многих наших — прически, а уж про мои рыжие кудри сколько было сказано… А как они были удивлены нашим театром! И большая столовая, и зрительный зал, и наш «зоопарк», живой уголок — все это казалось им чудом. Даже столярная и механическая мастерские, не говоря уже об ужине, которым их накормили. А был-то всего-навсего обыкновенный перловый суп. Говорили, что у них в лагере постоянно одно и то же — *Kapusta*, во всех видах… «Послушай, Франц, — обратился один из футболистов к своему капитану, — давай останемся здесь! Зачем нам обратно в свой лагерь?»

Прощаясь, договорились сыграть в футбол через две недели у них. Интересно, что из этого выйдет, договорятся ли русские начальники.

Вот уже две недели, как Маша у матери; я не знаю, вернется ли она. А Макс принес сегодня интересную новость: 10 августа у начальника лагеря Владимира Степановича день рождения, юбилей, и лагерь, то есть мы все, подарит ему автомобиль! Кто такое, интересно, устраивает, и что за тележка это будет? Максу известны все подробности, потому что он ковал у себя на работе в

кузнице детали для этой машины.

За забором лагеря, вплотную к нему — нечто вроде свалки металлолома. Пришедшие в негодность, брошенные и разобранные машины военной части и другое железо. В этой куче наши специалисты из лагерных мастерских и отбирали разные части и детали. И из них мастерили легковой автомобиль… Самые большие трудности были с покраской частей кузова — ведь настоящий лимузин должен блестеть! Но и с этим справились, помог устроить кузов в покраску кто-то из русских офицеров. Осталось только отполировать его, а в остальном — машина уже ходит. Эрвин Шипански, мастер на все руки из лагерной мастерской, уже опробовал ее.

Все это пока что держится в тайне, чтобы было потом на самом деле сюрпризом. Если правда, что в октябре мы поедем домой, будет действительно прекрасный прощальный подарок человеку, который сумел превратить лагерь в оазис человечности, сумел руководить им, быть нашим покровителем в нелегкой жизни за колючей проволокой. Если сравнить с другими лагерями — хоть тех же футболистов, что приходили к нам, — сразу понятно, как много сделал для нас Владимир Степанович. Лучшее, чем в других лагерях, питание. Места общего пользования и санитария. Зимняя одежда для всех. Репродукторы с музыкой и объявлениями в каждой комнате. Распределение по цехам по усмотрению назначенных из самих пленных и благодаря этому — благополучное положение с финансами лагеря. Оборудование лазарета, больницы для пленных. Выходные дни на тяжелых работах. Почта от нас в Германию и к нам из дому.

Не перечислить всего, что он сумел сделать вместе со своим помощником — пленным комендантом Максом Зоукопом. А уж как должен быть благодарен ему я! Ведь это он буквально вытащил меня из лап здешней полиции. Если бы не он — была бы мне дорога после встречи с Лидией из Киева прямо в штрафной лагерь. А разве не его заслуга — «кооперация» со швейной фабрикой, где мы добыли рукавицы для всех военнопленных! И так далее и так далее. Владимир Степанович — человек, которому все мы без исключения должны быть благодарны.

Из письма домой 23 июля 1949 г.:

> *«Дорогая мама,*
>
> *во вторник мне выпало счастье искупаться в море. Замечательный был вечер, правда, времени маловато. И все равно — какая это радость вот так, по-настоящему, бултыхаться в воде! После купанья мы с Максом*

побывали в павильоне при тамошнем санатории и выпили на радостях за такую редкостную удачу. Так что в лагерь вернулись немного навеселе только к 24 часам. В сопровождении русского офицера, разумеется…

[Следуют имена, фамилии, даты и места рождения военнопленного Германа Вильднера и его жены Гертруды. Автор письма просит маму (очевидно, по просьбе Вильднера) запросить о них розыск.]

Шлет привет и сердечно целует тебя твой сын Вилли».

Да, это была неделя важных событий! Маша вернулась из Днепропетровска. Нина виделась с Людмилой. Макс ставил забор на «даче», где отдыхают офицеры из нашего лагеря, и ему разрешили взять меня с собой в помощь. Домик этот у самого берега Азовского моря, так что мы, закончив работу, могли искупаться. Офицер снабдил нас купальными трусами и полотенцами и оставил на берегу одних. Первый раз в жизни я купался в море, это было замечательно! И ощущение — пусть еще неполной, но уже свободы, и чувство, что скоро она придет уже окончательно…

Выпили мы на берегу и вина — у Макса были деньги, несколько рублей. Работы с оградой еще на два-три дня, и, когда Макс заготовит в кузнице недостающие части, мы сюда еще приедем.

А Нина жаловалась Людмиле, что целый месяц обо мне ничего не знала, я ведь даже записки Нине не написал. Да, видно, здорово завяз я в этой истории с Марией Петровной. Но теперь, услыхав, что Нина сокрушается обо мне, снова чувствую, что люблю Нину как прежде. Если бы мог, побежал бы к ней просить прощения… Наверное, с Машей — это у меня все же от сексуального любопытства. Ну хорошо, а разве такое влечение — это не любовь? Не думал я раньше, что все это так сложно и что я с самого начала попаду в такую переделку…

Да, Маша вернулась из Днепропетровска и, как обещала, первым делом пришла ко мне на кухню. Посторонних здесь нет, но, видно, рисковать она не хочет. И назначила свидание — через час у нее в больнице. Куда лучше, если бы как по волшебству явилась возможность повидаться с Ниной, но от нее меня ведь отгораживает густая колючая проволока. И вот я опять у Маши в комнате, она бросается ко мне неудержимо, у меня дыхание перехватывает от ее бурных объятий. Время еще раннее, до обеда далеко. И уже приготовлена коробка с книгами, на верхней —

название по-немецки: «*Handlexikon der Medizin*», медицинский словарь-справочник.

И вот мы опять идем домой к Маше. Никого по дороге не встретили, вошли в квартиру, я поставил коробку на кухонный стол… «Просто сумасшедшая женщина! — мелькает у меня мысль. — С ума сходит от любви и желания!» И тут же ловлю себя: я же и сам его испытываю, ведь после нашей последней встречи прошло уже добрых три недели. Объятия и ласки продолжаются.

Машина голова лежит у меня на плече. Маша рассказывает о поездке — и как долго пришлось ждать поезда, и какая там была теснота, и как трудно было добираться из огромного города Днепропетровска в деревню, где живет мама, за пятьдесят километров. А в Мелитополе ждали поезда почти пять часов, и шофер Дмитрий с трудом усадил Машу в битком набитый вагон… Слава Богу, ей досталось место у окна, и соседи в купе были приличные люди.

Из деревни Маша возила маму в больницу (и сама осматривала, конечно). Там не нашли ничего страшного — возраст, маме под семьдесят, ну и нервы, конечно. Она ведь знает, что дочь работает в лагере военнопленных — каждый день с проклятыми фашистами… «И ты, Витька, тоже фашист!» — улыбается Маша и снова и снова меня целует.

Я спросил: «И что ты делала все эти три недели?»

И Маша стала рассказывать, как она ходила по книжным магазинам — искала книги по медицине и разузнавала, как там вообще обстоят дела с врачебной помощью. В той деревне, и в соседних тоже, врачей нет. Ближайшее место, где можно получить медицинскую помощь, — на окраине Днепропетровска, почти за пятьдесят километров.

«Если купить в деревне дом для нас, и там принимать больных…» — продолжает Маша.

Верно ли я понял? Маша, кажется, уже решила, что мы будем жить вместе, семьей? Я оторопел. А Маша побежала на кухню, принесла оттуда книги и разложила на кровати. Это медицинские книги на немецком языке и словари — русско-немецкий и немецко-русский. «Я тебя всему научу, — воркует Маша, — и у нас будет частная практика, прием больных. Сначала, конечно, я сама, а ты будешь учиться, я тебе помогу. А пока — переведу тебя здесь в санитары, чтобы ты подучился. Я все продумала! Мама даст нам денег на обзаведение, будет присматривать за внуками… Я так счастлива!»

Ничего себе! Не знаю, что и думать. Хорошо еще, что Маша и

сама просит, чтобы я не отвечал ей сегодня. Я могу себе представить жизнь вместе с Машей, которая меня безумно любит, но… А Маша, похоже, читает мои мысли. «Витька, доктор в деревне — это невероятная удача для них! И обеспеченная жизнь для нас, о куске хлеба думать не придется. Государство будет мне хорошо платить, а что ты бывший военнопленный, никому знать поначалу не надо. У врача никто там документов не спросит, а если понадобятся, то уж как-нибудь я сумею добыть их…»

Эх, если бы все это — да за две тысячи километров отсюда, западнее!

А пока что пора возвращаться в лагерь, и Маша отводит меня на вахту. Надо мне, наверное, опять посоветоваться с Максом. Наверное, это было бы замечательно — поскорее забыть про плен, жить с Машей одной семьей, иметь детей. Но уверен ли я, что любовь с Машей — не только половое влечение, наслаждение от обладания такой женщиной? И кроме того — я ведь люблю Нину. Как только о ней вспоминаю, так меня тут же охватывают сомнения. Любовь с ней значит для меня гораздо больше, чем просто половая близость.

Разумеется, я хочу освободиться из плена, кто же не хочет! Но что я получу взамен? Буду рядом с Машей, буду свободным человеком, но знаю ли я эту страну, понимаю ли я этих людей? Только и долбили нам в гитлерюгенде, что они «недочеловеки», что страна у них «большевистская». А я до сих пор не знаю, что это такое — большевизм. А что касается «недочеловеков», то я здесь узнал и многих замечательных людей и не очень хороших тоже. Ну и что? Везде есть и хорошие люди, и не очень хорошие…

Тысячи мыслей не дают мне покоя, не знаю даже, удается ли мне сохранить ясную голову. Как я надеялся, что за три недели, пока Маши не будет, все уладится само собой, а теперь вместо этого — новые сложности. И чем тут может помочь мне Макс? Наверное, стойкости мне не хватает, вот что… Надо прямо сказать Маше: «Послушай, все у нас с тобой замечательно, но не надо строить планы. Я хочу домой. Когда нас отпустят, я поеду домой вместе со всеми, вот и всё!»

Макс вернулся сегодня с работы поздно, поговорить с ним сразу я не успел. А после вечернего супа у нас была до поздней ночи репетиция, мы ставим музыкальную пьесу «Эрика». Так что рассказал я Максу о Машиных планах перед самым сном.

«Мальчик, не устраивай глупостей! — сказал Макс строгим голосом. — Заводи себе романы, если хочешь, но домой мы

поедем вместе, очень скоро. И не вздумай остаться, это невозможно, обещай мне!» Кажется, он расстроен так же, как я. Нет, конечно, не останусь я здесь, какие бы златые горы Маша мне ни обещала.

Проходит еще несколько дней, я работаю на кухне и стараюсь не встречаться с Машей. Мы с Максом ездили еще раз на море, устанавливали ограду на даче. Опять купались, на этот раз среди отдыхавших на пляже русских. А перед возвращением в лагерь офицер угостил нас хорошим вином — по большому стакану.

Сказал, что Макс отковал им забор на славу.

Снова на прежнем месте

Пришел заведующий нашим отделом труда Вальтер и позвал меня к коменданту Максу Зоукопу. Сказал, что уже говорил с ним и просил отпустить меня на прежнюю должность. Но надо еще, чтобы разрешил Владимир Степанович.

Комендант улыбается: «Ну, как отбываешь наказание?» Отвечаю, что хорошо. Что хоть не выпускают из лагеря, зато при кухне, а еда для пленного — всегда первое дело. «Ладно, — говорит комендант. — Коротко и ясно: с завтрашнего дня идешь работать к Вальтеру. Зайдешь ко мне в контору, получишь пропуск. И смотри мне, чтоб не пришлось начальнику вызволять тебя из полиции еще раз!»

Вот так я и вернулся на прежнюю работу. Вальтер сказал — дело в том, что мало кто может читать и писать по-русски. Ставили кого-то заниматься теми цехами, что были в моем ведении, но получалось плохо. А я готов на радостях обнять Вальтера. Что ж, завтра посижу еще в отделе, разберусь с бумажками, что накопились за эти два месяца. Сразу видно, что многого не хватает; нет отчетности для бухгалтерии по выходам пленных на работу, а без нее завод лагерю не платит. Поскорей бы все это уладить, и тогда — на завод, повидаться с Ниной!

И через день мы опять едем на завод вместе. Макс, верный друг, тоже рад, что я снова буду, можно сказать, у него под крылышком. И с усмешкой спрашивает, куда я пойду в первую очередь. Я, конечно, направился сначала в мартеновский цех. Секретарша Лидия встретила меня прямо как блудного сына. Спрашивает, почему это я столько времени не появлялся. Рассказал ей про историю с киевской Лидией, она невесело посмеялась. От Ивана Федоровича у нее известия: он остается у жены в Сибири; он нашел там хорошую работу — будет главным инженером металлургического завода. Он спрашивал и обо мне, и Лидия обещает, что сегодня же напишет ему, что со мной все хорошо, и от меня тоже передаст Ивану привет.

Появился Георгий Амвросиевич, заместитель начальника цеха, и повел меня к себе в кабинет. «Где это ты пропадал, Витька? Вы все скоро домой поедете и знать не хотите, что у нас здесь делается? Ну ладно. Когда притащишь бумаги, которые мне подписывать? Завтра или послезавтра?

А может, совсем не надо?» Смеется и достает из ящика письменного стола бутылку водки. Что ж, хоть еще и раннее утро, я не откажусь. «Лидия! — зовет он. — Принеси нам чего-нибудь

закусить!». И наливает два стакана до краев, а в третий — поменьше. Это для Лидии, она уже ставит на стол хлеб и сало.

«Будем здоровы!» — Георгий поднимает стакан и одним махом осушает его до дна. Я так не могу, мне приходится несколько раз отдышаться. Разговор возвращается к бумагам, я объясняю, что сегодня пришел, чтобы осмотреться, и прощаюсь. Только вышел в цех, как Георгий позвал меня обратно и повторил еще раз, что скоро мы уедем домой, но пока надо работать так же, как и прежде. И исчез — с такой же скоростью, как и появился.

Я побывал у печей, узнал, что за это время никаких происшествий не случилось. Обошел и другие бригады, побывал у начальника силикатного цеха Петра Ивановича, у начальника электростанции Михаила Михайловича, нашего Миши. Здесь меня, можно сказать, и за пленного не считают; Миша меня приветствует словно старого друга, только что не обнимает. И я чувствую — он не уверен, можно ли это. Говорит, что справлялся обо мне, и знает, что я работал на кухне: «Видно по тебе!» Так оно и есть, хорошо видно, если сравнить с прежними фотографиями.

Здесь тоже появляется водка, а я еще не пришел в себя от выпитого с Георгием. Слава Богу, зазвонил телефон, и Мише надо куда-то бежать. «Завтра отметим! — бросает он. — Ты же придешь с бумажками? Тогда до завтра!» Вот и хорошо, теперь я могу пойти в механический цех, зайти к Максу. А может быть, и повидаться с Людмилой, узнать, нет ли для меня вестей от Нины.

Макс, как всегда, трудится у горна. Про Нину он ничего не слышал, советует мне зайти к Людмиле самому. И я отправился с бьющимся сердцем в инструментальную кладовую. Людмила сразу же впустила меня, обняла. «*Как choroscho, schto ty prischol!* Нина то и дело приходит сюда спросить о тебе, Макс рассказал, что ты работаешь на кухне, а почему — я не поняла. А Нина должна зайти сюда еще сегодня, вот она обрадуется! Только ты сам туда не ходи, не подводи ее. Лучше приходи сюда за час до конца смены, вот вы и встретитесь…» Все это Людмила разом выпалила. Я побыл у нее еще немного, объяснил, что со мной случилось и почему меня отправили на кухню бухгалтером. Людмила посмеялась и спросила, о многих ли девушках я мечтал все это время. Про Марию Петровну я, конечно, ни словом не обмолвился.

Еще целых четыре часа ждать! Можно, конечно, пойти опять в мартеновский и там пообедать супом, но от волнения я есть не хочу. Вернулся к Максу, снял куртку, взял молот и стал помогать ему. Даже приятно — опять поработать физически. Сначала не очень попадал, но быстро приладился. И время потекло

незаметно.

Первым увидел Нину Макс. Охотнее всего я бы сразу бросился к ней, но нет, Боже упаси, нельзя; так можно и на Людмилу неприятности накликать. Терпеливо жду, пока Нина скроется в инструментальной, и только тогда — следом за ней. Суета, сумбурные объятия, а Людмила караулит у двери. Слава Богу, смена вот-вот кончается и за инструментом никто не идет. Сменщица Людмилы сегодня тоже запаздывает, но на это полагаться нельзя. Мы уговариваемся встретиться через несколько минут в медпункте, у Александры — в надежде, что она сегодня дежурит.

Когда пришла кладовщица следующей смены, я еще был в кладовой. Сделал вид, будто получаю инструмент для Макса, а иначе с чего бы я здесь оказался? Макс ждал меня. Мы договорились, что в лагерь я вернусь, наверное, с вечерним поездом. Макс, как всегда, напоминает, чтобы я не наделал глупостей, обнимает меня и уходит. Интересно, встречаются ли они с Людмилой при свете дня? Хотел спросить и забыл…

Нина ждала меня у медпункта, она огорчена: Александра придет сегодня только к шести вечера. Ничего страшного — я могу пробыть на заводе всю вторую смену. Надо будет только показаться в цехах, где работают наши пленные, и никто не заподозрит, что я на заводе по другой причине. Прощаемся и расходимся, чтобы нас не заметили. Ждать осталось всего два часа, по сравнению с тремя месяцами, что я был в лагере как под арестом, это пустяки!

По дороге на электростанцию повстречался с Игорем Григорьевичем, начальником прокатного цеха. Те же вопросы — куда ты пропал, придешь ли завтра с документами. Как приятно, что меня помнят! На электростанции застал Сашу, помощника Михаила Михайловича. Он разводит руками: «Ты откуда взялся? Я-то думал, ты уже в Германии. Ведь все пленные уезжают!» И рассказывает, что на прошлой неделе у директора завода было совещание со всеми начальниками цехов, и там обсуждали один-единственный вопрос — как быть, если завод останется без пленных. Сейчас здесь работают восемь тысяч немецких военнопленных; если они уедут, остановится плавка стали и многое другое. Нам должны прислать других рабочих, но каких и откуда — никто не знает. На ближайшие один-два месяца надо все работы не самой первой важности остановить… «И ты, Витька, тоже поедешь домой!» — закончил эту речь Саша.

«Так ведь я, Саша, — объясняю ему, — уже пять лет как в

плену. Половину молодости провел за колючей проволокой. Разумеется, я домой хочу!»

«…И с венграми было хорошо, у них тоже были специалисты, — продолжает Саша, не обращая внимания на мои слова. — Но с вами лучше. Вы могли бы и остаться здесь насовсем! Из плена вас освободят, а работы всем хватит, красивых женщин — тоже. Погоды здесь хорошие, зимы почти не бывает; разве плохо?» Ну, что мне ему отвечать? Про дом и семью? А как сказать по-русски «тоска по Родине», я, к сожалению, не знаю. Пытался объяснить, но не уверен, что он меня понял.

Когда я добрался до амбулатории, было уже почти семь. Там одна Александра, Нины нет. И не успел я спросить о ней Алю, как Нина выпорхнула из-за занавески и бросилась мне на шею.

Аля понимающе смеется, и мы с Ниной удаляемся в «нашу» комнату…

Говорит со мной сегодня Нина только об одном: она хочет ребенка. И не желает понять, что я не хочу оставить ее с ребенком одну, оставить ребенка без отца. Объяснить ей это не удается, никакие доводы не действуют. «Хочу от тебя ребенка, Витюша, вот и всё! Я и так давно знаю, что мы недолго будем вместе, что ты уедешь в Германию. И как бы ты ни захотел ко мне вернуться или забрать меня к себе, этого не будет, и то и другое невозможно. Ни тебя не пустят, ни меня не отпустят, уж я хорошо знаю коммунистов и НКВД. Это гораздо хуже, чем ты себе можешь представить. И здесь, если узнают про нашу любовь и встречи, зашлют нас в лагеря в Сибирь, и никогда мы больше не увидимся. Я сначала тоже строила себе иллюзии, а теперь вижу, как оно есть на самом деле. А тебя я очень люблю и хочу держать на руках дитя от тебя!»

И так час за часом, почти до полуночи. Наверное, сегодня я сдался.

Оставаться здесь дольше нам нельзя. Если не повезет, Нину могут задержать на проходной, и ей придется объяснять, почему она уходит с завода так поздно. А какие же у нее могут быть объяснения. Мы договариваемся о следующих встречах — где, когда? У Нины есть знакомая в заводской охране, которая часто дежурит у ворот железнодорожного въезда. А оттуда всего пять или десять минут ходьбы до Нининого дома. Вот если бы там укрыться на час-другой…

Мы обещаем друг другу вести себя осторожно; ведь Нина всегда может зайти к Людмиле, а я — к Максу. «А что, если тебя опять оставят в лагере?» Нет, об этом я и думать не хочу.

Последний нежный поцелуй, и я покидаю медпункт первым, спешу на станцию — поезд вот-вот отправится.

По дороге в лагерь я сегодня не сплю, сегодня я убедился, что люблю Нину всем сердцем, а история с Машей — это совсем не то. Ну, поддался обаянию очаровательной зрелой женщины, она любого мужчину покорит. Половое влечение и так далее… В общем, ищу себе оправданий, я ведь обманул Нину. Постараюсь больше завлекающим взорам Маши не поддаваться…

Уже глубокая ночь, скоро утро. Ну ничего, утром я могу поспать подольше; мне ведь прежде, чем ехать на завод, надо еще собрать бумаги в нашем отделе. На поезд в десять утра я точно поспею, а может быть, даже на восемь.

В девять часов я уже на заводе, и первым делом, как договорились вчера, иду в прокатный к Игорю Григорьевичу. Отчетность за те два месяца, что меня не отпускали из лагеря, запущена; что-то не вписано, что-то записано неверно. Игорь Григорьевич об этих бумагах, мягко говоря, не очень заботился. «Вот что, Витька, — решает он, — садись-ка ты с Таней и приводите все в порядок, а мне не до того». Появляется секретарь Таня с чаем. «Ну ладно, — ворчит Игорь, — чаю выпьем, и беритесь за дело».

К обеду все готово. Проверять нас все равно никто не будет, но начальник должен эти бумаги подписать. Это для него не проблема. Подмахнув, не глядя, страниц 25, он командует: «Таня, это дело надо обмыть!» И тут же появляется бутылка. И хлеб, и сало, которое тает во рту, как смалец. «*Na zdorowje*, Витька, *na zdorowje,* Таня, всё будет хорошо!» Начальник цеха хочет тут же налить мне второй стакан, но я держусь — отказываюсь, мне надо сегодня уладить дела с документами еще в силикатном цехе, с Петром Ивановичем.

Там начальник смены Володя. Он-то знает, что расчеты с лагерем за эти месяцы не оформлены, но у них в цеху все аккуратно записано, надо только перенести данные из цеховых документов в наши. Я Володе полностью доверяю, да у меня и нет другого выхода. Дело идет быстро, за час-другой с делами по этому цеху покончено. Можно еще зайти к Максу в кузницу и возвращаться в лагерь; вестей от Нины ждать еще рано.

Сегодня вечером у нас репетиция, можно сказать, генеральная; в зале собрались и русские офицеры с женами. Все у нас ладится и с музыкой, и с песенками, а диалоги и шутки мы иногда импровизируем «на ходу».

Вот тебе на! Среди офицеров в зале я вижу Марию Петровну, Машу. Надо держаться, я же вчера решил — не поддаваться больше ее чарам, я ведь люблю Нину, а не Машу. Черт возьми, что это со мной? Пропустил реплику, чувствую себя как-то неуверенно. Ну ладно, это же еще репетиция, не спектакль. Когда она кончается, я стараюсь держаться поближе к Максу; надеюсь, что Мария Петровна не решится к нам подойти. Как бы не так! Когда мы спускаемся со сцены, Маша стоит тут же вместе с другими женщинами. И подзывает меня к себе.

«Я хочу еще раз осмотреть твои ноги. Приходи завтра после работы в лазарет!» — говорит она строгим тоном, как всегда, когда мы не одни. А шрамы на ноге меня последние дни действительно беспокоят, там, кажется, опять воспаление. Вот с этим я и пойду к ней. И там скажу, что лучше нам больше не встречаться. И Макс меня поддержит в этом намерении…

Политрук приглашает артистов на кухню, нас угощают пшенной кашей с сарделькаами из офицерской кухни и свежим хлебом. Не ложиться же спать с полным брюхом! И мы всей компанией идет прогуляться по лагерю. В слесарной мастерской горит свет, там еще работают. «Заглянем?» — предлагает Вольфганг. «Ясное дело, у Эрвина мастерят что-то, не предназначенное для посторонних глаз», — полагает Вальтер. Макс пытается отговорить нас, но кто-то уже открывает дверь. И мы видим Эрвина и двух его помощников у почти готового легкового автомобиля… Я уже как-то слышал об этом от Макса — автомобиль хотят подарить начальнику лагеря Владимиру Степановичу на его шестидесятилетие. За все его заботы о нас, пленных. Это будет 10 августа, всего через несколько дней.

Эрвину явно не нравится, что мы вшестером вот так влезли к нему в мастерскую и видим машину, которая должна быть сюрпризом. Но Макс тут же объясняет нам, почему надо помалкивать, и Эрвин нехотя рассказывает, откуда взялась эта удивительная колымага и как было трудно держать это все в секрете, ведь работать приходилось по ночам. И снова просит нас никому о машине не говорить.

Все обещали держать язык за зубами и слово сдержали.

Ночь коротка, но перед поездом я еще успеваю заскочить в отдел, собрать последние бумаги. Обычный рабочий день на заводе, перед концом смены, как обычно, заглянул к Максу, а правильнее сказать — к Людмиле и Максу. Там известие от Нины, что устроить нам свидание у себя дома она пока не смогла. Может быть, это и к лучшему — очень уж опасно.

Вернулись в лагерь, иду в больницу, к Маше… Чувствую себя неуютно, боюсь, что не хватит мне решимости порвать с ней. А Маша встала мне навстречу, обняла меня и заплакала. Плачет и плачет… Не могу ее успокоить, наверное, что-то серьезное случилось. «Сядь ты наконец, — всхлипывает Маша. — Показывай ногу!»

Дверь на этот раз не заперта. И Маша, продолжая всхлипывать, стала рассказывать, что произошло. Несколько дней назад встретилась ей на лестнице соседка и спрашивает: а что это делал военнопленный так долго у вас дома? Если вам надо что починить, обратились бы в домоуправление. Как же это можно — быть в квартире одной с врагом! «А я, глупая баба, ответила ей, что никого не боюсь, а если нужно что-то исправить, зову, кого захочу! И не стала с ней больше здороваться…» После этого к Маше домой явился управдом и стал расспрашивать, что же ей надо ремонтировать. И ему пришлось объяснять про книжные полки и поить его водкой. А что устраивать полки и книги надо было так долго, поверить, конечно, трудно, разве что после третьего стакана…

А сегодня утром на проходной в лагерь Машу остановил охранник и сказал, что если ей опять понадобится пленный, то, пожалуйста, выпишите на него пропуск в управлении лагеря. Так что Маша чуть не в панике. Ругает себя: «Должна была знать, что за домом присматривают, а уж если пленного туда привела… Живо показывай ногу, ведь сюда войти могут!» Она осматривает и щупает мою левую голень, на ногу капают слезы.

Понемногу она успокаивается. Про шрамы мои говорит, что вообще-то мне бы надо дня два не вставать: воспаления еще нет, но обе ноги опухли, значит, там не все в порядке. «Я бы тебя сейчас оставила здесь, да боюсь — обратят внимание. Приходи-ка ты завтра утром на прием, чтобы все официально». Я обрадовался, что она взялась за ум, не бросается ко мне, очертя голову. Наложила мне на ногу повязку, напомнила, чтобы снял ее перед тем как идти сюда завтра. А потом все же нагнулась и поцеловала меня. «До завтра, Вилли!» Это первый раз, что она меня так назвала. А мне ее жаль, и я в который уж раз чувствую всю свою беспомощность — ведь я никто, я пленный! Сколько же это еще продлится?..

Рассказал Максу, что мне придется лечь на несколько дней в больницу. Вместе пошли в отдел к Вальтеру. Он доволен, что все бумажные дела с «моими» цехами уже улажены, но вот что меня опять кладут в больницу, от этого он, естественно, не в восторге.

Ну ничего, заполнять отчеты я же смогу и лежа, да и вообще за два-три дня ничего не случится. «Вот и хорошо, — соглашается Вальтер. — Лишь бы сдать все к концу месяца». Значит, решено: завтра иду ложиться в лазарет.

Обычно Маша начинает прием между семью и восемью утра. Я пришел в начале восьмого, никого пока нет. Постучал в дверь, она заперта, и никто не отвечает. Подошел Гюнтер, санитар. Он страшно удивлен, говорит, что такого почти никогда не бывало, чтобы Мария Петровна опаздывала. Почти час прошел, прежде чем она пришла. Позвала меня в кабинет, и я увидел, что у нее заплаканные глаза, наверное, всю ночь проплакала. «Вилли, — сказала она так тихо, словно знала, что нас могут услышать, — я боюсь. Ужасно боюсь! Сделаю тебе перевязку, и ты уходи. Приходи завтра».

А что говорил Макс? Доносчики всюду! Что же с Машей сегодня случилось? Ее допрашивали в НКВД, как у них полагается, ночью? И расскажет ли она мне об этом? Эх, натворили мы дел, но все равно, я ее никогда не забуду. Ведь как я был счастлив такой близостью с ней! Только бы не случилось с ней ничего плохого… В Германии тоже были военнопленные, и я слышал, что женщины бывали с ними близки, их за это стригли наголо и предавали позору. Я тогда все это не очень понимал, мне было 13 или 14 лет. Спросить опять Макса об этом?

Вот с такими мыслями я и вернулся в отдел труда к Вальтеру. «Значит, не ложишься?» — спрашивает Вальтер с явным облегчением. «Нет. Докторша сказала — может быть, и так обойдется». — «Вот и хорошо, сейчас мы с тобой вместе засядем за списки!» Оказывается, Вальтеру дали срочное задание: составить поименные списки пленных по бригадам, на двух языках — немецком и русском. Неужели это первая ласточка? Для предстоящего освобождения?

И дело у нас пошло! Вальтер пишет фамилии по-немецки, я вслед за ним — русскими буквами. И годы рождения каждого. Это чтобы не перепутать? В обед прервались совсем не надолго и погнали списки дальше. До вечера записали не меньше половины лагеря.

«Всё, хватит! — решил Вальтер. — Ночью сидеть не будем, управимся завтра». Значит, завтра я опять на завод не попаду. Если будут вести от Нины, то только через Макса. И мы отправляемся на ужин, оживленно обсуждая новость. А там уже идут вовсю те же разговоры. Слух или все это на самом деле? Вот кто-то уже видел на запасных путях вагоны и насчитал чуть не сорок штук. Их для нас готовят? Чтобы все поместились,

получится по 50 человек в вагон… Кто-то другой уже знает, что их будут оборудовать нарами…

Мы с Вальтером могли бы кое-что к этому добавить, но помалкиваем. Дай-то Бог, чтобы эти слухи оправдались!

Когда мы с Вальтером утром засели за списки, пришел политрук. И сказал, что списки должны быть полностью готовы сегодня к вечеру. Уговорить его подождать с чистовым документом до завтра Вальтеру не удалось. Ну ясно, значит, это списки на освобождение. Мы, конечно, поторопимся изо всех сил. К перерыву на обед довели список до «постоянного состава» — это пленные, постоянно работающие в лагере. Вальтер сходил еще в управление лагеря за списком «вспомогательной охраны», лагерной полиции. Вместе с нами это еще больше ста человек.

После первой смены вернулись с завода наши сотрудники, их тут же посадили проверять список — а вдруг кого-нибудь пропустили. Все готово окончательно только к десяти часам вечера. Но еще до этого к нам зашел политрук Григорий Анатольевич и сказал «да» — это списки для освобождения из плена. А на мой вопрос — когда мы поедем домой? — ответ прозвучал такой же, как был уже тысячу раз: скоро!

У всех одно на уме: домой!

Сегодня суббота 23 июля. Завтра наш спектакль — оперетта «Эрика», наше собственное творчество; текст Эриха Леопольта, музыка Вольфганга Денерта. Будут три представления — два в воскресенье и одно в понедельник вечером. Сегодня вечером последняя короткая репетиция.

Товарищи меня бранят — я опять опоздал. И тут я им сказал, чем мы с Вальтером сегодня занимались, какие списки составляли. В ответ — общий восторг и энтузиазм. Дальше уже не столько репетировали, сколько обсуждали новость; разошлись за полночь. В день представления нам на работу не идти, можно поспать подольше. На наши спектакли теперь раздают билеты, иначе получается толкотня — желающих больше, чем мест в зале.

Спектакль прошел на славу. Не зря мы старались — учили роли, столько раз репетировали. А уж аплодисментов было, особенно в адрес авторов пьесы и музыки! Нас опять угощали ужином на кухне; пришел политрук и с ним еще несколько офицеров, не побрезговали и нашим супом. Хвалили нас за то, что помогаем поддерживать хорошее настроение в лагере. Один из офицеров и говорит: «Раз вы скоро уедете в Германию, можно теперь с вами и водки выпить!» Гейнц, заведующий кухней, принес бокалы, у офицеров нашлись бутылки. Закусывали на русский манер — хлебом с нарезанными яблоками.

Заснул я после всего этого как убитый. Макс разбудил меня в половине пятого, поехали на завод. Я пошел провожать Макса в цех в надежде встретить Людмилу — нет ли у нее вестей от Нины. Оказалось — есть: Нина договорилась с подругой, которая служит в охране, и та согласна выпустить нас с завода через свои ворота, в ночной смене, конечно, если там не будет никого постороннего. Хорошо, но как мне попасть в ночную смену? Никаких видимых причин для этого нет, надо что-то придумывать…

А пока я отправился по цехам — готовить обычные документы за этот месяц, июль. В силикатном застал начальника цеха, Петра Ивановича. Он позвал меня к себе в кабинет и стал расспрашивать, когда мы уезжаем; он знает, что «скоро», но когда именно? «Я ведь должен к этому подготовиться, — жалуется начальник цеха. — Пока пришлют новых рабочих, да пока они научатся, не одна неделя пройдет. Значит, надо запас наработать, а для этого нужны еще люди! Может, ты, Витька, знаешь, в каких бригадах ваших пленных в избытке? Я им хорошо заплачу, ты бы

поискал!» И конечно, тут же громко кличет секретаршу: велит принести водку и закуску.

На этот раз, кроме обычных огурцов, помидоров и *Sala,* на столе зелень — похожа на петрушку, но вкус другой. Петр жует ее вместе с салом и мне советует: травка эта, мол, очень полезна. А стаканы опять наполнены почти до краев… Расспрашивает меня, уедем мы все вместе или нас будут отправлять группами. А откуда мне знать? Я, конечно, постараюсь помочь ему с людьми, но уж никак не сегодня. Мне бы до поезда благополучно добраться да прислониться бедной головой к стенке. Что за чертово зелье эта водка! И хоть бы вкус был хороший, а то ведь… А ведь вечером мне надо быть в порядке, у нас спектакль.

В лагере я пошел к Гейнцу на кухню, попросился в тамошний душ, вымылся, облился холодной водой и пошел поспать хоть часок. Макс сердится, что я опять пил с Петром, не думая о вечере, опять обещаю ему, что больше не буду. Потом, когда уже одевались и гримировались, я был более или менее в порядке. И все сошло хорошо, хотя у артистов был перед этим обычный рабочий день на заводе. Опять были аплодисменты и похвалы, даже больше, чем накануне. А завтра нам на работу не идти, потому что после обеда мы даем представление для вернувшихся утром с ночной смены.

Я посоветуюсь с Вальтером — он, может быть, лучше придумает, как помочь Петру Ивановичу. И верно: тут же выяснилось, что нашим путевым рабочим последнее время почти нечего делать. Новые рельсы давно не привозят, и вся бригада, почти сто человек, в основном только чистит подъездные пути, в три смены. Значит, надо обсудить с начальством — как их распределить, чтобы добавить рабочих силикатному цеху.

Когда на следующий день я докладываю об этом Петру Ивановичу, он в восторге: «Вы немцы всегда найдете решение! Ладно, Витька, пусть все выходят завтра в первую смену. И начнем с ними оборудовать площадку под склад». И на столе, естественно, опять появляется водка. Я его уговариваю, что мне нельзя, что у нас театр и мне надо быть в форме. Спектакля сегодня на самом деле уже не будет, но я ведь обещал Максу не пить… А Петр не сдается: ну, хоть символически, одну каплю за успех — смотри, мол, меньше сантиметра в стакане! Я сдаюсь, и он честно выполняет обещание: налил точно на сантиметр.

И я пошел в литейный цех поговорить с нашим бригадиром — не найдутся ли и у них люди для работы в силикатном. Бригадир пожал плечами: «Каждый рад бы отсюда выбраться,

один запах здесь чего стоит. Да только я не думаю, что Владимир Васильевич, начальник цеха, согласится. И портить отношения я с ним не хочу. Так что, Вилли, на нас лучше не рассчитывай». Что ж, он прав. Петру Ивановичу и так достанутся почти сто человек.

По дороге в механический цех — медпункт. Зайти, просто поздороваться, если там Александра? Так меня и тянет туда… Опять повезло, видно, я в воскресенье родился! Аля там, она одна, читает книжку и ждет пациентов. Обрадовалась, увидев меня, вспомнила про ногу и велела показать голень: «Если кто войдет — ты пришел на перевязку». Оказалось, повязку действительно пора сменить. Аля знает про наш план пробраться к Нине домой и побыть там. «Как же тебе удастся туда попасть?» — спрашивает она. «Еще не знаю», — вру я. Научился, наконец, что не про все можно говорить. Конечно, я доверяю Але, она ведь много брала на себя, пуская нас с Ниной сюда, она ведь тоже рисковала. И все-таки лучше промолчать… Мы давно не виделись, и я рассказываю Александре про лагерные новости: скоро нас освободят.

«Бедная Нина, — вздыхает Аля, — а как же она без тебя? Натворили вы дел, теперь ничего не изменишь. Может, хоть чаю выпьешь?» Я отказываюсь, чтобы не беспокоить Алю лишний раз. Оказывается — очень кстати: только я натянул брюки после перевязки, как дверь открылась, привели рабочего с травмой. Я поблагодарил, попрощался и пошел. После перевязки — приятное ощущение прохлады там, где шрамы на голени.

Но все это начинает уже беспокоить меня. Они когда-нибудь заживут окончательно, эти мои раны?

Теперь надо к начальнику прокатного цеха Игорю Григорьевичу. Его не застал, на месте только секретарь Таня. Все бумаги за июль у нее уже готовы, надо только, чтобы начальник подписал. «Заходи, пожалуйста, завтра», — сказала Таня, угостила меня чаем с пирожком, и я, наконец, отправился в механический цех к Максу. Мне сдается, что с тех пор, как он отковал такую ограду для офицерского дачного дома у моря, он только «личными» заказами и занимается. Вот и сегодня — у него в работе здоровенные двустворчатые ворота, помогают ему двое подручных. Это прямо захватывает — наблюдать, как ловко кует Макс и как из раскаленного куска железа получается лепесток цветка или другая красивая штука.

Макс на минутку перестал стучать молотком и сказал, чтоб я пошел в кладовую и принес ему такие-то и такие кузнечные клещи. Я сначала не понял зачем — ведь рядом на стене висят

самые разные клещи, — но тут же меня осенило. Скорее в кладовую! А там, в самом уголке, сидят за маленьким столиком Людмила с Ниной и пьют чай. Нина чуть не опрокинула этот столик, бросившись мне на шею…

«Я уже все рассказала Людмиле. На следующей неделе моя подруга из заводской охраны дежурит в ночной смене.

И я буду каждый вечер ждать тебя у нее на посту. Вот если бы ты смог прийти прямо в понедельник!» Я сказал, что постараюсь. А тут уже кто-то стучит в окошко кладовой. Я взял какой-то тяжеленный молот и вернулся к Максу. Обнимая Нину на прощанье, чуть не уронил этот молот.

Макс смеется: «Клещи двадцатый номер нужны мне, а никакой не молот!» Оба его подручных, подумали, наверное, что я дурак. Ничего не поделаешь, они же не знают, что Макс посылал меня в кладовую совсем не за клещами и не за молотом.

Мне надо сегодня показаться еще в мартеновском цеху. Дел у меня там сегодня нет, но это официальная обязанность. Если всерьез по делу, то хватило бы и двух раз в месяц. Ладно, найду там, чем заняться, чтобы убить время. Прямо у входа в цех встретил бригадира Карла Гейнца, с ним — несколько русских, они что-то обсуждают.

«Давай сюда, ты как раз вовремя! Не могу понять по-русски, что от меня хотят». Я стал переводить. Вопрос у них в том, чтобы так перераспределить рабочих по сменам, чтобы люди не болтались без дела и не приходилось посылать их с метлой подметать в цеху. И наоборот, чтобы было кому поручить работу, когда ее много. Сейчас уже конец смены, но мы отправились все вместе в контору цеха переделывать списки. Вообще-то, этим надо было заняться уже давно, ведь Карл Гейнц не имеет права переставлять пленных из смены в смену по своему усмотрению. И с обедом для всех надо уладить, это тоже разные бумажки, которые я должен подготовить.

К вечеру мы закончили перепланирование на следующие две недели. Русские довольны, это им поможет лучше выполнять план производства. Все дело надо теперь, разумеется, обмыть. «Ваня, сбегай за хлебом и колбасой!» Ну а водка здесь всегда под рукой, в шкафу. Вот холодильника, к сожалению, нет. Мы с Карлом Гейнцем делаем еще записи для себя, чтобы все устроить с нашими рабочими так, как договорились. И когда мы прощаемся с русскими бригадирами, уже довольно поздно. Много мы не выпили, однако, направляясь на станцию к поезду, ощущаем приподнятое настроение.

Неподалеку от станции нас остановил русский солдат. Показывать, уезжая с завода, пропуск мне еще ни разу не приходилось; это первый раз. Объяснил солдату, кто мы и почему едем в лагерь только теперь. А он нас сгреб и повел на площадку — грузить напиленные дрова в кузов машины. Когда погрузили, солдат спросил, из какого мы лагеря, и велел залезать в кузов, на дрова. На ухабах по дороге нас хорошо потрясло, зад весь в синяках, наверное.

Подъехали к казарме, разгрузили дрова, и солдат отвез нас на той же грузовой машине в лагерь. Если бы ехали поездом, давно были бы дома… Зато, сдавая нас лагерной охране, солдат подарил нам по стограммовой пачке *Machorka*, это ценная вещь, табак всегда можно на что-нибудь обменять. Нас-то на проходной пропустили сразу, а вот солдата этого охранники задержали; он ведь, наверное, не имел права нас ни за что ни про что прихватывать для своих дел…

А «дома» меня уже ждут. Сказали — комендант Зоукоп тебя вызывает. Вроде бы я ничего такого не натворил, но мало ли что может быть! И Макс пошел на всякий случай вместе со мной. «Послушай, — начинает комендант без всяких предисловий, — ты знаешь, сколько человек у нас постоянно на швейной фабрике, где рукавицы шьют? Мне сдается — четыре или пять». — «Нет, их там двое, — отвечаю сразу и хлопаю себя по лбу. — Послушайте, о них ведь совсем забыли, их не внесли в списки!»

Оказывается, это начальник лагеря спросил о них Зоукопа, а тот не знал, что и сказать. И теперь велит мне ехать завтра с шофером Дмитрием на ту фабрику и привезти обоих пленных сюда. Хорошо еще, что вспомнили… И дальше разговор идет все о том же, о главном: мы поедем домой, на днях уже подадут вагоны! Ну, насколько я понимаю, нам самим еще придется их оборудовать.

Так оно и есть. «Я хотел бы, — обращается Зоукоп к моему другу Максу, — чтобы ты собрал бригаду для обустройства вагонов. Начинать сразу, как они придут; старик сказал — это уже на днях. Побеспокойся, чтобы изготовить в кузнице все, что для этого нужно. А ты, Вилли, вези завтра наших блудных сынов, с начальником все договорено!» И с этими словами комендант нас отпустил. Часы у него показывают уже восемь вечера.

«Мы поедем домой! Домой едем! — ликую я по дороге. — Макс, дорогой, ведь осталось совсем немного, неделя-другая! И тогда — домой, домой!» Уже не могу сдерживать радость.

Крымское «Шампанское»

Наутро пришел на вахту, Дмитрий приветствовал меня как старого друга. А едва сели в машину, стал расспрашивать, как меня арестовывали. И я рассказал ему, как было дело и как я потом отбывал наказание — работал на кухне и не имел права выходить из лагеря. Ехать нам три часа, так что наговоримся. Дмитрий подробно рассказывает про Наташу, что они с ней скоро поженятся, и может так случиться, что еще до этого родится ребенок.

Остановились у деревенского продуктового магазина. Дмитрий зашел туда и вернулся с флягой молока, хлебом и колбасой. «*Budem zawtrkat!*» — и достает газету. Нарезал хлеб, колбасу, налил два полных стакана молока. Ничего себе! Мы вдвоем в деревне, у нас крестьянский завтрак, о котором военнопленный может только мечтать. Многим ли доступно такое в плену?

«Витька, почему ты не остаешься у нас? — тут же спрашивает Дмитрий. — Ты говоришь по-русски, ты специалист, наши люди к тебе привыкли. Владимир Степанович устроил бы тебя на хорошее место, я знаю, как ты ему нравишься». «Специалист» чего? — задумываюсь я. Ну что это на Дмитрия нашло? Поручили ему, что ли, узнать, что я отвечу? Да нет, вряд ли. И что мне ему отвечать, чтобы не обидеть? Ведь вот не только в квартире у его невесты Наташи нет даже водопровода, нет ванной комнаты, будка-уборная во дворе. И у других здесь то же самое. Сколько я видел по дороге и в селах колодцев — прямо на улице, и люди таскают воду домой ведрами…

Я ничего не имею против русских. Скорее наоборот, ведь я узнал здесь замечательных людей. Встречались, конечно, и мерзавцы, так ведь такие есть везде, и среди немцев; вспомнить хотя бы эту сволочь, коменданта лагеря в Киеве, или немецких охранников в Дембице… Дмитрию я об этом говорить, конечно, не буду. Скажу просто, что меня ждут не дождутся родители и брат.

Молоко мы выпили, остатки хлеба и колбасы Дмитрий завернул в газету и положил в багажник, а я отнес флягу и стаканы обратно в магазин. Пожилая продавщица вручила мне еще сверток с яблоками и помидорами. Уж не знаю, это Дмитрий ей рассказал о «своем» пленном или она прочла буквы «*Военнопленный*» у меня на спине. Я вежливо поблагодарил и вернулся в машину. Женщины в магазине глядят нам вслед.

Еще час езды — и мы на фабрике. Директор Анатолий Сергеевич ждет нас у себя в кабинете. И мы с Дмитрием пошли вместе с директором в мастерскую, где ремонтировали швейные машины наши пленные, Ганс и Вилли. Выглядят они оба прекрасно, на них спецовки без всяких букв на спине, на столах в мастерской образцовый порядок.

«Ты, собственно, чего приехал?» — спросил меня Ганс. «Чего? — смеюсь я. — Домой едем, а вас обоих чуть не забыли. Комендант прислал за вами, вот чего!»

Дар речи возвращается к Гансу не сразу. «Да ну, сколько раз нам уже обещали, «*skoro domoj*»! А если обманут и нам опять трубить у печи или в шахте? Уж лучше мы останемся здесь!» Анатолий Сергеевич все это слышит, я ему перевел. И он отвечает, что говорил сегодня утром по телефону с Владимиром Степановичем, и наш начальник лагеря разрешил ему оставить Ганса и Вилли здесь до самого отъезда. «Пусть работают, нам от них большая польза!» — разъясняет Анатолий Сергеевич изменение диспозиции. «Вот видишь!» — радуются Ганс и Вилли.

Обошли фабрику, она работает полным ходом. Ничего похожего на то, что здесь было, когда мы приехали за рукавицами в первый раз. «Все швейные машины исправны, — поясняет директор. — Без этих ваших специалистов ничего подобно и быть не могло. А теперь — план выполняем на триста процентов. А что это значит для наших рабочих? Хороший заработок, ордера на покупку вещей и многое другое. Ну и в газетах о нас нередко пишут — передовое предприятие! Надо все это сегодня отметить, вот что… А начальник лагеря знает, что вы у меня сегодня останетесь», — заканчивает Анатолий Сергеевич.

Опять водка?! Постепенно я начинаю ненавидеть это чертово зелье. Ганс и Вилли тем временем рассказывают, как они тут начинали, как Анатолий им во всем помогал и как радовались работницы, когда им вовремя ремонтировали швейные машины. Прежде чем возвращаться в контору, Ганс и Вилли хотят показать мне и свое жилье.

Поблизости от фабрики — небольшой деревянный дом. По пути туда Ганс рассказывает, что в домике они застали полный порядок. Большая кухня с печью и лежанкой, спальня с иконой в углу и вазой с цветами; даже ковер с восточным орнаментом на стене. Кто там жил до них, они и до сего дня не знают. Уже через неделю им прислали уборщицу, она моет окна, прибирает в комнатах. Питались они в столовой при фабрике вместе со всеми — работницами и рабочими, мужчин, правда, здесь почти нет. «Так хорошо, как здесь, не было и на фронтовых харчах! —

уверяет Ганс. — Мы здесь на фабрике — такие же рабочие, как и все. А уж сколько раз нас приглашали в гости! И Анатолий всегда предупреждал хозяев, что они за нас в ответе, что должны довести нас до дома целыми и невредимыми». Что ж, значит, и здесь — оазис человечности.

«Хочешь бутылочку пива, Вилли?» — спрашивает Ганс. Конечно, не откажусь; хорошо, что не водка! Распили мы бутылку пива и вернулись в контору. А там нас ждет богато накрытый стол. Анатолий пригласил заведующего производством Игоря Ивановича и четырех начальниц цехов. Видно, сегодня будут настоящий праздник: директор откупоривает две бутылки крымского «Шампанского», и слава Богу, на столе не видно водки. Вино я в плену уже пил — с Максом на берегу моря, а теперь шампанское! Что ж, надо все в жизни испытать… Все уселись, и Анатолий Сергеевич поднимает бокал: «За наших немецких друзей!» С ума сойти! Девять или десять русских пьют за наше здоровье, называют нас, пленных немцев, вчерашних врагов — друзьями!

Может, мне это снится? Да нет, все на самом деле. Как я этим людям благодарен! Ведь если расскажу в лагере, могут и не поверить, но все равно это замечательно. После третьего бокала шампанского Анатолий Сергеевич просит меня сказать тост. К горлу подступает комок, говорю с трудом: «Мы сражались друг с другом и причинили много горя. Да поможет нам Бог, чтобы этот ужас никогда не повторился, чтобы вражда сменилась дружбой!» Голос дрожит, и я не скрываю слез.

«Ешьте и пейте!» — ободряет нас Анатолий Сергеевич, и мы отдаем должное угощению. На столе жареная рыба, жареное мясо, даже *Bliny* — блинчики с разной начинкой. Огурцы, помидоры, перцы и замечательный свежий хлеб. Женщины немного стесняются, но шампанское делает их смелее, и они просят рассказать о жизни в нашем лагере. Я рассказываю и про нашу театральную бригаду, про письма из дому, показываю фотографии. На меня глядят с недоверием: военнопленные получают почту из Германии? Я вспомнил и рассказал, как получил однажды сразу семь открыток и два письма — их переслали их другого лагеря, откуда нас перевели сюда, в Мариуполь. Как здорово, что я уже так говорю по-русски, что мы объясняемся без труда! Мои собеседницы снова сомневаются: «Не мог ты так научиться только в плену!» Что ж, наверное, если бы не Лидия в Киеве, не Нина и Маша здесь, был бы мой лексикон куда проще…

А веселье продолжается. Дмитрий принес гармонь и стал наигрывать русские песни, а все подпевали. А я вспомнил: первый

раз я услышал гармонь, когда мы с моим другом Ганди и унтер-офицером Мареком ходили в разведку, перебрались по льду на другой берег Одера и видели пьяных советских солдат, пляшущих на крестьянском подворье… И отчетливо помню, почти ощущаю, испытанный тогда страх. Русские поют под гармонику Дмитрия, а Ганс и Вилли подбивают меня спеть что-нибудь немецкое. Меня не надо упрашивать, охотно спою что-нибудь из нашей оперетты, шампанское только прибавило мне смелости.

Но вот Анатолий Сергеевич показывает, что пора заканчивать. Ночевать меня отправляют к Вилли и Гансу, Дмитрия он берет с собой. В домике нас ждет сюрприз: добрый дух оставил там для меня соломенный матрац, подушку и одеяла. Перед сном мы еще посидели на кухне, поговорили. У Ганса и Вилли, оказывается, есть здесь и подруги, так получилось, что они сестры, зовут их Надя и Карина. А я рассказал им про Нину, про то, как трудно скрывать это, встречаться украдкой. «Здесь то же самое, — замечает Ганс. — Может быть, еще трудней». И около полуночи мы отправляемся спать.

Будит их по утрам ночной сторож с фабрики — стучит в дверь. Если сразу не проснутся, не отзовутся — постучит еще раз, да так, рассказывает Вилли, что дверь едва не слетит с петель. Но я проснулся от первого же стука. Оказывается, они здесь соорудили себе «водопровод»: большая бочка, наполненная водой, на высоких подмостях. Поставлена так, что дождевая вода с крыши тоже стекает в нее. И снизу из бочки проведена трубка на кухню, а там — кран и умывальник. А вот такой роскоши, как зубные щетки у них нет, а моя, подаренная однажды Ниной, осталась в лагере. Обойдусь сегодня, я ведь, бывало, по году и дольше не чистил в плену зубы. А в печке уже трещат дрова, Ганс поставил согреть воду для чая, на завтрак — большой кусок хлеба и кусок колбасы с чесноком…

К шести мы были на фабрике, заведующий производством Игорь Иванович уже там, а Анатолия Сергеевича и Дмитрия не видно. Вилли и Ганс показали мне свою мастерскую, там у них столько запасных частей, что хватит надолго, а игл для машин — до следующего столетия, сказал Ганс. «Ты смотри, Вилли, — напоминает он мне, — обещай, что вы нас здесь не забудете».

Появляется и Дмитрий, судя по его виду, они с Анатолием вчера еще «добавили». Пора прощаться с хозяевами. Я напоминаю директору, чтоб не забыл вовремя отправить в лагерь Ганса и Вилли, он обещает, что все будет в порядке. «При том что я, — добавляет он, — охотнее оставил бы их у нас. Ну, ничего не поделаешь!» И в благодарность за наших мастеров нам разрешают

доверху загрузить машину Дмитрия рукавицами.

Распрощались, и мы поехали. По дороге Дмитрий рассказывает, что директор спрашивал его, давно ли он меня знает. «А я сказал, что ты мог бы быть мне братом, и про то, как мы с тобой ездили по разным делам». Жена Анатолия Сергеевич хотела кормить их, но ужинать они не стали, только «раздавили» бутылку водки. «А я-то знаю, — жалуется Дмитрий, — если после шампанского еще и водка, то утром будет худо».

Дорога забита, обгонять грузовики Дмитрий не решается, так что едем медленно. Приехали в деревню, где завтракали по дороге на фабрику. Время обеденное, и Дмитрий говорит, что стакан молока нам, должно быть, вреда не сделает. Остановились у того же колхозного магазина. Дмитрий пошел туда и вернулся с пустыми руками. Подхватил несколько пар рукавиц и снова пошел туда. Появился в сопровождении двух женщин. «Слушай, Витька, — обращается ко мне, — как ты думаешь, неужто всем еще нужны рукавицы? Куда нам столько? А колхоз купил бы!»

Не знаю, что и сказать. Подумав, ответил, что можно, конечно, дать и в колхоз, но что-то мы должны доставить и в лагерь, в кладовую… И мы заехали во двор этого магазина, женщины принесли большущую корзину, и Дмитрий стал отсчитывать им рукавицы. Выложил пятьдесят пар, гора в машине вроде бы от этого и не уменьшилась. Заметно стало только после того, как Дмитрий отсчитал двести пар. Ну ничего, у нас ведь тоже осталось не меньше. Дмитрий зашел с женщинами в магазин и тут же вернулся; мы сели в машину. И он протянул мне деньги — десятирублевки. «Ну, Витька, здорово мы это дело провернули. Вот тебе пятьдесят рублей, смотри, чтоб не стащили у тебя! Смотри, это наша тайна, не то попадем за решетку оба». И складывает пальцы перед носом, показывает, что значит «решетка»…

Поехали дальше, на Мариуполь. Когда вернулись в лагерь, было еще светло. Сразу проехали к вещевому складу — сдать рукавицы. Нам повезло, тамошний офицер еще не ушел. Позвал своего помощника-немца. Раз-два, и все быстро сгрузили. Считают пусть сами, а я попрощался с Дмитрием и скорее к себе в комнату — рассказать обо всем Максу. Он, конечно, вчера вечером, когда я не вернулся, стал беспокоиться, пошел к коменданту Зоукопу. Тот тоже ничего не знал, стал звонить Владимиру Степановичу, тот им и сказал, что мы вернемся только сегодня.

Макс предложил идти сразу к Зоукопу, тогда не придется

рассказывать два раза. «Я бы и сам хотел там побывать, — улыбается комендант. — Столько красавиц разом — и все тебе одному! Ну ладно, а что рукавицы опять привезли — спасибо, вот только неясно, понадобятся ли они. Завтра нам подают вагоны! Обустраивать их поручается Максу, а ты ищи ему умелых помощников, забрать его из цеха совсем я не имею права».

Еще бы не поискать, это же для освобождения, для отъезда по домам! И еще Зоукоп велит мне разобраться с нашими рабочими в мартеновском цеху, там что-то опять не заладилось. А я себе думаю при этом, что смогу искать «специалистов» для работы с вагонами и в ночную смену.

Оба Макса остались, а я пошел искать Карла Гейнца, бригадира из мартеновского. Нашел его сразу, и он объяснил, в чем там загвоздка: не хватает людей в утренней смене, надо переводить из ночной. И вообще, надо увязать численность пленных по сменам со сроками остановки печей на ремонт. Вот и поеду завтра вместе с ним на завод, разбираться и улаживать. Я здорово устал сегодня, а Макса все нет. Интересно, что они там обсуждают. Наверное, что-то ко дню рождения Владимира Степановича…

Я не стал ждать, лег и уснул.

Мы с Карлом Гейнцем поехали на завод, как и договорились, с первым поездом. Пришли в цех, в комнате бригадиров только Ваня. И мы уселись переделывать разнарядки. Потом заглянул к нам кто-то из бригадиров, увидел, над чем мы колдуем, и не стал мешать. Часа через два мы решили, что новая разнарядка вроде бы готова. Что-нибудь потом все равно не сойдется, но ведь без этого не бывает. «Подумать только, — сказал я бригадиру, — мы тут ломаем себе голову, а ведь на следующий месяц будем, наверное, уже дома!» — «Ты так уверен?» — «Конечно, ведь сегодня уже подают вагоны на запасной путь. Моему Максу поручено собрать бригаду и подготовить их к дороге». — «Вот это лучшая новость, какую я здесь слышал, — обрадовался Карл Гейнц. — Хочу домой, как можно скорее!»

После обеда показали наш план остальным бригадирам, возражений не было. И я стал искать по спискам, кого можно было бы «урвать» в бригаду к Максу, на подготовку вагонов. Карл Гейнц сказал, что посмотрит, а на электростанцию идти незачем; пленного бригадира на работе нет, он болен, а с начальником говорить бесполезно: услышишь только одно, что отпустить никого не может.

Когда я вернулся в лагерь, Макс был уже там и сразу набросился на меня. «Боже мой, Вилли, если б ты только видел

эти вагоны! Сколько же это раз в них возили пленных! Все вагоны так загажены, что сразу видно: им там было уже все безразлично — рвались домой, и больше ничего…»

Макс знает от коменданта, что наш отъезд назначен на десятое или двенадцатое сентября, значит, на подготовку у нас еще полтора месяца. Сначала вагонам нужна капитальная уборка — хотя бы дерьмо выскрести, они ведь насквозь провоняли. Черт его знает, что там в них еще возили! «Я прикинул, — продолжает Макс, — сначала нам надо по четыре человека на каждый вагон. Вагонов около сорока, каждый человек на шестьдесят. Завтра утром пойдешь со мной и все увидишь своими глазами».

Утром мы первым делом пошли в лагерную мастерскую, чтобы взять с собой и ее начальника, Эрвина. Максу вчера уже выдали пропуск, чтобы мог выходить из лагеря без часового. Вот мы, три «эксперта», и отправились на запасные пути, где стоят вагоны.

В самом начале состава обнаружился вагон в более или менее приличном состоянии. Двухэтажные лежаки на шестьдесят человек, отхожее место в углу, правда, в таком состоянии, что воспользоваться им пока невозможно. «Все это к черту выкинуть! — ворчит Эрвин. — Сами сделаем в мастерской». А мне тут же приходит в голову, как найти людей еще сегодня: надо объявить по лагерному радио, что все бригады второй и ночной смены должны немедленно выделить по два человека для работы в лагере. А я тем временем постараюсь добыть метлы. Эрвин пусть доставит инструмент, чтобы демонтировать «санузел». Когда в вагонах сделают хотя бы первую уборку, можно будет прикинуть, сколько нам понадобится досок, и подумать, где их достать. Я уверен, что кто-нибудь из офицеров нам поможет, а нет — обратимся к Владимиру Степановичу.

Вернулись в лагерь. Макс пошел к начальству устраивать объявление по радио. Едва оно прозвучало, как возле управления собралась чуть не толпа народу. Два десятка метел мы с Эрвином тут же добыли у нашего завхоза; такое хозяйство у него всегда в запасе. Желающих тем временем набралось уже человек сорок, ждут задания. Но теперь надо еще выяснять, как им пройти к вагонам. Выпустят так или пошлют охрану?

Комендант Зоукоп быстро договорился с дежурным офицером: сопровождать пойдут двое из «лагерной полиции». Подошел и Эрвин с помощниками и инструментами и — вперед, к вагонам! Комендант нас еще раз напутствовал, сказал, что к чему.

Ясное дело, в ответ — общий восторг: наконец-то домой! Уже на путях договорились: если будут доски в приличном состоянии, складывать их отдельно, пригодятся для новых нар. А помощники Эрвина — все с нашими рукавицами, видно, орудовать с таким «санузлом» — небезопасное дело. Когда добровольцы разошлись по вагонам, Макс еще спросил «охранников», не хотят ли и они потрудиться на общее благо. В ответ — такие любезности, каких раньше от этой публики слышать не приходилось…

А я вернулся в лагерь. Попробую узнать у коменданта, можно ли надеяться получить доски; ведь ехать придется, наверное, долго. А он первым делом стал спрашивать о вагонах — как они? В ужасном состоянии? Рассказал ему, как обстоит дело. Что сейчас их чистят по первому разу, моют полы. А вот из чего строить нары, где взять доски? Старые никуда не годятся. И я сказал, что надо поехать на завод, в литейный цех. Там при модельном отделении есть столярная мастерская, может быть, они помогут. Зоукоп согласился.

Не успел я выйти из его кабинета, как мне навстречу, можно сказать, нос к носу — Маша. Мы оба испугались. Она первая пришла в себя и прошептала, что идет в лазарет и чтобы я сейчас же шел туда — она будет ждать. И тут же исчезла.

С тех пор как я знаю, что поезд домой пойдет так скоро, и после нашего последнего свидания, когда Маша так плакала, отношусь ко всему этому уже спокойно. Вот и пошел за ней. Маша уже ждала меня в своем кабинете. В глазах ее теперь, кажется, не только печаль и страх — еще и немного радости. «Витька, мой дорогой, что ж ты заставляешь меня так долго ждать?» — и Маша бросается мне на шею, целует так страстно, как только она умеет. Р-раз! — ключ в двери повернут, а мое благочестивое намерение Машиным соблазнам больше не поддаваться забыто. Невозможно устоять перед ее нежностью, ее страстью и любовным искусством. И никакой моей вины тут нет, совесть у меня чиста, я даже Максу не расскажу об этом свидании…

Маша готовит чай, наверное, хочет со мной еще о чем-то поговорить. Отперла дверь, достала из шкафа коробку конфет. Разливает чай, такой пахучий, что запах на всю комнату. «Ты же знаешь, — говорит, — что больница пустует, только трое больных осталось, да их тоже скоро пора выписывать. Все вы домой собрались! — Машин голос почему-то ломается, словно у нее ком в горле. — А сюда пришлют других пленных, осужденных, которым еще несколько лет сидеть. И прежний «постоянный состав» останется, и я тоже буду здесь работать…»

Боже мой, вот что, оказывается, Маша надумала. Чтобы я не рвался домой, а остался здесь, «ну, ненадолго». И занялся вместе с ней реорганизацией больницы. И за это время читал медицинские книги, и потом мы с ней — это она мне уже объясняла, когда вернулась от матери, — займемся медицинской практикой в деревне. «Не говори сейчас «нет», до сентября еще есть время решать!» — и опять обнимает меня и повторяет, что хочет счастья со мной. И Машины слезы капают мне на руки…

«Приходи ко мне, когда только захочешь!» — это я слышу уже в дверях. И что же мне делать, если она не может выбросить эти мысли из головы? Я что, того же хочу? Нет, я хочу домой, даже с Ниной остаться и то не хочу. Как мне объяснить Маше, что значит «домой» после пяти лет за колючей проволокой? С такими мыслями я и выхожу за ворота лагеря, часовой на этот раз даже не смотрит на мой пропуск, должно быть, знает меня в лицо.

Там у вагонов Макс уже бранится: кто-то стащил старые доски. Сегодня суббота, завтра нам опять давать представление, а в понедельник я пойду в ночную смену в модельное отделение в надежде добыть свежие доски. Ну, и очень надеюсь, что удастся пробраться к Нине домой. Такой уж надежной мне эта попытка прошмыгнуть через ворота не кажется, но я надеюсь, что Нина все устроила и что ничего непредвиденного быть не должно. Не отказываться же мне…

За досками…

Стоит замечательная летняя погода. Так тепло, что наши концерты можно давать на свежем воздухе. Рано мне сегодня не вставать, но когда соседи поднимаются в пять, а то и в полпятого, тихо не бывает, а потом уже и не заснешь. Так что в семь часов я уже опять у вагонов, с Максом вместе пытаемся прикинуть, сколько же нам потребуется досок. И сразу становится понятно, что это не один и не два кузова или прицепа. На самый худой конец можно строить нары в один этаж, а нижним будет пол, спать на полу… Добыть соломенные матрацы будет, наверное, проще, а что на полу — так ведь домой поедем, можно и потерпеть!

Если будут доски, то сбить нары можно и за два дня. А пока что Эрвин с помощниками мастерят клозеты; если в вагоне не будет настоящего отхожего места, это в дальней дороге похуже, чем без нар.

На завод поехал с ночной сменой. Сразу — к Карлу Гейнцу, бригадиру литейного цеха. У них на складе, можно сказать, ничего для нас не нашлось; с десяток досок — это совсем не то количество. Решаем, что завтра днем осмотрим еще раз все вокруг, а уж если ничего не найдем — придется обращаться к русским начальникам. С этим я и ушел. Куда? К железнодорожному въезду, разумеется. Туда минут двадцать ходьбы от литейного цеха, ночь сегодня не очень темная.

Еще издали вижу у ворот две женские фигуры. Одна — с карабином за спиной, а вторая — это, конечно, Нина! Она меня обнимает, стягивает с меня куртку с накрашенными на спине буквами, а ее подруга прячет куртку под скамью в своей будке. Нина принесла с собой русскую спецовку, я ее надел. Подруга Татьяна напомнила еще раз, что к шести утра на пост придет другой дежурный. И вот мы за воротами, идем скорым шагом. Остановились под каким-то деревом — обняться и поцеловаться, и скорее дальше. Не прошло и пятнадцати минут, как мы были уже возле Нининого дома. Деревянный домишко, чуть-чуть освещенный луной, будто в сказке. Нина буквально втащила меня в дверь.

Показала свое жилье. В кухне большая побеленная печь, стол покрыт тканой скатертью, посудный шкафчик — тоже. На особой полочке развешаны цветные ложки, они, объяснила Нина, только для украшения. Плетеное кресло с подушкой. И дверь в спальню, посреди которой — широкая деревянная кровать с резными

спинками. Платяной шкаф с двумя дверками, похоже — ручной работы. Зеркало, и на стене — большой восточный ковер.

«Вот, Витюша, *milenkij*, мое царство. Будь как дома и поцелуй меня! А уборная во дворе, пока темно, ее отсюда не видно…» Мы все же вышли во двор, чтобы я мог ориентироваться. «А за водой, — продолжает Нина, — здесь недалеко, за углом. Я беру сразу два ведра, так и нести легче…» И мы вернулись в кухню. Нина ничего заранее не приготовила, она ведь не знала точно, когда я смогу прийти. Но сегодня все это никакого значения не имеет. Главное, что все по-другому, что сегодня мы — дома, и это просто замечательно! А теперь — в спальню… Мы вдвоем, вместе, уже целый час, уже второй, пока мое вечно бодрствующее «пленное сознание» не напоминает: шесть утра не за горами, а «вылазка» моя с завода должна остаться незамеченной.

С тяжелым сердцем мы пустились в обратный путь и около половины пятого подошли к посту. В груди стучит — не заметил ли нас кто? Оказывается, Нина договорилась с Татьяной об условном знаке, который та должна подать, если никого чужого на посту нет. Все в порядке, мы прошли! Прощальный поцелуй, «большое спасибо!» Татьяне, и я ухожу в заводскую темь. Только теперь начинаю понемногу приходить в себя от пережитого приключения. И начинаю понимать, чем оно могло кончиться — и это чуть не за несколько дней до отъезда домой… Эшелоном совсем в другую сторону, вот чем! На восток вместо запада. Ох, как я рад, что все благополучно кончилось, ни за что на свете не стану больше так рисковать! Я ужасно рад, что видел Нину такой счастливой, но и в ее глазах мелькала тревога; она уже знает, что скоро потеряет меня. Мы об этой печальной неизбежности ни словом сегодня не обмолвились, не хотели портить такую ночь…

Пришел в литейный, но Карла Гейнца там не застал. Наши сказали, что они его всю ночь не видели. Может, и он был на свидании? Рад за него, рад за каждого из пленных, кому здесь улыбнулась любовь. А смена скоро кончается, и я отправился попытать счастья в силикатный цех к Петру Ивановичу.

Его на месте нет; секретарь Елена сказала, что придет только после обеда — он был на работе ночью. Напоила меня чаем, а я ей рассказал о нашей заботе: доски нужны! Она советует обязательно поговорить с Петром: «Ты же ему помог с людьми, и он тебе поможет!» Поблагодарил ее за чай и пошел на станцию, к поезду. Спецовку я снять забыл, когда на посту у Татьяны надевал свою куртку пленного, теперь на мне они обе.

Вернулся в лагерь к завтраку, съел пшенный суп и хлебную пайку и завалился спать. Успел только рассказать Максу, что с

досками пока никакой определенности и что во вторую смену надо снова ехать к Петру Ивановичу. «Проклятье!» — бранится Макс; он уверен, что чем скорее мы сможем сколотить нары, тем скорее поедем…

Когда проснулся, вторая смена уже собиралась на работу. Надо торопиться, чтобы застать Петра в цеху. Повезло: на завод шла грузовая машина, которая привозит хлеб; они меня подхватили. Там еще минут двадцать протопал пешком до силикатного, зато Петра Ивановича застал, он только что появился. Тепло со мной поздоровался, а когда я заговорил о досках, наморщил лоб. «Ты, Витька, хоть представляешь себе, что у нас значит — получить свежий лесоматериал?» — «Еще бы! — отвечаю. — Не знал бы, так не пришел бы просить вас о помощи». Ну, Петр Иванович стал звонить разным людям по телефону. И вдруг лицо его просветлело: на проводе у него *Natschalnik* литейного цеха Владимир Васильевич, и он обещает помочь! «Пошли к нему!»

Объяснили, в чем суть дела. Я предложил Владимиру: «Не выписывайте в формовочном отделении нашим пленным оплату за июль. Это вам во как поднимет общую выработку! И выполнение норм, и оплату русским рабочим чуть не вдвое». А нам уже все равно — нам через несколько недель домой, и сколько там денег перечислят потом лагерю, сами понимаете… Тогда уже пусть об этом другие думают, а нам теперь нужны доски. Послезавтра воскресенье 31 июля, так что я могу «закрыть наряд» по литейному цеху хоть сейчас… Владимир Васильевич очень даже доволен таким оборотом дела. Как там в славной русской пословице: *«Ruka ruku mojet»!*

Спрашиваю его, когда можно будет получить доски. «Приходи завтра в первую смену, — отвечает. — Вместе поедем за лесом». А сейчас скажут, что «надо это обмыть»… Угадал, конечно. Водка на столе, секретарь несет стаканы, минеральную воду, хлеб и *Salo*. Пришел и бригадир пленных Карл Гейнц. Рассказал ему о договоренности; конечно, он рад, что его бригада будет причастна к подготовке отъезда. Хоть на день, да скорее…

Выпили за дружбу русских с немцами, выпили за рабочий класс, выпили за любовь. Владимир Васильевич подмигивает Карлу Гейнцу, видно, он что-то про него знает. Ну и что? Главное другое — мы получим доски, а все остальное сейчас уже не имеет значения. Бутылка быстро опустела, начальник стал было посылать секретаря Светлану за второй. Но мы его отговорили. Русские начальники все чаще стали забывать, что мы —

военнопленные и что, если нас застанут пьяными, могут быть неприятности. Смена скоро все равно заканчивается, и мы спокойно уходим на станцию. Летние вечера здесь обычно теплые, сегодня даже душно. Или это от выпитого?

Наутро Карл Гейнц едет на завод вместе со мной, обязательно хочет принять участие в поездке за досками. Дождались Владимира Васильевича. Он вызвал по телефону грузовую машину. С нами — еще четверо из бригады военнопленных. Ехали почти час, приехали на склад лесоматериалов. Без особых формальностей подрулили к гигантскому штабелю и стали со всей аккуратностью грузить доски в кузов грузовика. Забили его так, что и щели не осталось. Четырех помощников Владимир взял с собой обратно на завод, а мы с Карлом Гейнцем отправились с добычей в сторону лагеря — на запасные пути, где стоят наши вагоны.

Давно не видел, чтобы Макс так радовался, как сейчас, когда увидел, сколько привезли досок. Скорее разгружать их, укладывать в один из вагонов. Однако доски — это хорошо, но для устройства нар нужны еще и стойки. Уговариваю водителя ехать еще раз на лесопилку, на склад. Он согласился. Там нашли хорошего мастера, который нас понял и разрешил нагрузить машину еще раз — стойками. Он знает, что Владимир Васильевич договорился с начальником склада; значит, все в порядке.

Такого я даже не ожидал. Но раз так, скорее грузиться, водитель нам тоже помог, и — поехали, пока никто не хватился. Спросил водителя, чем мы можем его отблагодарить; мы ведь всего только пленные… Говорит: «Я у ваших пленных видел хорошие рукавицы, мне бы такие…» Вот это я могу! И по дороге к запасным путям мы остановились у лагеря. Побежал на вещевой склад, договорился там, чтобы собрали сверток — пар 30 или 40 рукавиц. Когда водитель грузовика их увидел, он прямо остолбенел: «Это все мне?» И тут же — он готов ехать на склад хоть в третий раз. Что ж, лучше больше, чем меньше, поехали! Прежний мастер был на месте; водитель с ним о чем-то поговорил, отнес ему хорошую пачку рукавиц. И мы загрузили кузов еще раз! По дороге водитель попросил меня, чтобы несколько досок оставили в кузове — ему в хозяйстве такие тоже нужны. Разумеется, да! Без него, водителя, ничего бы у нас не вышло.

Он прощается с нами со словами благодарности. Ведь досок в продаже для частных лиц нет вообще. И если ты не «большое начальство», взять их негде. А так — все довольны. Вот только на ночь к вагонам с досками надо ставить охрану. Мало ли кому

может приглянуться такое богатство!

В лагере мы сразу нашли несколько человек, готовых подежурить у вагонов ночью. И только после этого направились к коменданту Максу Зоукопу — докладывать о сделанном. Ночью, конечно, к нашим приставят русского часового, так это уже их забота. А по делу — только лучше, надежней охрана нашего богатства. Весть о досках быстро разнеслась по лагерю, от охотников работать «на вагонах» нет отбоя.

А мы — Карл Гейнц, Макс и я на сегодня с делами кончили. Пошли ужинать на кухню. К нам подсел Гейнц, заведующий, — хочет знать новости из первых рук. Постепенно разговор переходит на другое — через несколько дней начальнику лагеря Владимиру Степановичу исполняется шестьдесят лет. И подарок от пленных должен быть для него большим сюрпризом. И мы решаем сходить в мастерскую посмотреть — как там дела с машиной. Несколько дней назад, когда я туда заходил к Эрвину, она была почти готова, не хватало каких-то пустяков.

День рождения Владимира Степановича

Вчетвером мы пошли в мастерскую. Там у заведующего рабочий день, можно сказать, никогда не кончается — Эрвин всегда что-то мастерит. Так и сегодня. Но автомобиль готов! От посторонних глаз он упрятан за перегородкой.

«Какой же ты, Эрвин, молодец! Ну как вы это смогли?» — спрашивает повар Гейнц в полном восторге; он видит машину впервые. От ее предшественницы не осталось и следа; перед нами настоящая легковушка, даже сиденья — с мягкой обивкой. «Только бы дождя не было, — сокрушается Эрвин. — У нас ведь еще десять дней, придется, видно, сделать для нее приличный навес». — «Послушай, Эрвин, — комендант Зоукоп качает головой. — Дело ли это — машина нашему старику только на хорошую погоду? Посылай-ка ты завтра своих людей на свалку искать ей крышу, а если надо добавить помощников «на вагоны», то я тебе пришлю. Теперь у нас все добровольцы!»

На обратном пути из мастерской повстречались мы с нашим главным музыкантом Манфредом. Комендант и его спросил — что готовишь ко дню рождения нашего старика? «Это мы уже продумали, — отвечает Манфред. — Будет представление специально в его честь. Сцены из наших оперетт, попурри и прочее. А когда ты, Макс, будешь читать ему поздравление, наш оркестр тебе такой туш сыграет!»

Все верно, мы готовимся полным ходом. Вот только как быть с публикой? Ведь вторую смену, дневную, с работы в цехах не снимешь. Ничего не поделаешь, юбилей надо устраивать во второй половине дня, когда первая смена уже вернулась с завода, а ночная — выспалась.

Прощаясь, комендант отдает нам пачку папирос «Киев» — ему подарил политрук.

Все следующие дни я вместе с Максом не отхожу от вагонов. Мало ли что может еще понадобиться! А наряды и отчеты за этот месяц сделаю на следующей неделе. Сейчас важнее подготовки поезда для нас ничего нет. Вот вчера и начальник лагеря помог — прислал нам в помощь Дмитрия с его «бобиком», и помощники Эрвина не таскают теперь наши санитарные устройства из мастерской к поезду на собственных спинах. Кончились было болты и гвозди, и пришлось нам с Дмитрием ехать за ними на какой-то огромный склад и получать их там по документам, подписанным начальником лагеря. Дмитрий и на этот раз не

забыл и себя — припрятал немного и того, и другого.

И вот сегодня начальнику лагеря Владимиру Степановичу исполняется 60 лет. Ночью Эрвин выкатил главный подарок на плац, к трибуне, его помощники живо сколотили укрытие, чтобы не было видно, что за сюрприз там прячется. Повесили объявление на красной доске и объявили по лагерному радио: всех, кто не на заводе, приглашают прийти на празднование.

Оркестр на трибуне, громкоговорители проверены, весь плац заполнен людьми. Многие уже знают про автомашину, но мало кто ее видел. На трибуне перед оркестром стоит кресло — почетное место для юбиляра, для многочисленных русских офицеров приготовлены скамьи.

Комендант Макс Зоукоп отправился за нашим отцом-командиром, привел его и усадил в кресло. И сразу стал читать поздравление. А ребята из мастерской уже разбирают, растаскивают по сторонам «укрытие». И взорам собравшихся предстает отполированный до блеска легковой автомобиль, замечательное изделие в единственном экземпляре!

Владимир Степанович так удивлен и растроган, что по его щекам — мне это видно со сцены — сбегает слеза. Плац вовсю аплодирует и орет в тысячу глоток немецкое приветствие юбиляру: «Многая лета, многая лета, трижды ему — ура!» И комендант Макс ведет именинника к машине. Эрвин открывает дверцу водителя, но Владимир Степанович не согласен — на первый раз пусть рядом с шофером! Эрвин садится за руль, машина трогается с места, и они объезжают весь плац, делают круг почета. Аплодисменты не умолкают…

А потом Эрвин выезжает за лагерные ворота и ведет машину к дому Владимира Степановича. А офицеры вокруг нас оживленно обсуждают такое необычное и самостоятельное «мероприятие» военнопленных.

Что ж, мы здорово удивили начальника лагеря, он, что называется, потерял дар речи. Только повторял: «*Spasibo, bolschoje spasibo!*» Сюрприз удался. А несколько слов всем пленным Владимир Степанович скажет вечером, на концерте в его честь, я в этом уверен.

А мнения наших бывших солдат о подарке — разделились. Одни обрадовались, потому что от души благодарны Владимиру Степановичу за то, как он руководит лагерем. Все хорошо знают, каково нам было в других лагерях, да и теперь там, наверно, не лучше. Другие против любого подарка начальнику, и преодолеть

свою ненависть ко всему русскому уже не могут. Да, в плену мы хлебнули сначала немало ужасов. В том числе, жестокость и ненависть русских ко всем нам, немецким солдатам, за разрушенные дома, за погибшие семьи. Можно ли упрекнуть их за это?

Здесь же было положено начало другому. Перестать ненавидеть друг друга, стать снова людьми. Забыть войну, обрести надежду, что ее никогда больше не будет. И я встрял в разговор компании пленных, стал приводить в пример мою собственную судьбу и рассказывать, что я знаю о Владимире Степановиче. Как он всегда добивается, чтобы кухня получала больше продуктов, чем нам полагается официально. И много чего еще. В каком другом лагере есть такая больница для пленных? А что рассказывали футболисты про свой лагерь, вы помните? А письма, которые мы шлем домой, которые получаем из Германии? И вообще, как бы нам жилось здесь без Владимира Степановича?

Макс меня в этой дискуссии поддерживал, а потом увел — готовиться к концерту. И вот время подошло, публика собралась.

В первом ряду сидит Владимир Степанович со своей семьей. Вокруг русские офицеры с женами. Вижу и Машу, она сидит между двумя женщинами. Комендант Макс приветствовал всех, Владимира Степановича — особо. И Владимир Степанович сказал ответную речь.

«*Druzja!*» — привычный бас начальника лагеря на этот раз дрожит. — Мне не хватает слов, чтобы благодарить вас. Никогда я не думал, что пленные станут поздравлять меня в день рождения! Я старался быть вам справедливым начальником и должен сказать, что вы мне в этом очень помогли. До вас тут были венгры, и с ними мы тоже ладили, ну а вы стали мне по-настоящему близки. Мне шестьдесят, так что многим я гожусь в отцы. Через три-четыре недели вы поедете домой, вагоны для вас уже здесь. Что до меня, то отпускаю я вас неохотно. Но конечно, желаю всем счастливо вернуться домой, найти своих близких в добром здоровье. Да хранит вас Бог!»

И на этих словах: «Да хранит вас Бог! *Gott beschuetze euch!*» — его голос прерывается. Гром аплодисментов, короткая речь начальника лагеря произвела сильное впечатление. Начинается концерт, разнообразное представление. Все в ударе, всё прекрасно, ведь каждый ощущает, что теперь на самом деле — «*skoro domoj!*». Владимир Степанович подозвал Макса Зоукопа, благодарил его и сказал, что такого замечательного дня

рождения у него никогда в жизни не было. А политрук пришел к нам на сцену за кулисы, благодарил за удачное представление и сказал, что сожалеет, но пригласить нас на ужин, как в прошлый раз, не может — о том ужине пошли разговоры, и ему попало…

А что говорит мой старший друг Макс? «На всех не угодишь!» Ничего страшного, покормимся утром с первой сменой.

Когда я был на сцене и пел песенки, Маша в зале не спускала с меня глаз. Я с нее, конечно, тоже. И мне показалось, что ее губы беззвучно произносят: *«Zshdu tebja!»* Да, «жду тебя», так я это прочел. Разгримируюсь и пойду к Маше в лазарет…

«Ты что, по губам прочел?» — бросается ко мне Маша, обнимает меня и осыпает поцелуями. Пощебетала, что я здорово изображал женщину, игриво спросила, откуда у меня такие способности. Она это обсуждала с женщинами, с которыми рядом сидела в зале… «Мы здесь одни, мой дорогой! — разом меняет тему Маша. — Запирай дверь, мало ли кто может сюда сунуться». Заварила чай, конфеты уже на столе. Стали мы баловаться, протягивая конфету друг другу — изо рта в рот. За каждой конфетой следуют, разумеется, поцелуи.

Все во мне смешалось. Отличное настроение после удавшегося концерта и ни с чем не сравнимое чувство — скоро я не буду пленным! И к тому же объятия этой удивительной, потрясающей женщины…

Полная тишина вокруг. И Маша опять мечтает вслух о будущем со мной. Ей все ясно! Я сегодня не перечу, очень уж нам сейчас хорошо. Но и не поддакиваю. Впрочем, ей все равно, от избытка чувств ей не до того: Маша уговаривает меня остаться на ночь. Дескать, вечером пленных давно не пересчитывают, больница пуста — больных больше нет, санитаров тоже. Кому охота болеть перед самым отъездом! И никто сюда не придет, и мы, мол, ничем не рискуем…

Макс знает, куда я ушел, значит, беспокоиться не будет. И я отбросил все укоры совести и — остался. Остался вкусить свободы, свободы за колючей проволокой!

Утром принял настоящий душ, смену белья Маша тоже мне приготовила. Заварила чай, больше ничего после такой ночи и не нужно.

«Когда я теперь тебя увижу?» Еще Маша говорит, что теперь, когда в больнице пусто, она могла бы хоть каждую ночь, но… Но все же это опасно, лучше так не рисковать. Забыл спросить: ее допрашивали в НКВД после той истории, когда вцепилась соседка? Да сегодня и не время для таких разговоров. Последний

поцелуй, Маша выглядывает — нет ли кого поблизости, и вот я уже топаю в направлении кухни.

Макс уже там. Качает головой: «Как ты, полуночник?» А я тихо отвечаю: «Тебе привет от Маши!» А он рассказывает, что после концерта наши музыканты Вольфганг, Манфред, Эрих и он, Макс, все же еще попировали — у коменданта Макса Зоукопа. У него была даже бутылка вина. Так что Макс пошел спать только после полуночи.

«Смешно, но тебя никто не хватился, — добавляет Макс. — Небось решили, что на заводе, опять за досками охотишься…»

Последние приготовления

Целыми днями я на заводе. Оформляю наряды за июль и август собираю подписи. Иногда *Natschalniki* зовут меня выпить с ними водки: месячный план выполнен, отчеты в порядке. Наверное, в последний раз, мы ведь поедем домой!

Зашел в механический цех к Людмиле, она меня встретила вся в слезах. Макс не смог ей объяснить, почему он теперь не бывает в цеху, и она думала, что он уже уехал домой, так и не попрощавшись. Это я виноват, надо было раньше зайти к ней и все объяснить. Рассказал ей, чем теперь занят Макс. «А почему он не приходит сюда, как ты пришел?» — всхлипывает Людмила. Пообещал ей, что постараюсь устроить, чтобы Макс смог побывать в цеху, увидеться с ней.

И спросил про Нину, сказал, что не видел ее с тех пор, как побывал у нее дома. Оказывается, Людмила ничего про это не знала, она в ужасе: «Вы с ума сошли, это же так опасно! Ну ладно, если меня сегодня сменят вовремя, попробую увидеть Нину. А ты зайдешь завтра?» — «Конечно! И постараюсь взять с собой Макса».

Вернулся в лагерь и сразу же отправился к нашим вагонам. Рассказал Максу про Людмилу, он, конечно, обрадовался. Решили, что завтра же поедем на завод вместе, Максу ведь надо еще поработать в кузнице, заготовить еще крепеж для установки лежаков, чтоб хватило с запасом на все наши вагоны. А я ему помогу…

Наутро мы с ним поехали на завод, пришли в цех. Людмила ужасно обрадовалась; они остались вдвоем у нее в кладовой, а я «сторожил» — чтоб подать знак, если кто-нибудь пойдет сюда за инструментом. А потом мы с Максом принялись за работу. Нарезали из полосового железа заготовки. Макс развел огонь в кузнечном горне и стал гнуть из них уголки, а меня отправил сверлить в этих уголках дырки для болтов.

На сверлильном станке работала девушка, она и взялась просверлить эти дырки. Увидела, что я военнопленный, и стала расспрашивать про лагерь, про условия там, сколько дают хлеба, какой суп. В общем, сто вопросов, наверное, задала. А про себя рассказала, что зовут ее Тамара, что она здесь тоже не по своей воле, живет в лагере, там сотни женщин, большинство — вернулись с принудительных работ из Германии, и вот теперь опять… «А ты, — говорит, — первый пленный, с которым я здесь разговариваю, нам не разрешают». Опять получается, что чуть не

все здесь на заводе — так или иначе, а не свободные люди. А что будет, когда нас отпустят домой? Еще каких-то заключенных сюда привезут?

Тамара дала мне проволоку, чтоб нанизать просверленные уголки, и пригласила заходить еще. И я вернулся к Людмиле и Максу. Пришла в кладовую и Нина, такой грустной я ее еще никогда не видел. Все разговоры — о нашем предстоящем отъезде: когда? А мы ведь и сами толком не знаем; может быть, через месяц. Или через полтора месяца. «Это же совсем скоро! — огорчается Нина. — А у меня мы больше встречаться не будем. За себя я не боюсь, а тебя, если нас застанут, отправят в Сибирь». В глазах у нее слезы…

Расстались на том, чтобы встретиться завтра в медпункте у Али, она всю неделю в утренней смене и готова пустить нас к себе. И я отправился с заготовленными уголками на станцию, к поезду в лагерь. Привез, показал наши изделия мастеру Эрвину. Они ему понравились, и он тут же дал мне заказ на завтра — изготовить в кузнице и другой крепеж для обустройства наших вагонов.

Так что на следующий день хлопот у меня было много. Сначала свидание с Ниной в медпункте. Замечательный *Borschtsch* со свежим хлебом там же у Али. Потом в кузницу к Максу, дырки в крепежных уголках и накладках сверлить. С этим вышла заминка: Тамары у станка нет, можно, конечно, и самому просверлить, но управлять станком у меня права нет. Обратился к немецкому бригадиру, он тут же поручил это одному из своих рабочих, Паулю. Как же, такое дело — для поезда, в котором поедем домой!

Пока сверлили дырки, я рассказал Паулю о вчерашнем разговоре с Тамарой. Он ее почти не знает, но хорошо знает, что здешним женщинам строго запрещено разговаривать с нами о чем бы то ни было, кроме как по работе. Ну и страна… Как же я рад, что Макс не пустил меня ехать в политшколу в Москву! Не хочу я жить в такой стране. Как это Маша может думать, что мы здесь будем счастливы? Нет уж, не дам я соблазнить меня на такое.

Когда все было готово, бригадир отпустил Пауля — помочь мне отвезти крепеж к поезду.

Вечером был еще концерт, но уже без сценок и пения — только оркестр, музыка. Пришли, как уже часто бывало, и офицеры с женами. И Маша сидела в зале, совсем недалеко от меня. Вот уж чего я сегодня, после свидания с Ниной, не хотел бы, так это идти к ней. И мысли наши с Максом все больше уже не здесь — они о доме, о наших родных. А когда музыка

кончилась и раздались аплодисменты, я увидел, что Машино место пусто, ее уже нет. Наверное, ушла сразу. Ну и хорошо…

Мы с Максом пошли, как обычно, пройтись перед сном по лагерю. Говорим только о доме, нам не терпится вернуться туда, ведь пятый год, как не были. Макс еще дольше, чем я, — его взяли в плен еще в сорок четвертом. Интересно, а долго ли туда ехать — сколько времени уйдет на дорогу? «Если бы скорым, — пожимает плечами Макс, — доехали бы, должно быть, за двое суток. Вот только кухня тогда не понадобилась бы, а ее нам уже привезли. От Макеевки до Мариуполя какое расстояние? Каких-то полтораста километров, пустяки! А ехали, вспомни, больше суток! А до Германии в двенадцать раз дальше…»

И еще Макс знает, что на днях всех нас обмундируют заново, в форму уже без надписей, без «*WojennoPlenny*». Между прочим, и письма нам что-то давно не приходят. Может, почту уже «отключили», раз лагеря закрываются?

Подготовка вагонов и в самом деле идет к концу, работы осталось разве что до конца недели. И комендант Макс Зоукоп подтверждает, что вагон-кухня для нашего поезда уже прибыл, он на станции Мариуполь. И на следующий день к нам на запасный путь заталкивают два вагона, в них — три армейские полевые кухни и здоровенный водяной бак, кубометра два-три. Котлы полевых кухонь в порядок не приводились, их надо скоблить и мыть, а воды на путях нет. Таскать ведрами — не натаскаешься и не отмоешь. Опять приходится просить помощи у начальства.

Владимир Степанович включается сразу же, вызывает кого-то из офицеров, велит ему связаться с городскими властями, просить, чтобы нам прислали автоцистерну с водой. И через несколько часов она приходит. Насоса нет, и в ход идет обыкновенный шоферский шланг: водитель засасывает ртом воду — и через несколько секунд она уже льется в наш бак. И заведующий лагерной кухней Гейнц велит нам растопить полевую кухню обрезками досок — его помощникам нужна горячая вода, а уж чистить и мыть котлы они умеют…

И тут я в первый раз вижу, что за поле тянется рядом с нами — по ту сторону запасного пути, на котором стоит наш состав, чуть не полсотни вагонов. Это маис, кукуруза, высоченные ярко-зеленые стебли и длинные листья, в которых прячутся початки с золотистыми волосками. В конце сентября кукурузу, наверное, будут убирать… Я бы, конечно, съездил на завод — может быть, встретил бы Нину? — но не поеду, надо заканчивать дела здесь. В другой раз… И еще один день мы вместе с Максом орудуем вовсю

в последних, еще не до конца приведенных в полный порядок вагонах. Остались только два, сегодня мы и с ними покончим.

И вот я бегу в лагерь — доложить коменданту, что поезд «готов к отправлению». Вместе с ним идем к Владимиру Степановичу — пусть он сам придет посмотреть! Начальник лагеря разводит руками — ему сейчас надо ехать в город по делам. Но потом он обязательно придет. А комендант Зоукоп идет к поезду вместе с нами. Внимательно все осматривает, залезает в вагоны и — хлопает по спине Макса, обнимает его: «Ну всё, можно в дорогу!»

Вокруг еще собирают последние обрезки дерева, чтобы сложить их в кухонный вагон — пригодятся на растопку, — когда показывается машина Дмитрия с Владимиром Степановичем. Старик доволен: «*Otschen khoroscho! Skoro domoj!*» Ясное дело, совсем не все еще так уж готово и «*otschen khoroscho*», но ведь как выглядит! А остались доделки, разные пустяки.

После вечернего супа мы собираемся в своей комнате и советуемся, надо ли до отъезда еще раз устраивать концерт, давать оперетту. На самом деле, никому неохота: сентябрь на носу, а нам что обещали? В середине сентября! И мы решаем — уж ладно, лучше будем последние дни работать на заводе. Пока старик не скомандует «По вагонам!».

Хожу на работу вместе с Максом, в механический цех, в кузницу. Работаю с ним как подмастерье, молотобоец. А сверловщица Тамара больше не показывается, в цеху ее нет. Не иначе как ее наказали за разговоры со мной. Ну и порядки здесь, не хочу я здесь жить…

Но почти каждый день встречаюсь с Ниной — проводим час-другой у Александры в медпункте. А то и меньше, но все равно хорошо! И Людмила счастлива — Макс каждый день с ней.

Опять обещают…

Наступил сентябрь. Сегодня после работы нас с Максом позвали к коменданту, и он сказал, чтобы я шел к доктору Марии Петровне: она будет проверять вагон-кухню. «А я зачем? — спрашиваю Зоукопа. — Это ведь Гейнца хозяйство». — «Почем я знаю, — пожимает плечами комендант. — Сказала, что нужен ты, вот и иди».

Этого мне только не хватало! Я сегодня виделся с Ниной, мы чудесно провели с ней время, и что теперь — у Маши опять новые планы? Но ничего не поделаешь, послушно отправился в больницу. «Бери вот эту папку!» — велела она официальным тоном, и мы отправились к вагонам. Что это она сегодня так осторожничает? Наверное, есть причина…

Пришли на место, я помог Маше забраться в вагон. И тут она за меня ухватилась, осыпает поцелуями. «Ты почему не приходишь? Я же говорила тебе — в любое время! Сейчас же идем ко мне, здесь неудобно!» Это уж точно…

Заглянула она в котел, потом осмотрели для виду еще один вагон. Сосчитала лежаки, убедилась, что в вагоне чисто. Когда слезали вниз, я ее, можно сказать, держал на руках, чтобы не упала. Если бы нас видели, могли бы мало ли что подумать. Помог ей перейти через рельсы и насыпь.

Пришли в больницу, к ней в кабинет, поставили чайник. На столе сегодня деликатесы, даже икра в жестяной консервной баночке, открыть ее оказалось не так-то просто. Здорово вкусно со свежим хлебом! В общем, пир горой, да еще с поцелуями. «А ты не боишься, что сюда кто-нибудь зайдет?» — спросил я Машу. «Не боюсь! — отвечает. — Кроме наших офицеров, заходить сюда теперь некому. А я скажу, что показываю тебе твое новое место. И мы советуемся, что тут надо переделать».

Тут я просто остолбенел. Она уверена, что я останусь, что домой не поеду! «Пошли, Вилли, — она произносит мое имя протяжно, — посмотришь твою комнату. Ты ее знаешь — та, где я тебя три недели продержала! Мы там все устроим как следует — шкаф поставим, письменный стол, стулья, картины повесим…» Боже мой, что она затевает? Я же домой хочу, только домой!

Тут она заметила, наверное, как у меня вытянулось лицо. «Ах, мой дорогой, — воркует Маша, — я опять тебя не спросила! Ну ничего, ты сам решишь, как обставить комнату». И опять поцелуи. Трус я, вот что! Должен сказать прямо сейчас, что здесь не останусь, что вместе со всеми поеду домой. Вместо этого — тупо

молчу. А Маша собралась в душ, она уверена, что я опять заночую. «Заходи, пожалуйста, потереть мне спину!» Наружная дверь хотя бы заперта? Сплошное легкомыслие…

Маша сидит в душевой кабине на скамеечке, ей ведь, стоя на одной ноге, мыться трудно. В кабине, конечно, тесно. Эх, где мое благоразумие, мое намерение освободиться наконец от Машиных чар? Немало времени проходит, пока мы покидаем душ. Тут уже Маша вспоминает об осторожности: «Ты запер дверь?»

Лагерный колокол разбудил нас в пять. Позавтракали не спеша — поезда на завод будут и после шести. Я бы мог остаться и при вагонах, но хочу поскорее попасть в цех, поговорить с Максом. Он ведь хотел узнать, что там начальник лагеря собирался обсуждать с комендантом.

Как только я показался в кузнице, Макс перестал бить молотом и притушил горн. Взял меня за руку и повел в угол. И мы уселись на какой-то ящик. «Вот, мой мальчик, какие новости, не очень хорошие, — сказал Макс. — Нет-нет, отъезд не отменяют, да только не все поедут. Часть лагерной бригады, «постоянный состав», пока останется. На несколько недель, пока те, кого сюда привезут, освоятся, смогут управляться сами. А самое неприятное вот что: твоя фамилия — в этом списке, в самом начале. Там же заведующие кухней и лагерной мастерской, завхоз, оба санитара…»

Ну и еще, что комендант спрашивал, как же так, самого молодого в лагере, которой столько полезного сделал, — и не пускают домой? А начальник лагеря ему ответил, что докторша собирается переустраивать лазарет, и я ей нужен, потому что говорю по-русски. И что, мол, все это не надолго и что до Нового года все, кого пока оставляют, обязательно будут дома… И еще что-то про Марию Петровну, которая беспокоится, что среди осужденных пленных, которых сюда привезут, будет много больных…

Всё как тогда, когда нас привезли сюда из Макеевки, а здесь работали венгры. Опять я застрял. Выть хочется от всего этого! А Макс старается меня утешить. Говорит, что сегодня же вечером мы пойдем к коменданту, а может быть, с ним вместе — к начальнику лагеря и постараемся его уговорить.

«Дерьмо они!» — я уже не могу сдержаться. Как я мечтал, как надеялся, что вот-вот буду дома, — а меня опять как обухом по голове! И тут мне сделалось дурно. Макс повел меня в инструментальную к Людмиле, уложили меня там в закутке. Людмила причитает: «*Willy bolnoj!* Совсем побледнел, в лице ни

кровинки!» А Макс пытается ей объяснить, в чем дело. Потом я немного пришел в себя, сказал ей, какую новость только что услышал.

Они хотели бы мне помочь, только вряд ли это возможно, я просто в отчаянии. Задержаться на месяц — это ладно, ничего в этом страшного нет, да только каждый раз, когда нам говорили про неделю или две, что получалось? Месяцы, годы! Эх, зачем я учил русский, зачем высовывался… Э нет, не криви душой, Вилли, жилось ведь тебе гораздо лучше, чем многим другим. Ну ладно, но пусть старик покажет сегодня свою доброту, отпустит меня! Не имею права требовать. Он меня однажды уже спас, вытащил из НКВД. И вовсе не обязан был это делать, просто он добрый и заботился обо всех нас, а уж обо мне, самом молодом, — тем более. Вдруг еще раз выручит? А если нет, попрошу Машу, чтоб вычеркнула из списка…

От всех этих мыслей мне стало вроде бы полегче. А тут еще появилась Нина — это Людмила за ней сбегала. Нина успокаивает меня, а я ей объясняю, что не болен, просто очень расстроен, что меня не отпускают ехать с Максом домой, оставляют в лагере. Дескать, «на неделю-другую», да ведь известно, что это у русских значит… А видеться часто мы все равно не сможем, потому что неизвестно, буду ли я на заводе, меня пошлют устраивать лагерную больницу. А Нина меня не слушает и повторяет, что встречаться мы сможем в медпункте у Али. И нежно обнимает меня. А ведь всего два часа назад я завтракал с Машей, женщиной, которая тоже хочет, чтобы я принадлежал ей… Как мне из всего этого выбраться?

Вернулся Макс, смеется: «Смотри ты, женщины тебя как взбодрили!» Договорились мы с Ниной встретиться завтра вечером у Али, поцеловались, и я поднялся — хватит! Пошли в кузницу. «Давай молот! — говорю Максу. — Поработаю с тобой». Он кивает: «Во-во! Так-то лучше, глядишь, пар и выйдет…»

После смены вернулись в лагерь и сразу пошли в контору. Комендант Зоукоп на месте, за столом у себя в кабинете. Обратились к нему, а он стал повторять мне все то, что я уже слышал от друга Макса. Список на двести человек готов и будет вывешен, Владимир Степанович соберет всех остающихся и разъяснит нам, что вот придется немного задержаться, чтобы не нарушить порядок в лагере, пока новые обитатели не освоятся. Он, комендант, сам удивлен: как это русские сами отобрали тех, кто должен остаться? А про список будет объявлено по лагерной трансляции и всем будет велено собраться в зале завтра в 17

часов…

И вот собрание. Владимир Степанович очень старается, чтобы его решение не было встречено в штыки. Он прожженный тактик — снова просит нас о помощи. Присутствуют весь его штаб, все офицеры, Маша тоже. Мы уже не будем считаться военнопленными, объявляет Владимир, мы будем сотрудниками лагерного управления. Все получат пропуска, все смогут свободно выходить из лагеря, ну, только отметившись в журнале. И все получат зарплату — 800 рублей в месяц, независимо от должности.

«Я уже говорил Максу, — продолжает Владимир Степанович, — я надеюсь, что осужденные быстро здесь освоятся, и уже к Новому 1950 году все вы вернетесь в Германию. Пожалуйста, помогите мне благополучно управиться с новым непростым контингентом! Вещевому складу даны указания выдать вам новое обмундирование. Кто хочет, может получить его хоть сегодня».

Когда наш старик так вещает, хочется ему верить. Но все равно — какие бы там ни произносились красивые слова — я хочу домой! Я попрошу — не сегодня, конечно, нет! — буду просто умолять Машу отпустить меня. Только захочет ли она принести такую жертву?

Начальник лагеря и офицеры уходят, а мы остаемся и бурно обсуждаем услышанное. К моему изумлению, стремящихся уехать во что бы то ни стало в первую очередь — явное меньшинство. Кто-то даже обрадовался: дескать, с такими деньгами, «с набитым карманом», можно славно провести время, еще и с женщинами! Я бы тоже с удовольствием провел месяца три с Ниной в ее домишке, ан нет! Домой хочу, вместе с Максом — только домой! А комендант Макс Зоукоп грустно объясняет мне, что он своей судьбы тоже не знает. Начальник ему ничего не сказал, в списке его фамилии нет, и в речи Владимира Степановича о нем, коменданте, не было ни слова…

За новым обмундированием я не пошел, вернулся в нашу комнату — рассказать Максу про собрание. «Ничего не поделаешь, — замечает Макс, — бесплатных пирожных не бывает». Рассказал ему и про услышанное от коменданта Зоукопа: завтра вокруг лагеря начнут ставить еще один ряд колючей проволоки. И сторожевые вышки с прожекторами. Наверное, в лагере для пленных, осужденных судом, должны быть другие, более строгие правила. И понятно, как отнесутся осужденные к

нам, к тем, кто будет служить в лагере при начальстве. Вспомнить только, какое было недовольство, когда наши товарищи прослышали, что артистов после выступления угощали на кухне. До чего же мне неохота участвовать во всем этом! Вот возьму и поеду сегодня в ночную смену на завод, воспользуюсь своим пропуском…

И поехал вместе с бригадой из силикатного цеха. Сразу пошел, конечно, в медпункт, к Але. Нина уже ждала там.

Рассказал им во всех подробностях про собрание и про речь начальника лагеря. Нина слушала молча, только держала меня за руку. Потом сказала, что если мне нельзя будет выходить из лагеря, то пусть лучше я уеду. «Но как же так? Ведь комендант сказал, что вам разрешат ходить свободно? А ты все равно целый день будешь с этой докторшей, она, наверное, молодая и хорошенькая; нет, так я тоже не хочу!» А я молчу и думаю про себя, что Нина, к сожалению, права. Так и буду скакать все время от одной к другой, да еще если Маша отпустит в город одного…

Может быть, Нина читает сейчас мои мысли? Ведь женщины нутром чувствуют, когда им грозит такая опасность — другой женщины.

«Нет уж, Вилли, мой любимый, поезжай лучше домой. Пять лет в плену — неужели этого мало? Езжай вместе со всеми, и да поможет тебе Бог! Только Он один и знает, увидимся ли мы когда-нибудь еще, но изменить мы ничего не можем. Быть пленным — ужасно; любить пленного, а потом отдать его, скорее всего, навсегда — тоже худо. Но я была счастлива. Каждую минуту, что мы были вместе…»

Так мы проговорили до поздней ночи. Втроем, вместе с Алей. Это ведь совсем другое дело — вот так спокойно разговаривать о самых разных вещах, о чем угодно, не боясь, что тебя оборвут. Совсем другое ощущение… Снова и снова заваривали чай, говорили о жизни, Аля и Нина расспрашивали о моей прежней жизни дома. Не успели заметить, как стало светлеть — ночь кончается. Мы с Ниной и не почувствовали желания уйти в другую комнату, где постель.

На рассвете мы позавтракали втроем, это было замечательно…

По утреннему холодку шагаю на станцию с рабочими ночной смены. Успел забежать и в кузницу к Максу, это почти по дороге. Он уже на месте, раздувает кузнечный горн. Рассказал ему, что говорила Нина, и побежал к поезду.

А в лагере — сразу же спать, я ведь уже позавтракал. Проснулся после полудня и пошел в наш отдел труда, к моему начальнику Вальтеру узнать, как его дела; он ведь тоже в списке остающихся.

Вальтер не просто огорчен, он совершенно подавлен. Я раньше не знал, что он пережил ужасы Сталинграда и уже шесть лет как в плену. У него большая семья — четверо детей, три мальчика и девочка, все эти годы они росли без отца. Письма он получает редко, но знает, что жена и дети живы, при бомбежках не пострадали и живется им теперь неплохо. И вот теперь — ждать еще целый год? «Почему год? Ведь старик говорил о нескольких неделях». — «И ты этому веришь? Я — нет. Сколько раз уже говорено про *skoro domoj*. Нет, нас опять дурят. Ясное дело, мы их устраиваем, сейчас здесь все налажено, а без нас — развалится. А «осужденные пленные» — они что, из образцового лагеря прибудут? И зачем расширяют больницу? Нет, Вилли, плохо наше дело, а прав изменить что-нибудь у нас нет — мы пленные…»

Горечь слышна в каждом его слове. Пробую его утешать, да и самому мне хорошо бы приободриться: может быть, на этот раз Иваны сдержат слово и мы вот-вот тоже поедем домой? «Слушай, Вальтер, а новое обмундирование ты получил? Пойдем, там сейчас должно быть мало народу…»

На складе и в самом деле никого. Интересно, откуда у русских столько нашего обмундирования, и всё — новое, ненадеванное. Мы без спешки выбираем себе вещи по росту, примеряем, что лучше сидит. А белье я оставил прежнее — оно стираное, мягкое, это лучше, чем грубое новое. Мундиры нам выдали серо-голубые, это была униформа в авиации и у зенитчиков. Только что без петлиц и нашивок — все будут «без чинов». Ну и хорошо! А главное — без впечатанных на спине букв, это совсем не пустяк!

«Ну, братец, славно же сидит на тебе обновка! — удивляется Макс, увидев меня в новой форме. — Нет, правда, в таком хоть домой можно ехать. На доске, между прочим, уже повесили объявление: со среды — выдача обмундирования всем, по бригадам. И получившим — на работу больше не идти. Значит, и в самом деле — едем!»

И еще Макс рассказал мне, что его тезка, комендант Макс Зоукоп, тоже остается — он нужен Владимиру Степановичу. «Будешь, — вздыхает, Макс, — все же не один, он ведь к тебе хорошо относится. Это ведь ненадолго, я верю старику, он не такой человек, чтобы обманывать…»

Из наших артистов и музыкантов не повезло мне одному, все остальные готовятся в дорогу. А мне что остается делать? Пойдука я завтра вечером к Маше, попробую ее переубедить. Вдруг удастся, надо надеяться до последнего…

Расставания навсегда

Лагерь похож на растревоженный улей. Все торопятся, на плацу беготня, вещевой склад работает полным ходом — выдают новое обмундирование. А старым барахлом тут же набивают автофургон, на котором в лагерь привозят хлеб. Никто в этой суете и не заметит, если вечером я пойду к Маше в лазарет.

…И она повела меня показывать комнату. Там кровать со свежим бельем и подушками, на стене два пейзажа. В шкафу медицинские книги и русские художественные. Кувшин с водой и таз, как в кабинете у Маши, — чтобы мыть руки. Стол с тремя стульями, на скатерти уже стоит тарелка с яблоками.

«Ну, как тебе нравится? Это твоя комната, будешь жить один. Ну, может, и для меня тут найдется местечко, если я к тебе загляну». Я ведь собирался просить ее, чтобы меня отпустили домой, а что происходит? Мы уже обнимаемся. «Вот мы и обновим твою комнату…» Очутились, конечно, в новой постели.

Тишина, слышу только Машино дыхание. Пробую заговорить: «Дорогая Маша, у меня к тебе большая просьба…» И дальше о том, как я ею восхищаюсь, какая замечательная у нас с ней любовь и что ничего подобного я раньше не знал. И как это удивительно, что она решилась на такое со мной, пленным… «Но ведь я, дорогая Маша, уже пятый год как за колючей проволокой! И я хочу домой… Ты же меня любишь! Помоги мне, пожалуйста, помоги уехать вместе со всеми!»

Она меня не прерывает, только слушает и молчит.

«Пойми меня, Маша, пожалуйста! Мне с тобой хорошо, просто замечательно, но мне надо домой. Помоги мне!»

Маша не отвечает, только зажимает мне рот и всхлипывает. Так проходит долгая ночь, в объятиях, молчании и почти без сна. И утром, не выспавшись, мы молчим, даже почти не смотрим друг на друга. А что еще можно сказать? Я хотел бы утешить Машу, но ведь планы ее совершенно нереальны! Она и сама это поймет, если посмотрит на дело трезво… Так я и ушел, оставив Машу в слезах в той самой комнате, где она хотела начать новую жизнь.

Соседи по комнате утешают меня — мол, ничего, ведь это не навсегда, скоро придет и твоя очередь. А мне не до них. И я свалился спать. Разбудил меня Макс — пришел показывать свой новый мундир. Сказал, что уже готовят списки на каждый вагон — по рабочим бригадам, в том порядке, как получают обмундирование. И мы с ним пошли в коменданту Зоукопу. Пусть

будет — представиться в новой форме.

«Не горюй, сынок, — обнял меня Макс Зоукоп. — Будем терпеть вместе!» Слабое утешение, но все же хорошо, что рядом будет взрослый человек. Еще один Макс… «Я слышал, — продолжает комендант, — что у тебя теперь в лазарете отдельная комната. Ты, случаем, не вскружил ли голову докторше, Марии Петровне?»

Чувствую, что краснею, но он, кажется, не заметил. Ведь, кроме друга Макса, никто не должен об этом знать. А что, если секретная служба уже проведала? Я ведь спрашивал Машу про тот случай, когда ей выговаривали на проходной, а что она ответила — «*Tschort s nimi*», больше ничего…

В субботу рано утром начнется посадка в эшелон, чтобы в обед тронуться, если будет свободна ветка. Им ведь придется, наверное, всех пропускать, даже товарные поезда… А вдруг Владимир Степанович передумает и отпустит меня? Ведь вчера он такое устроил — кто бы мог подумать! К нам опять приехал фургон со сладостями, печеньем, конфетами, шоколадом. И с вином, представляете себе, вино! Ну и разные прохладительные напитки, и хлебный *Kwas,* он немного похож на пиво.

Офицеры при этом присутствовали, все было вполне прилично. Последнее время нам всегда выдавали получку, так что деньги у всех были. Некоторым вино не пошло впрок, их пришлось уводить и укладывать спать. Офицеры на это, можно сказать, не обращали внимания, буфет не закрыли, и он торговал, что называется, до последней бутылки. Хорошие проводы перед отъездом! Кроме тех, кто упился, никто, наверное, спать так и не ложился. Я тоже…

Часам к десяти вечера мы с Максом добрались до кроватей. Что такое? Открывается дверь, входит русский солдат, охранник. *«Вилли Биркемайер, dawaj bistreje, beri wsjo, pojdem!»* У меня трясутся колени. Никто не спит, со мной прощаются, Манфред и Вольфганг обнимают меня, желают счастья. Какого, где? В Сибири, в каком-нибудь штрафном лагере? Макс проводил меня до двери, обнял: «Ну, держись!» Я хочу закричать, но почему-то молчу, звуки не выходят из меня. И в какой-то странной апатии шагаю вслед за солдатом к воротам лагеря.

Рядом с проходной — калитка. Солдат ее открывает и говорит мне: *«Idi, idi!»* Куда я должен идти, в чем дело? И вот я прошел через эту калитку и оказался за воротами лагеря. Из темноты мне навстречу — яркий луч от электрического фонаря. За ним в темноте человек, который светит мне в лицо. На все еще

подгибающихся ногах я делаю несколько шагов навстречу. Это Мария Петровна, Маша! *«Dawaj, dawaj bistreje!»* — повторяет сдавленным голосом. Но она же не может быстро идти!

Отойдя немного, уже в полной темноте, мы остановились, обнялись. У Маши заплаканное лицо. Но в чем дело, что случилось? Она не отвечает и ведет меня за собой дальше. И вот мы у запасного пути, на котором стоят наши вагоны. В них мои товарищи поедут домой…

«Ищи вагон-кухню, ты же знаешь, где он. Залезай туда и жди поваров. Будешь у них писарем!» — командует Маша улыбаясь, а у самой слезы капают. Последний поцелуй, на объятия уже нет времени — и Маша, всхлипывая, исчезает в темноте. А мне остается только крикнуть вдогонку: «Спасибо!»

Как она все это устроила, как рисковала! Послала солдата, чтобы он вывел меня из лагеря. Что она должна была пообещать ему за это? Или просто приказала, ведь она офицер. А если раскроется, что я в поезде без разрешения, а провела меня она? Подумать страшно, что с ней тогда будет…

Вагон-кухню я нашел быстро, легко раздвинул двери и влез. И уселся тут же, прямо на полу, свесив ноги. Еще не могу прийти в себя от счастья — я в поезде, я поеду домой! Мама, папа, брат Фриц, я возвращаюсь! Крикнуть хочется, но, может быть, мне надо спрятаться? И что же с Ниной? Она же уверена, что, когда остальные уедут, я останусь в лагере. Не могу же я уехать, не попрощавшись с Ниной! Стоп, а сумею ли я найти ее домик? От завода — еще нашел бы, но отсюда…

И я спустился из вагона на землю и двинулся прямо вдоль рельс по направлению к заводу — он-то ярко освещен. Шел долго, когда показалась первая улица, свернул в нее. Прошел еще немного, и — вот здорово, опять железнодорожный путь, чувствую, что это та самая ветка, вдоль которой мы с Ниной пробирались от заводских ворот к ней домой. Пошел вдоль нее, прошел еще немного и увидел издали ее домишко, его ни с каким другим не спутаешь.

Стучу в дверь, колочу сильнее, и вот дверь приоткрывается, за ней — Нина! Увидела в щель, что это я, едва не закричала: «Что случилось, мой любимый, почему ты ночью?» — «Объясню потом, а сейчас одевайся скорей, и пошли! Это мои последние часы в плену, я еду домой. Идем скорей, до рассвета можем пробыть вместе!»

Уж не знаю, сразу ли поняла Нина. Но мы уже шагаем —

обратно к запасным путям, где стоит наш состав, к кухонному вагону. Обратная дорога проще и быстрее, Нина здесь лучше меня разбирается. Только теперь до меня дошло, как я опять рисковал. Да ведь в этом мундире, хоть и без букв, любой бы понял, что я — пленный немец. Ладно, пронесло! И вот я уже устраиваю возле вагона, со стороны кукурузного поля, уютное «гнездо» из стеблей кукурузы, а укрыться можно моим мундиром и Нининым пальто. Да и не важно все это, главное — мы проведем эти часы вместе!

Тихая ночь, с Азовского моря веет теплый ветерок. И я рассказываю Нине, как я стал кухонным писарем. Конечно, не во всех подробностях, а просто, что я уговорил докторшу взять на работу в больницу кого-нибудь другого. И что она меня сюда отвела. И как я отсюда добирался к Нине, чтобы объяснить, что уезжаю домой, и попрощаться… А Нина плачет. От радости, что свиделись, от волнения? Или от грустной неизбежности прощания?

Нежные слова сквозь слезы, последние объятия, и наступающий рассвет возвращает нас к суровой действительности. На путях, по ту сторону поезда уже появляются люди. Еще один — теперь уже самый последний поцелуй, — и я забираюсь в вагон, задвигаю за собой дверь. Через несколько минут появляются кухонные рабочие. Конечно, всеобщее недоумение — а ты откуда здесь взялся? «Разрешите представиться, я теперь ваш писарь!» — отвечаю им весело, а сам уже начинаю беспокоиться. А ну как поезд не сразу пойдет, простоит здесь еще неизвестно сколько? А если меня хватятся, станут искать, что тогда?

Нет, посадка идет споро. Привезли и разгрузили хлеб, вот прицепили паровоз. Пришел еще фургон с хлебом… А Нина все еще стоит на той стороне, в кукурузе, где мы ночевали. Машет рукой, когда видит меня в раскрытой двери вагона.

Повара закончили раздачу хлеба в дорогу. Состав наконец трогается, и бурное ликование едущих доносится из всех вагонов. А Нина бежит вдоль кукурузного поля за поездом, я машу ей рукой, пока вижу ее. Прощание навсегда…

Поезд идет медленно, то и дело останавливается. И каждый раз меня охватывает страх: вдруг что-нибудь случится? Но нет, постояв, едем дальше. Сначала на север, потом сворачиваем левее, на запад. Часто подолгу стоим — почти везде железная дорога одноколейная. Через четыре дня поезд пришел в Брест-Литовск, здесь пересадка в другие вагоны, с широкой русской колеи на европейскую.

И вот мы на широченной площадке-платформе, начинается посадка. И старшие по вагонам выкликают каждого поименно. Вот этого я не ждал, да и Маша, наверное, не предвидела — меня же не будет в списках! Ну, в кухонном вагоне мы еще суетимся, приводим в порядок полевую кухню, чтобы сдать ее чистой. Остальные уже погрузились; появляется *Starschina*, сопровождающий эшелон, — поторопить нас. Видит меня, явно удивлен. А я чувствую, что весь побледнел, ноги меня еле держат. Что сейчас будет?.. Но вот он машет рукой — бегом марш, в вагон! Может быть, не захотел впутываться? Мало ли какие неприятности могут быть у него самого за пленного «безбилетного» пассажира!

Только очутившись в другом вагоне, я пришел в себя. Теперь все хорошо, скорее бы уехать отсюда, на первой же станции пойду найду Макса, он же не знает, что я тоже еду! А может, рискнуть, и прямо сейчас? Паровоз ведь еще не прицепили, и старшины поблизости не видно. Ладно, пошел!

И в четвертом или пятом вагоне — пожалуйста, вот и Макс. Никогда еще не видел его таким — он буквально остолбенел, потерял дар речи, увидев меня. Втащил в вагон, чуть не задушил в объятиях. И другие наши знакомые там тоже были и страшно удивлялись. Я стал рассказывать Максу, как Мария Петровна сделала из меня — «в последнюю минуту» — кухонного писаря. И тут уже силы меня оставили, я расплакался.

«Иди ложись, — сказал Макс. — Выплакаться тебе надо». После пережитого только что страха я сразу провалился в глубокий сон. Не слышал, когда поезд тронулся, а когда проснулся, мы уже давно ехали. И Макс сидел рядом. «Можешь представить себе мое положение, — тихо говорит он, качая головой. — Что же мне говорить твоим родителям, если я вернулся, а тебя с нами нет?» А я рассказал ему, как все на самом деле было. И про прощание с Ниной. «Ты, видно, совсем спятил! — сердится Макс. — Радовался бы, что сидишь в вагоне, что поедешь домой! Так нет, поперся в город, да еще Нину притащил! Я еще когда говорил: как втрескаешься, так совсем поглупеешь. Разве не так?» И нежно гладит меня своей сильной рукой по голове, словно родной отец. Как же я рад, что еду домой вместе с Максом.

Мы пересекаем Польшу. Перед отправлением из Бреста двери вагонов заперли снаружи. «Для вашей же безопасности, — сказали Максу русские солдаты. — Приедете в Германию, сразу

откроют!»

Слава тебе, господи!

И вот мы прибыли во Франкфурт-на-Одере. Репродукторы громко вещают: нас приветствует Германская Демократическая Республика, социалистическое государство рабочих и крестьян! Да, это мы еще не дома…

Репродукторы тут же напоминают: надлежит неукоснительно следовать указаниям народной полиции. И они уже стоят у каждого вагона, в большинстве своем это женщины. Вагон за вагоном, по сто человек нас отправляют на дезинфекцию — вошебойку. Но сначала — к столу, за которым сидят полицейские. Каждого регистрируют: фамилия, имя, дата рождения, место жительства; последнее, кажется, тут самое важное. Тех, кто называет адрес в ГДР или в Силезии, сразу же отводят в сторону. На дезинфекции их с нами уже нет. Потом — в столовую, там каждый получает суп, хлеб и стакан чая. И после этого — обратно на станцию, нас ждет поезд, теперь уже из пассажирских вагонов.

Прибыли на станцию Герлесхаузен. Мы с Максом никак не возьмем в толк — почему вокруг нас столько полиции? Мы же дома, в Германии! Значит, не совсем так. Это все еще зона русской оккупации! Покидаем вагоны и с изумлением видим, что перед нами — самая настоящая граница — колючая проволока, сторожевые вышки. Не сунут ли нас опять в лагерь?

Грубый голос подает команду: строиться в колонну, по пять человек в ряду. Вооруженные автоматами пограничники открывают большие ворота. Старший, в форме с заметными знаками различия, командует: не в ногу шагом марш! И мы проходим на нейтральную полосу, на ничейную землю. «Что это?» — с изумлением спрашиваю Макса. «Это граница между двумя государствами», — мрачно отвечает Макс. И мы топаем по дороге, как по коридору, с обеих сторон которого — густая колючая проволока. Нас никто не конвоирует, ворота за нами закрылись. А впереди уже видны другие ворота, они распахнуты.

Там нас встречают медицинские сестры и сотрудники Красного Креста, нас приветствуют и обнимают. Это уже не государство рабочих и крестьян; теперь мы наконец дома! Раздаются звуки церковного колокола — вот это встреча! И кто-то восклицает: «Возблагодарим же Бога от душ наших, от всего сердца, вознесем хвалу Ему!» И две тысячи голосов затягивают молитвенную песнь, знакомую нам с малых лет…

Боже мой, после стольких лет плена и подневольного труда — быть снова свободным! Даже слов таких для нас не было, к ним

еще надо привыкать. Какое это счастье!

Никто нас больше никуда не ведет — нас приглашают. Теперь — в столовую. Там милые женщины, среди них много сестер из Красного Креста, раздают бутерброды, наливают кофе, чай, какао, кто хочет — пожалуйста, молоко.

Без всякой канцелярии разместили нас в одинаковых бараках, их соорудили американцы специально для лагеря беженцев. Чисто застеленные койки, можно отдыхать. Кто хочет, может послать телеграмму, бесплатно, разумеется. Вечером перед ужином каждому выдали деньги — те же 40 марок, что получал каждый житель Федеративной Республики в 49-м году, когда проводилась денежная реформа.

Ощущение свободы, никогда еще не испытанное. Каких только планов на будущее мы не строим! Тем временем нам раздают памятки — расписание поездов, ведь каждому еще ехать домой, к себе домой… Много поездов в Рур, до Дюссельдорфа. А завтра утром будет еще медосмотр, и выдадут документы об освобождении из плена.

Только поздним вечером следующего дня мы садимся в поезд. А днем я пытался позвонить отцу — сказать, когда поезд приходит в Эссен. Дозвонился до шахты, где он работает, но не застал. Не важно все это, разве я смог бы сейчас говорить по-настоящему…

На каждой станции, где останавливается поезд, толпа людей — встречают своих близких. Раздают нам бутерброды, напитки. Духовые оркестры трубят приветственные марши. В Бохуме вышли из вагона, чтобы проводить товарищей, и чуть не отстали от поезда — такая встреча была, да еще с выпивкой. Едва успели вскочить в чужой вагон. Поезд идет, а я слышу, как Макс кричит: «Биркемайер!» Он уже думал, что я не успел сесть…

В Эссене поезд стоял дольше. Встречала меня только мама и с ней соседка. Отец не дождался: поезд опаздывал на три часа, а ему надо было возвращаться на шахту. А брат Фриц неотлучно в пекарне…

Познакомил я маму с Максом. Обнялись мы на прощанье с моим дорогим Максом, и я расплакался.

Я дома!

Послесловие

Моего друга Ганди отправили из плена с эшелоном больных в Советскую зону оккупации: он не мог назвать адреса в Федеративной Республике. Уговаривали его там остаться, обещали работу и сразу квартиру. Объясняли, что на Западе он этого не получит и что при социализме ему будет лучше, чем у капиталистов.

И все же Вальтер решил продолжать поиски, и с помощью немецкого Красного Креста нашел, наконец, свою семью в городе Людвигсбурге. И в апреле 1949 года его отпустили в пересыльный лагерь Красного Креста. Там он два месяца лечился и после этого уехал домой к семье.

В 1972 году я впервые после плена побывал в городе Донецке, бывшем Сталино. Выступал с докладом в Министерстве угольной промышленности о производстве оборудования для угольных шахт в Германии. Потом делал этот доклад еще несколько раз, это продолжалось целую неделю. Ездили на шахты, в том числе в Макеевку, где я был в плену.

Русским языком я владел тогда хорошо. Благодаря этому (и, конечно, выпитой водке) возникли добрые, почти дружеские отношения с несколькими сотрудниками угольного министерства. Мой плен и шахта «Красная звезда» стали постоянной темой наших разговоров, и мне обещали, что, если приеду в Донбасс еще раз, товарищи постараются свозить меня на эту шахту. Может быть, мы и слесаря Александра, с которым я там работал, найдем…

До ухода на пенсию я приезжал в Донецке еще раз сорок, в 1987 году заключал там договор между городами Бохумом и Донецком. Но только в 1990 году мы увиделись наконец-то с Сашей — встречу устроили в министерстве. Я его не узнал, и решил было, что устроители просто взяли кого-то «подходящего» из своего министерства. В те времена это ведь было вполне возможно.

А Саша, видно, сразу заметил мое разочарование. Да и на вопрос, узнаю ли его, я ответил «нет». И он напомнил мне, как я добровольно пошел с ним в ночную смену, и еще разные мелочи, которых никто знать не мог. Тогда я понял, что это действительно он.

В тот же день я должен был улетать в Москву, но остался. И целых три дня мы с Сашей праздновали нашу встречу. Съездили и

в Провиданку. Шахту «Красная звезда» уже закрыли, но все места вокруг можно было узнать. И бывший лагерь тоже. С Сашей мы виделись потом еще раз — через три года, когда меня снимали в немецком документальном фильме «У врага за столом». Вот только уговорить Сашу показаться вместе со мной в кадре я так и не смог.

Больше всего, разумеется, я хотел увидеться с Ниной, но, несмотря на все старания, это не удавалось. От Донецка, куда я часто приезжал по делам партнерства городов, до Мариуполя всего 120 километров, но… Но я «западный иностранец», значит, передвигаться мне разрешалось на расстояние не больше 50 километров. Вот если бы служебная виза, тогда другое дело.

И все-таки в 1975 году я решился на поездку в Мариуполь. Мы были вдвоем с коллегой, горные машины для выставки, которую мы устраивали, еще не прибыли, и мы собрались нарушить правила. После нескольких безуспешных попыток нашли таксиста, который отвез нас на автостанцию. Не обошлось и без «благодарностей», но так или иначе, а мы вместе с семью или восемью местными украинскими жителями стали пассажирами маршрутного такси на Мариуполь. Бескрайние кукурузные поля по пути, два часа езды — и мы у цели, на городской автобусной станции.

Не сговариваясь, остались сидеть, пока все пассажиры вышли. Еще несколько рублей перекочевали в кошелек водителя, и он согласился отвезти нас по известному мне адресу: Мартеновская улица, 26. Ехали мимо металлургического завода, он мне показался еще грандиознее, чем за тридцать лет до этого. Вот и Нинина улица, маленький домик — на месте. Когда я подходил к дверям, сердце у меня колотилось, может быть, еще сильнее, чем в первый раз…

На стук открыла незнакомая женщина. Ответила, что живет здесь уже двадцать лет, про Нину ничего не знает. У такси тем временем успели собраться любопытные соседи. И, узнав о цели приезда, стали предлагать помощь. Тут же вспомнили, что в переулке неподалеку живет *Babuschka*, которая может что-нибудь знать про Нину. Отвели нас туда, я объяснил старушке, что меня сюда привело. Она растрогалась до слез, поцеловала меня и страшно жалела, что помочь ничем не может. И страшно удивлялась — как же это может быть, чтобы немецкий военнопленный искал здесь, да еще через столько лет, свою первую любовь.

Водитель такси предложил попробовать еще спросить о Нине

в милиции. Мы, конечно, делать этого не стали и попросили только свозить нас еще ненадолго к морю. А оттуда вернулись на автостанцию. Отвезти нас обратно в Донецк водитель уже не мог: следующий рейс у него был другой, а он обязан отмечаться на конечном пункте у диспетчера. Слава Богу, когда мы подошли брать билеты и сказали, что мы из ГДР, всё обошлось благополучно. И мы вернулись в Донецк.

За время нашей выставки местное телевидение — русское и украинское — дважды передавало интервью со мной, фамилия моя долго была на экране. Я надеялся, что Нина увидит передачу и даст о себе знать. Нет, и на этот раз ничего не последовало. После этого один добрый друг из угольного министерства пытался отыскать Нину, пользуясь своими знакомствами, но и у него ничего не вышло.

Единственная весть о Нине со времени моего освобождения из плена пришла от нее самой еще в 1949 году. Это было письмо, в котором Нина писала, что близится исполнение ее заветного желания. Она беременна и с нетерпением ждет маленького Вилюшу.

Через 52 года

Рукопись этой книги я показывал профессору Петру Федосову, которого давно знал по работе в Обществе сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза, действующем в Дортмунде. От него про мою историю узнала российская телекомпания «ВИД». Редакция заинтересовалась темой первой юношеской любви в советском лагере военнопленных. И меня пригласили в Москву на передачу «Жди меня». Она посвящена поиску людей, потерявших друг друга; благодаря этой передаче немало людей, расставшихся много лет назад, встретились снова.

Готовя очередной выпуск, сотрудники телекомпании за две недели разыскали мою Нину. И с ней — нашу дочь Татьяну.